



*Журнал*

*Редактор Евгений Беркович*

**СЕМЬ  
ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

**4/2010**

**Журнал  
«Семь искусств»**

**Апрель 2010**

Редактор и составитель  
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

**2010**

**Журнал**  
**«Семь искусств»**

**Апрель 2010**

© Евгений Беркович (составление и редактирование)  
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое  
редактирование Изабеллы Побединой

Ганновер  
Издательство «Общества любителей еврейской старины»

## Содержание

Владимир Порудоминский	
Немецкие дни Льва Толстого .....	4
Виктор Финкель	
Религиозное, политическое и национальное самосознание	
Цветаевой .....	43
Леви Шаар	
Наказание любовью.....	63
Исай Шпицер	
„Die russische Tenor-Legende“ .....	74
Моисей Борода	
Свадебный марш.....	83
Лариса Миллер	
Юбилейная публикация .....	93
Лада Пузыревская	
Гуттаперчевая страна .....	124
Надежда Далецкая	
Стихи .....	142
Андрей Чередник	
Великан.....	150
Александр Матлин	
Три рассказа .....	153
Марк Азов	
Два рассказа .....	171
Елена Матусевич	
Воображуля. Рассказы.....	193
Семен Резник	
Потерянная Россия .....	200
Вильям Баткин	
История одной главы.....	209
Игорь Ефимов	
Ясная Поляна .....	222
Виктор Гопман	
Развеселые цыгане.....	286
Джером Дэвид Сэлинджер	
Над пропастью во ржи .....	334
Об авторах .....	390



# Владимир Порудоминский

## Немецкие дни Льва Толстого

### Сцепления

*«Почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собирания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя... Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя»...*

Л.Н. Толстой. Из письма к Н.Н. Страхову



з 30 020 прожитых дней семьдесят девять Лев Николаевич Толстой провел в Германии. Он побывал здесь во время двух своих заграничных путешествий: в первый раз – в июле 1857 года, потом – летом 1860-го и весной 1861-го. Больше Лев Толстой за границу не поедет. Полвека живет почти безвыездно в своей Ясной Поляне; правда, с 1882 по 1901 год (без охоты, но по семейной необходимости) на зиму переселяется в Москву.

#### **1857. «Германия, которую я видел мельком»**

Кажется, совсем недавно, в 1852-м, на страницах некрасовского «Современника» появилось толстовское «Детство» (еще не рискнул подписать полным именем – поставил инициалы: «Л.Н.»); в 1857-м отправляется в Европу уже не одного «Детства» автор – также «Отрочества» и «Юности», кавказских «Набега» и «Рубки леса», «Севастопольских рассказов», потрясших русского читателя, «Метели», «Двух гусаров» – едва ли не главная надежда нашей литературы.

29 января 1857 года (по старому стилю) он выезжает из Москвы в мальпосте до Варшавы, чтобы оттуда продолжить путешествие уже по железной дороге.

*Мальпост*, а попросту почтовая карета, нынче слово редкое, – ассоциация возникает тотчас, тем более, что тут еще и – Варшава. «*Опять в сырую ночь в мальпосте*»... Похоже, ни один другой *мальпост* не задержался в памяти, только этот – пастернаковский: «*Опять Шопен не ищет выгод*...»

Что бы ни говорил, что бы ни писал Толстой о музыке («вопрос этот осложняется тем, что Лев Николаевич далеко не всегда считал наилучшей ту музыку, которая ему всего больше нравилась», – читаем у старшего сына Толстого, Сергея Львовича), Шопен до конца жизни его любимый композитор.

Опять Шопен не ищет выгод,  
Но, окрыляясь на лету,  
Один указывает выход  
Из вероятья в правоту...

*Из вероятья в правоту* – это толстовское, направление его вечных поисков, то, что он именовал *уяснением истины*. «Он видел все в первоначальной свежести и как бы впервые» (Пастернак о Толстом).

Толстой – Василию Петровичу Боткину, писателю, критику: «Путешествие по железным дорогам – наслаждение, и дешево чрезвычайно, и удобно. Германия, которую я видел мельком, произвела на меня сильное и приятное впечатление, и я рассчитываю пожить и не торопясь поездить там». Но сначала: Париж. Париж!..

Как раз накануне того дня, когда Толстой, торопясь в Париж, не задерживаясь, проедет через Берлин, там, в Берлине, 3 февраля 1857 года, умер Михаил Иванович Глинка. О его музыке Толстой скажет однажды коротко и весомо: «Здесь и мелодия и всё». Когда женится, будет охотно аккомпанировать романсы Глинки, которые чудесно исполняла младшая сестра Софьи Андреевны, Татьяна – один из главных прототипов Наташи Ростовской, тоже

замечательной певицы. Оперу «Жизнь за царя» Толстой слушал несколько раз – нравилось.

(Отец С.А. Толстой, Андрей Евстафьевич Берс, врач дворцового ведомства, – квартира в московском Кремле, – имевший, по свидетельству дочери, «культ к царской фамилии и особенно к царю», в письме, известном Льву Николаевичу, и доньше не опубликованном, иронически рассказывает, как в 1866 году Москва праздновала чудесное спасение государя Александра Второго после неудачного выстрела Каракозова: «А что происходило в театре, это чистая потеха. Второй акт "Жизни за царя", представляющий стан пирующих и танцующих поляков, исключен совершенно по требованию публики... А в третьем акте, когда поляки в лесу убивают Сусанина, публика потребовала, чтобы Сусанин не давал себя убивать, а сам бы передушил всех поляков. Сусанин и давай колотить их кулаками и вышел победителем, просто потеха...»).

Перед смертью Глинка продиктовал приятелю тему для фуги, потом заговорил о вечности, но тут же прибавил, что вечность это вздор, в вечность он не верит.

Спустя пятьдесят три года, умирая в комнате начальника железнодорожной станции Астапово, никому до того не ведомой, Толстой продиктует дочери Александре Львовне, в «Дневник для одного себя»: «Бог есть то неограниченное всё, чего человек сознает себя ограниченной частью».

Он приезжает в Париж 9 февраля, но Европа живет по новому стилю, на календаре – уже 21-е (Толстой, проставляя в дневнике даты, некоторое время еще путается в них).

За полтора парижских месяца Толстой разочаруется во многом, что обозначается как «прогресс цивилизации» и что, по мнению большинства, должно вызывать одобрение и даже восторг. Позже он напишет: «В наш век существует ужасное суеверие, состоящее в том, что мы с восторгом принимаем всякое изобретение, сокращающее труд, не спрашивая себя о том, увеличивает ли это изобретение, сокращающее труд, наше счастье, не нарушает ли оно красоты». Он всю жизнь вспоминает и напоминает другим

слова Герцена о том, «как ужасен бы был Чингисхан с телеграфами, железными дорогами, журналистикой».

«Париж мне так опротивел, что я чуть с ума не сошел. Чего я там не насмотрелся... Хотел испытать себя и отправился на казнь преступника через гильотину, после чего перестал спать и не знал, куда деваться. К счастью, узнал нечаянно, что вы в Женеве, и бросился к вам опрометью, будучи уверен, что вы меня спасете...»

Он бросился опрометью к своей двоюродной тетке, Александре Андреевне Толстой, которую шутя именуется «бабушкой», Александра Андреевна, Александрин – фрейлина при императрице, она не замужем и так и не выйдет замуж, скончается в 1904 году в Зимнем дворце – вечная фрейлина при дворе четырех российских императоров.

В 1857-м ей сорок, она по-своему хороша собой, образованна и необыкновенно умна (такой ум Герцен называл «осердеченным»). Толстой испытывает к Александрин сильное чувство, которое, возможно, и не осознает в полной мере, тем более что оно сопрягается, а вскоре вовсе перейдет в исключительной важности дружбу, заполненную огромным духовным содержанием. Многолетняя переписка (до самой смерти «бабушки») – в письмах Толстой рассказывает о своих духовных исканиях, о становлении своих убеждений – переписка, в которой глубокое взаимопонимание соседствовало с непримиримыми разногласиями, но в которой каждое слово диктовалось сознанием и ощущением значимости связывавшей их дружбы, открывает в Александре Андреевне человека незаурядного, адресата и корреспондента, оказавшегося по плечу ее дорогому великому другу. А.А. Толстая напишет впоследствии, что их «чистая, простая дружба торжественно опровергала общепринятое фальшивое мнение насчет невозможности дружбы между мужчиной и женщиной». Но в дневнике Толстого времени первого заграничного путешествия встречаем: «Положительно, женщина, более всех других прельщающая меня». Он сетует: «Ежели бы Александрин была десятью годами моложе». Увы, Александрин

одиннадцатью годами старше его. Годом позже он пометит: «Александрин постарела и перестала быть для меня женщина». Но – была.

В Швейцарии он читает Гете: «Ученические годы Вильгельма Мейстера», стихи. Томик Гете он берет с собой, отправляясь пешком высоко в горы – на Сен-Бернар. Стихотворение “Willkommen und Abschied” особенно западает ему в душу («восхитительно»):

Ich ging, du standst und sahst zur Erden,  
Und sahst mir nach mit nassem Blick:  
Und doch, welch Glück geliebt zu werden!  
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Толстой задерживается в Швейцарии на три с половиной месяца. Только 22 июля (по новому стилю) он перебирается, наконец, в Германию. Едет через Шафгаузен, старинный город на Рейне, но это еще Швейцария, хоть и «вдавшаяся» в Вюртембергское королевство. В трех верстах от города – Рейнский водопад, неперемное место паломничества всех путешествующих: река низвергается с 19-метровой высоты через порог, образуемый сходящимися скалами, – водопад этот красиво описал Карамзин в «Письмах русского путешественника»:

«Теперь, друзья мои, представьте себе большую реку, которая... достигнув до высочайшей преграды... с неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении своем превращается в белую, кипящую пену. Тончайшие брызги разнovidных волн, с беспременною скоростью летящих одна за другою, мириадами поднимаются вверх и составляют млечные облака влажной, для глаз непроницаемой пыли. Доски, на которых мы стояли, тряслись беспрестанно. Я весь облит был водяными частицами... Воображение мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос. Она вещала мне о чем-то неизглаголанном!..»

Толстой не отстал от общего правила, пошел к водопаду (почти через семь десятилетий после Карамзина, с дочерью которого, Екатериной Николаевной, неоднократно

встречался в Швейцарии), – но (запись в дневнике): «Ненормальное, ничего не говорящее зрелище»...

В сопоставлении записей – разница времени, поэтики, творческих установок, всего мироощущения и мирозерцания. Разница идеала.

По Карамзину, «литературу надо было приблизить не к реальной – грубой и пугающей – повседневности, а к ее цивилизованному, очищенному просвещенным вкусом, разумом и чувством идеальному состоянию» (Ю.М. Лотман). Там, где у Карамзина, по-своему одушевлявшего воображением хладную стихию, все сводится и сходится, у Толстого, с его способностью все вокруг увидеть «по-новому и как бы впервые», не желает сходиться, взрывается противоречиями. Только что, путешествуя по Швейцарии, однажды в горах, он был поражен «необыкновенным, счастливым, белым, весенним запахом нарциссов», – но тут же узнал: поля с нарциссами все более переводят – скотина не любит их в сене.

Лев Николаевич переночевал в Фридрихсхафене (уже Вюртемберг, Германия), утром 23 июля двинулся дальше. Из дневника: «Поехал в Штутгарт. Старичок рассказал мне про Виртемберг... Швабенланд – Treu und furchtlos... Приехав в Штутгарт... поехал во Дворец...»

Во дворце он, скорей всего, надеялся найти Александру Андреевну, с которой некоторое время назад расстался: фрейлина сопровождала в путешествии по Европе великую княгиню Марию Николаевну, дочь Николая Первого; ее сестра, Ольга Николаевна, была замужем за наследным принцем Вюртембергским. Александрин в Штутгарте он уже не застал, посему: «поехал... в церковь и в ванну... Ложусь спать».

Но – не спится: «Отлично думается, читая». Думает о повестях, которые занимают его воображение. Одна, «Отъезжее поле», начата еще в России, но лишь едва намечена. Другая, «Беглый казак», очередной приступ к будущим «Казакам». В ночных раздумьях замыслы уточняются. Про «Беглого казака» в дневнике помечено, что должен быть «дик, свеж, как библейское предание». В

«Отъезжем поле» он предполагает комизм живейший, «типы и все резкие».

Нет, не спится ему в Штутгарте!.. Вот поднялся, то ли в окно высунулся, то ли на балкон вышел, то ли вовсе отправился пройтись: «Увидел месяц, отлично справа» (луна, лунный свет его всегда тревожат). И следом: «Главное – сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая *деятельность* в этом роде. Главное – вечная деятельность».

Толстой пробовал открыть у себя, в Ясной Поляне, школу для крестьянских детей еще в 1849 году, до Кавказа, до Крыма, в пору юных и незрелых, хотя самых благородных намерений «сделать, сколько возможно, своих крестьян счастливыми». Сильная, явная мысль о школе, словно лунный свет, всколыхнувшая Толстого в Штутгарте в ночь с 23 на 24 июля 1857 года, окажет огромное воздействие на всю его дальнейшую жизнь. «Делаю дело, которое мне также естественно, как дышать воздухом», – напишет он вскоре о занятиях с крестьянскими детьми. Это не увлечение, точнее, не только увлечение – это обязанность и душевная потребность: «Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко того, что мы знаем». Для исполнения взятой на себя задачи он создаст собственную систему школьного обучения, сам подготовит нужные пособия – знаменитую «Азбуку», «Русские книги для чтения». Эта *деятельность* окажется мощным, по-своему поворотным моментом в его жизни, нравственных исканиях, творчестве. Три года спустя желание совершенствовать свою школу станет едва ли не основной причиной нового заграничного путешествия. Но об этом речь впереди.

24 июля, после бессонной ночи в Штутгарте, Толстой в четыре часа утра отправляется на вокзал; через несколько часов он в Баден-Бадене. Здесь встречает поэта Полонского, с которым уже знаком. Полонский высоко ценит талант Толстого, а тут еще Тургенев недавним письмом из Парижа сильно разогрел его интерес: «Этот человек далеко пойдет и оставит глубокий след». Но в Баден-Бадене Толстой «далеко» не пошел. В его дневнике

читаем: «Полонский добр, мил, но я не думал о нем, всё бегал в рулетку». Примечательна форма глагола: не – «побежал», а – «*всё бегал*». Неоднократность действия. Страсть к игре неотвязчива.

Толстой в молодости увлекался игрой, был игрок отчаянный, но не слишком удачливый. Однажды за карточным столом чуть было не решилась судьба Ясной Поляны (как бы потом сложилась без нее жизнь Толстого?). На Кавказе он тоже проиграл большую сумму, которую был не в силах отдать к сроку. В совершенной безнадежности он перед сном молился Богу, просил, чтобы совершилось чудо, – наутро сделалось известно, что его друг, чеченец, отыграл его векселя. О страсти игры и отчаянии проигрыша Толстой написал в «Двух гусарах» и «Войне и мире» (игра Николая Ростова с Долоховым).

Принято считать, что Рулетенбург Достоевского, где происходит действие «Игрока» (написан осенью 1866 года), – это Висбаден; здесь были известные всей Европе игорные дома. Но, наверно, это и Баден-Баден: в 1863 году Достоевский провел там несколько дней, играл – и проигрался. Об этой игре, баден-баденской, он пишет: «Я... создал систему игры, употребил ее в дело и выиграл тотчас же 10 000 франков. Наутро изменил этой системе и тотчас же проиграл. Вечером возвратился к системе опять, со всей строгостью, и без труда и скоро выиграл опять 3 000 франков. Скажи: после этого как было не увлечься!.. Это раздражило. Вдруг пошел терять и уж не мог удержаться и проиграл всё дотла... Взял *последние* деньги и пошел играть; с 4-х наполеонов выиграл 35 наполеонов в полчаса. Необыкновенное счастье увлекло меня, рискнул эти 35 и все 35 проиграл...»

Это – о психологии игры.

Из дневника Толстого.

24 июля: «Проиграл немного»... 25 июля: «Проигрывал, выиграл к ночи»... (Об этом выигрыше – в одном из писем Полонского: «Мы с ним, т. е. с Толстым, сошлись, как родные братья; жаль, что рулетка страшно увлекла его; целый день третьего дня с 10 часов утра до 10 часов вечера я не мог оторвать его от рулетки, и боялся, что

он все проиграет, ибо он разменял последние деньги, – но, слава Богу, к вечеру он отыгрался и сидел у меня до 2 часов пополуночи»).

Еще из дневника:

*26 июля:* «С утра болен. Рулетка до 6. Проиграл всё»... *27 июля:* «Занял у француза... и проиграл... Играть больше не буду... У Полонского нет денег»... *28 июля:* «Кублицкий (приятель Полонского, литератор – В.П.) принес денег. Пошел, выкупался и потом проиграл. – Свинья. Убитый, больной, пристыженный, шлялся»... *29 июля:* «Не играл, потому что не на что»...

Он пишет Тургеневу, который обретается неподалеку, в Зинциге, на курорте, Иван Сергеевич отправляется его «вытаскивать».

*31 июля:* «Приехал Тургенев. Нам славно с ним». Но – *1 августа:* «Такой же пошлый день. Взял у Тургенева деньги и проиграл»...

Цепь, которую, казалось, не разорвать, вдруг в тот же день сама неожиданно распадается: Толстой узнает, что его сестра, Мария Николаевна, вынуждена оставить мужа и разъехаться с ним, – «эта новость задушила меня»... Он перестает играть, тотчас собирается домой, в Россию.

При всей захватившей его страсти, Баден-Баден для Толстого не одна рулетка. В первый же день по приезде он помечает в дневнике, что обедал у Смирновой. Смирнова – не кто иная как Александра Осиповна Смирнова-Россет, до замужества фрейлина, после – жена значительного чиновника, приятельница Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Жуковского, – да кого только она не знавала из замечательных представителей своего времени! Пушкин когда-то подарил ей альбом – вести записки, чтобы «в тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора» –

Смеялась над толпою вздорной,  
Судила здраво и светло  
И шутки злости самой черной  
Писала прямо набело.

Когда Толстой знакомится со Смирновой, ей под пятьдесят. Смолоду она пленяла умом и прелестью едва не

всех, кто встречался с ней, но с возрастом, по суждению даже близких людей, в ней особенно стали заметны душевная холодность, эгоизм, высокомерная нетерпимость. Полонский, проводивший с ней много времени (он воспитатель ее сына), замечает: «Я все недостатки готов был признать Смирновой за ее ум, правда, парадоксальный, но все-таки ум. Теперь, когда я пишу эти строки, я не прощаю ей даже этого ума, от этого ума никому ни тепло, ни холодно. Он хорош для гостиных, для разговоров с литераторами, но для жизни он излишняя, бесполезная роскошь».

У Толстого в дневнике, что ни визит, неблагоприятный отзыв о хозяйке: и болтает много, и дурной тон, и скучно, и смешно и гадко, и ничего не остается ни в уме, ни в памяти. Однако навещает едва не всякий день, и в памяти остается, – полвека спустя, когда заходит разговор о Смирновой, обозначает четко: «Не пленительна, а умна была».

Имеем право предположить, что в беседах речь шла и о Пушкине: слишком много знала Александра Осиповна, чтобы не рассказывать (Полонский, находясь при ней, записывал кое-какие из ее рассказов). Путешествуя, Толстой всего за несколько месяцев сходитя по меньшей мере с тремя близкими знакомыми Пушкина.

С Екатериной Николаевной Мещерской, дочерью Карамзина. Поэт однажды вписал ей в альбом «Акафист»: «Так посвящаю с умилением || Простой, увядший мой венец || Тебе, высокое светило...» Екатерина Николаевна передала Толстому слова Пушкина, к ней однажды обращенные: «Моя Татьяна поразила меня, она отказала Онегину. Я этого совсем не ожидал». Эти слова навсегда останутся для Толстого своего рода ключом в понимании творческого процесса.

В Швейцарии же он сдружается с Михаилом Ивановичем Пушковым, братом Ивана Ивановича, пушкинского «друга бесценного», декабриста, и тоже декабристом. Михаил Иванович был сперва сослан в Сибирь, потом рядовым на Кавказ. Там он встретился с Пушковым во время его «путешествия в Арзрум». Толстой

заставил Пушкина записать свои увлекательные истории и послал эти несколько страниц воспоминаний, озаглавленных «Встреча с Пушкиным за Кавказом», биографу поэта П.В. Анненкову: «Записка презабавная, но рассказ его – изустная прелесть». В «презабавной записке» говорится между прочим, что Пушкин, покидая театр войны с поручением главнокомандующего, взял поэта в свою коляску, но с уговором, чтобы тот во все время следования не играл в карты. Пушкин нарушил уговор, чему весьма способствовал третий их попутчик, известный храбрец, игрок, бретер Руфин Иванович Дорохов, – он станет одним из прототипов Долохова в «Войне и мире».

Наконец, в Баден-Бадене Толстой слушает разговоры Смирновой-Россет. Поистине: «Бывают странные сближения» (Пушкин).

3 августа он по дороге заезжает во Франкфурт, чтобы увидеть находившуюся там А.А. Толстую. Александра Андреевна вспоминает, что чуть не ахнула от ужаса, когда дверь отворилась, и появился Лев. У нее в гостях были принц Гессенский с женой, Толстой же всем своим видом и одеждой «был похож не то на разбойника, не то на проигравшегося игрока». Увидев посторонних, он почти тотчас исчез, тогда как принц, узнав от хозяйки, кто был этот странный гость, страшно огорчился: он жаждал познакомиться с автором прекрасных творений, которые успел прочитать.

После свидания во Франкфурте Толстой записывает в дневнике: «Бесценная Саша. Чудо, прелесть. Не знаю лучше женщины». И назавтра, продолжая путь, точно обновленный после баден-баденского омута: «Будущее всё улыбается мне».

Сравнительно недавно обнаружилась записка майора Бернгарда фон Арнсвальда, коменданта замка в Варбурге, – Толстой осматривал замок 4 августа на пути в Дрезден.

Замок построен в 11-м столетии, в 19-м, как раз в 50-е годы, проводилась серьезная, научно обоснованная реставрация обветшавшего здания. По свидетельству коменданта, Толстой восторгался древним сооружением: «Такое могут создать только немцы. Немец владеет не

только техническим мастерством, но повсюду наполняет свое творение мыслью и поэзией».

Коменданта поразила осведомленность русского писателя в немецкой литературе. О Вартбурге, правда, он не знал ничего, кроме оперы «Тангейзер». В рыцарские времена, в 1207 году, при просвещенном тюрингском ландграфе Германе, здесь, в Вартбурге, происходило знаменитое, обросшее легендарными подробностями, состязание поэтов, воспетое в тогдашнем стихотворном сочинении под именем «Вартбургской войны». Эту легенду вместе с историей странствующего рыцаря, поэта Тангейзера композитор Рихард Вагнер положил в основу сюжета оперы «Тангейзер, или Состязание певцов в Вартбурге» (1845).

Любопытно: упомянув название весьма популярной оперы, майор фон Арнсвальд не молвит о ней более ни слова. Скорее всего, разговора о ней не завязалось, иначе ему пришлось бы услышать от своего собеседника немало нелестных слов. К Вагнеру у Толстого отношение устойчиво отрицательное. Позже в трактате «Что такое искусство?» он обоснует свое суждение о музыке немецкого композитора. Он видит в ней предвзятость, приноровленность к поставленной задаче (Татьяна, образно выражаясь, ничем неожиданным своего создателя не поразит). Оттого «в новой музыке Вагнера отсутствует главная черта всякого истинного художественного произведения – цельность, органичность, такая, при которой малейшее изменение формы нарушает значение всего произведения».

Из записки Бернгарда фон Арнсвальда: «Между тем над балконом взошла луна, освещая еще не погрузившиеся во тьму окрестности. Какой поэзией, каким волшебством я был объят. Мы обменивались нашими взглядами на поэзию и ее проявление в жизни... Толстой говорил, что бледный свет луны легко возбуждает мир наших ощущений»...

О вопросах общественных они тоже говорили: «В разговоре о политике Толстой упомянул, что добро способствует единению немногих людей, зло же может соединить их в толпу. Только насилие или хитрость образуют толпу, одиночек объединяет сердце».

В Вартбурге показывали стол и кресло Мартина Лютера – здесь он переводил на немецкий Священное Писание. Показывали также чернильное пятно на стене: во время работы Лютеру являлся дьявол, и он бросил в него чернильницу. Про Лютера Толстой запишет в дневник, когда во второй раз приедет в Германию: «Лютер велик». Позже он скажет о лютеранстве: как всякая церковь, оно лишь ложное человеческое учреждение. Но Лютер, конечно, привлекает его свободным и решительным выступлением против того, что всеми почитается непреложным и неприкосновенным. В книге «Царство Божие внутри вас» (1894) Толстой напишет, что всякий шаг движения вперед совершается еретиками. Он имеет в виду прежде всего понимание и исполнение христианского учения. Среди еретиков он назовет Тертуллиана, Оригена, Августина, Гуса, Лютера... Продолжая перечень, необходимо прибавить имя самого Толстого. В предисловии к французскому изданию толстовского «Краткого изложения Евангелия» (1883) будет сказано, что «Лев Толстой в ортодоксальной стране охвачен смелостью Лютера»...

Два дня он в Дрездене, куда приехал 5 августа. Первым делом спешит в галерею: «Мадонна сразу сильно тронула меня». Речь о рафаэлевой «Сикстинской мадонне». На другой день он снова заходит в галерею: «Остался холоден ко всему, исключая мадонны».

Позже, задорно утверждая свой новый взгляд на искусство, он будет отказываться от Рафаэля (как от любимого Диккенса, которого постоянно перечитывает) – это авторитеты, устанавливаемые критикой, их искусство простому народу непонятно.

На стене яснополянского кабинета – пять больших фрагментов «Сикстинской мадонны»: «это так гадко, несмотря на то, что у меня висит». В старости, вспоминая Дрезден, скажет: «Когда я с Боткиным, Тургеневым смотрел ее, они восхищались, и я хотел внушить себе, что она хороша, но напрасно». Нет, это он запомнил. Ни Боткина с ним не было, ни Тургенева. И – восхищался. И фрагменты из кабинета так до последнего дня, до самого ухода своего не убрал...

В Берлине он и на обратном пути – мимоходом: только переночевал. Вечером прошелся по городу. Особо пометил «разврат на улицах». Случайно побывал на каком-то пожаре. Занес в дневник для памяти: «Бородач с детьми. Хромой старик. Гордый немец». Что это за люди, что заинтересовало в них Толстого, вряд ли узнаем когда-нибудь. Между тем какие-то черты каждого из них, возможно, попали потом в портрет того или иного толстовского героя, как попадет в одно из лиц на картине, которую пишет в «Анне Карениной» художник Михайлов, вдруг вспомнившийся ему энергический подбородок торговца сигарами...

Назавтра, 8 августа, Толстой уже в Штетине, чтобы не медля отправиться морем в Россию. В ту пору главные линии пароходного сообщения связывали Петербург с Европой через Штетин и Любек. С трудом наскреб последние деньги на билет. Талер пришлось занять у встреченного знакомого. Пароход «Санкт-Петербург» по хорошей погоде прибыл в Кронштадт на третьи сутки.

По-русски это получилось – 30 июля: отечественный календарь возвратил ему украденные европейским дни. Как шучивал художник Федор Васильев, пейзажист: ежели объявят конец света, поезжайте в Россию – двенадцать дней лишних проживете.

Из письма Л.Н.к А.А. Толстой (18 августа 1857 года, Ясная Поляна): «В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие... В России жизнь постоянный и вечный труд и борьба со своими чувствами. Благо, что есть спасенье – мир моральный, мир искусств, поэзии, привязанностей. Здесь никто, ни становой, ни бурмистр, мне не мешают, сижу один, ветер воет, грязь, холод, а я скверно, тупыми пальцами разыгрываю Бетховена и проливаю слезы умиления, или читаю «Илиаду», или сам выдумываю людей, женщин, живу с ними, мараю бумагу, или думаю, как теперь, о людях, которых люблю».

### **Вместо паузы. Немцы «русские» и «немецкие»**

Первое действующее лицо у Толстого, с которым мы встречаемся, открыв начальный том любого собрания его сочинений, – добрый немец Карл Иванович, домашний учитель Николеньки, героя «Детства».

В «Отрочестве», прежде чем навсегда расстаться с Николенькой и читателями, Карл Иванович рассказывает историю своей жизни. Истории отдано три главы подряд, это своего рода повесть в повести, – при лаконизме «Отрочества» пространство очень заметное.

Рассказ Карла Ивановича можно было бы при желании развернуть в большой роман, в котором соединились бы идиллия и эпопея, как в «Германе и Доротею» Гете. В списке книг, произведших на Толстого наибольшее впечатление в возрасте от 20 до 35 лет, сочинение Гете и по порядку и по оценке поставлено на первое место. В старости, уже основательно «рассорившись» с великим немцем, Толстой не изменит своего отношения к поэме: «Читайте "Германа и Доротею" – идиллия. Хороша». Похоже, что история Карла Ивановича создавалась под впечатлением творения Гете.

Даже героические страницы биографии Карла Ивановича полнятся чувствительностью и мечтательным благородством. Для немца в русской литературе он поразительно непрактичен. За двадцать лет службы в России он ничего не скопил и, получая расчет, должен «идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба».

В рассказе «Севастополь в августе» появляется штабс-капитан Краут, который «говорит по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского». Толстой о нем пишет: «Как все русские немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени». При этом персонаж он вовсе не отрицательный. «В службе и в жизни он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям; но просто, как человек, именно оттого, что все это было слишком хорошо, – чего-то в нем не доставало».

Не доставало в нем именно идеальности, то есть *идеализма*, не в философском, – в старинном, житейском

смысле слова: того самого идеализма учителя Карла Иваныча, который противостоит *материализму*, понимаемому опять же не философски, а как практицизм в отношениях с действительностью.

Из «формулы Краута» десятью годами позже, в «Войне и мире», разовьется характер Берга. Мы привыкли числить его по разряду «отрицательных героев», между тем, если задуматься, не нравится нам в нем только этот самый обозначающий все его поведение практицизм, который с позиций логики опровергнут быть не может, а лишь с определенной, нами же обусловленной нравственной точки зрения. Мы знакомимся с Бергом, когда он в гостях у Ростовых обсуждает преимущества службы в гвардейской пехоте сравнительно с кавалерией, притом настолько подробно и точно, что его собеседник-острослов отзывается пословицей: «Немец на обухе молотит хлебец» (пословица в ее точном виде говорит не о немце, а вообще о расчетливом человеке: «На обухе рожь молотит, зерна не обронит»).

Эта «практичность в высшей степени» – как бы знаковая особенность «русского немца», расчетливо, по зернышку, строящего свою карьеру.

«Игра занимает меня сильно, но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», – говорит Германн в «Пиковой даме». На что Томский отзывается: «Германн немец: он расчетлив, вот и всё!». Знак всё объясняет сам по себе. Германн даст волю страсти и начнет игру, лишь уверовав, что обладает несомненным средством приобретения. «Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов». В пушкинских же «Сценах из рыцарских времен» разбогатевший Мартын поучает сына-поэта, который даром хлеб ест да небо коптит, сочиняя глупые песни: «Когда мне минуло четырнадцать лет, покойный отец дал мне два крейцера в руку да два пинка в гузно, да промолвил: ступай-ка, Мартын, сам кормиться...» Штольцу в «Обломове», развившемуся мощно и совершенно по-своему, отец-немец дает с детства суровые уроки деятельного, неидеализированного отношения к

жизни. У Берга тоже папенька, который доволен сыном, оттого что тот переводом в гвардию выиграл чин перед своими товарищами по корпусу и тридцать рублей прибавки к жалованию.

Но, четко «обозначив» Берга, Толстой в ходе повествования размыкает национальные границы знака. Расчетливый карьерист Борис Друбецкой, вместе с Бергом начавший продвижение по службе и даже делящий с ним кров, точно такой же «русский немец», разве что лишенный Бергова добродушия. Николай Ростов, приехавший навестить Бориса, родственника, чувствует себя равно чужим с обоими, Среди его старших товарищей по гусарскому полку, вместе с Васькой Денисовым, героический штаб-ротмистр Кирстен, который был дважды разжалован в солдаты за дела чести и дважды выслуживался храбростью в боях. Командует гусарами полковник Карл Шуберт, – офицеры между собой именуют его совсем порусски «Богданычем». Тип личности в известной степени определяется национальными особенностями, но граница между людьми проходит не по национальному признаку.

«Русский немец» – явление, конечно же, реальное, но его особенности могут столь же различно обнаруживаться в иных «русских русских», как в других столь же явственны черты «идеальных немецких немцев».

Немец, хозяин дома, в котором квартируют Николай Ростов с Васькой Денисовым, «в фуфайке и колпаке, с вилами, которыми он вычищал навоз», выходит рано утром из коровника и, в ответ на «радостное, братское» приветствие Ростова, машет колпаком над головой: “Und die ganze Welt hoch!” И Николай Ростов, взмахнув фуражкой, кричит ему в лад: “Und vivat die ganze Welt!” «Хотя не было никакой причины и особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом и братской любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и разошлись...»

### 1860. «Свойственное ему место»

В 1860 году Толстой снова отправляется в путешествие: везет в Европу сестру Марию Николаевну с детьми – отдохнуть от семейных потрясений; к тому же, на европейских курортах, лечится старший брат Николай Николаевич, его добивает жестокая чахотка, – надо быть к нему поближе.

Но при этом: «...Моя главная цель в путешествии та, чтобы никто не смел мне в России указывать по педагогике на чужие края и чтобы быть au niveau всего, что сделано по этой части».

Он пишет в Ясную: «Я вернусь осенью непременно и больше, чем когда-нибудь, займусь школой, поэтому желал бы, чтобы без меня не пропала репутация школы и чтоб побольше с разных сторон было школьников».

Вскоре после возвращения в отечество, получая цензурное разрешение на издание журнала «Ясная Поляна», он сообщит не без гордости: «Существенное для меня сделано. В моем участке на 9 000 душ в нынешнюю осень возникли 21 школы – и возникли совершенно свободно».

В статье «О народном образовании» – она откроет первый номер его педагогического журнала – Толстой напишет: народ повсюду хочет образования, но при этом «постоянно противодействует усилиям, которые употребляют для его образования общество или правительство». Главная причина – отсутствие в деле образования и воспитания равенства и свободы.

Пароход «Прусский орел» высадил его в Штетине 17 июля 1860-го.

В Берлине, на который в прошлый раз у него не осталось времени, Толстой проводит десять дней «очень приятно и полезно для себя».

В университете он слушает лекции по истории и по физиологии. Историю читал профессор Иоганн Дройзен. В эту пору он был занят капитальнейшим трудом о прошлом, настоящем и будущем Пруссии. Дройзен убежден, что Пруссия именно тот центр, вокруг которого должны объединиться германские государства. Но, может быть, лекция, которую слушает Толстой, отдана античности.

Профессор увлечен периодом эллинизма (едва ли не он и ввел само это понятие – «эллинизм»), его любимый герой – Александр Македонский. Заметим, что в статье «Воспитание и образование», которую Толстой напишет по возвращении из Европы, появится своего рода формула знаний, для жизни мало ценных, но навязываемых учащимся в качестве необходимейших, – «Александр Македонский и Гваделупа».

Кафедру физиологии возглавлял профессор Эмиль Дюбуа-Реймон, автор классических работ по животному электричеству. Почти через полвека, отшучиваясь от воспоминаний, Толстой скажет: «Дюбуа-Реймон что-то с лягушкой делал». На самом деле Дюбуа-Реймона он, давно позабыв иных многих, хорошо помнит (в том же разговоре: «крепкий, красивый мужчина; прекрасный немецкий язык»), и разговор, в котором выпрыгивает лягушка эта, возникает в связи со статьей профессора, где исследуются духовные причины физиологических явлений.

Толстому показали Моабитскую тюрьму с одиночными камерами – новое слово в пеницитарном деле. Заключение держат в одиночке, но при этом учат грамоте и дают ему читать книги религиозно-нравственного содержания. «Тюремная цивилизация», похоже, не увлекла Толстого, открылась ему в страшных картинах уничтожения личности. Много позже в «Божеском и человеческом» он напишет про одиночку: «Ужасна была эта благоустроенная мертвая тишина и сознание того, что он не один, а что тут, за этими непроницаемыми стенами, сидят такие же узники, приговоренные на десять, двадцать лет, убивающиеся, и вешаемые, и сходящие с ума, и медленно умирающие чахоткой. Тут и женщины, и мужчины, и друзья, может быть... "Пройдут годы, и ты также сойдешь с ума, повесишься или умрешь, и не узнают про тебя", – думал он...»

В клубе ремесленников после лекции на какую-то научную тему на стол ставят «вопросный ящик»: слушатели бросали туда записки самого разного содержания, – теперь присутствующие в зале ученые и педагоги отвечают на эти записки. Такая форма общения с теми, кого хочешь чему-то научить, занимает Толстого – он берет одну записку из

ящика на память. Может быть, ему чудится что-то вроде крестьянского клуба, который он учредит у себя. Из затеи ничего не выйдет, но годы спустя в Ясной Поляне появится «почтовый ящик» – его будут вывешивать на лестничной площадке, каждый сможет опускать туда свои статьи, стихи, рассказы, отклики на события, происходящие в семействе, вопросы, серьезные и шуточные, и позже – ответы на них.

«Проят ответить в будущий раз на следующий вопрос: почему Устюша, Маша, Алена, Петр и др. должны печь, варить, мести, выносить, подавать, принимать... а господа есть, жрать, сорить, делать нечистоты и опять кушать? Лев Толстой».

Вопрос: «Чем люди живы в Ясной Поляне?»

Ответ: «Лев Николаевич жив тем, что будто бы нашел разгадку жизни»...

Сестра, Мария Николаевна, по совету докторов перебралась в Соден, где в это время обитает и больной брат Николай. Врачи и Льва Николаевича «шлют к *водам*» – в Киссинген: тамошняя вода непременно поможет ему от «мигреней и геморроидальных припадков». В Киссингене он месяц – с 27 июля по 26 августа 1860-го.

Нравы немецкого Bad-городка будут описаны в «Анне Карениной» – на такой курорт привезут Кити Щербацкую, долго хворавшую после того, как ее оставил Вронский. «Как и во всех местах, где собираются люди, так и на маленьких немецких водах, куда приехали Щербацкие, совершилась обычная как бы кристаллизация общества, определяющая каждому его члену определенное и неизменное место. Как определено и неизменно частица воды на холоде получает известную форму снежного кристалла, так точно каждое новое лицо, приехавшее на воды, тотчас же устанавливалось в свойственное ему место».

Граф Лев Толстой не обретает ту форму кристалла, которую должен бы обрести, и, соответственно, *не устанавливается* в то место, которое ему предназначено. На другой день после приезда, не задержавшись в «обществе», он отправляется в «школу малых детей», где обучение ведется звуковым методом, на слух (оценка в дневнике:

«плохо»). Назавтра он в обычной школе: «Ужасно. Молитва за короля, побои, всё наизусть, испуганные, изуродованные дети».

Это «изуродованные дети» он повторит и позже, продолжая рассматривать школы в разных городах Европы – в Женеве, где посещает колледж, или в Марселе: «четырёхлетние дети по свистку, как солдаты, делают эволюции вокруг лавок, по команде поднимают и складывают руки и дрожащими и странными голосами поют хвалебные гимны Богу и своим благодетелям».

Посещая немецкие школы, Толстой просил детей написать в сочинении, что они делали в воскресный день. Мальчики и девочки всегда писали, что молились, и никогда, что играли. Насильственное, оторванное от живой жизни образование превращает ребенка в «измученное, сжавшееся существо, с выражением усталости, страха и скуки, повторяющее одними губами чужие слова на чужом языке, – существо, которого душа, как улитка, спряталась в свой домик».

Толстой знакомится с Юлиусом Фрëбелем, публицистом, участником революции 1848 года, приговоренным к смертной казни, избежавшим ее, но не оставившим политики («Политика истощила его всего», – определяет при знакомстве Толстой). Фрëбель сохранил в своих записках некоторые высказывания Толстого той поры.

«Если образование – благо, то потребность в нем должна являться сама собою, как голод».

«Прогресс в России должен исходить из народного образования, которое у нас даст лучшие результаты, чем в Германии, потому что русский народ еще не испорчен ложным воспитанием».

У Фрëбеля читаем: о «народе» (*народ* – в кавычках) граф Толстой имел «совершенно мистическое представление». «По этому воззрению, "народ" – таинственное, иррациональное существо, из недр которого явятся неожиданные вещи – новое устройство мира».

Кавычки, в которые берет Фрëбель слово народ, Толстой тотчас чувствует. При характеристике нового

знакомого эти кавычки для него значимее былого участия Фрёбеля в революции: «аристократ-либерал».

«Рабочий народ везде одинаковый», – это, уже стариком, Лев Николаевич вспоминает свое путешествие: «Я люблю простой немецкий народ».

Записи в немецком дневнике 1860 года конспективно кратки. Между указаниями о посещении школ, встречах, замыслах – находим: «Болтал с мужиками», «Был в поле», «Работа поденных», «Барщина», «Мужики в харчевне грустно, пасмурно кнейпуют», «Косил»...

Здесь, в Кисеингине, Толстой обдумывает повесть из русской крестьянской жизни, делает наброски: «Петра и Павла отпраздновали... Мужики похмелились, у кого было, кто с вечеру, кто поутру косы поотбили, подвязали брусницы на обрывочки и, как пчелы из улья, повысыпали на покосы. Повсюду, по лощинам, по дорогам, заблестело солнышко на косах...»

Картина покоса, одно из лучших созданий русской литературы, возникнет полутора десятилетиями позже, в «Анне Карениной».

Среди киссингенских дневниковых записей – пророческая: «Видел во сне, что я оделся мужиком, и мать не признает меня».

В старости расскажет, вспоминая: «Я снизу вверх смотрел на немецких крестьян. Немецкий крестьянин такой же самобытный, как и русский. У него есть, чему поучиться».

И тогда же – как косил с крестьянами, будучи в Германии: «У них очень схожие с русскими крестьянами черты. Все люди одинаковы. Ауэрбах, которого я любил, оценивал выше всех эти черты народа».

Бертольд Ауэрбах – немецкий писатель, снискавший широкую популярность в 1840-1850 годы, прежде всего своими «Деревенскими рассказами». Он вывел читателя из особняка аристократа и мастерской художника на свежий воздух, к крестьянам, о которых писал с живой откровенностью и несколько наивным добродушием. Эффект «Деревенских рассказов» был по-своему сродни эффекту тургеневских «Записок охотника» в русской

литературе. Толстой увлеченно читал эти рассказы, как и роман Ауэрбаха «Новая жизнь». О романе и о встрече Толстого с автором – позже. Пока – о другом.

Заглядывая в крестьянские дома, Толстой удивляется, что ни в одном из них нет книжек Ауэрбаха. Между тем именно этот писатель, кажется Толстому, мог бы стать посредником между образованным классом и народом. Он делится своими соображениями с Юлиусом Фрёбелем и его другом Карлом Франтцем, тоже публицистом, ученым, и политиком, конечно. С изумлением заносит в дневник их немудреный ответ: «Ауэрбах, – говорит, – жид. И больше ничего». Через полвека почти, вспоминая давний разговор, Толстой прибавит: «Это юдофобство в революционере так меня оттолкнуло»...

Однако пора покидать Германию, и надолго – пройдет семь месяцев, прежде чем Толстой снова окажется в ее пределах.

«Положение Николеньки ужасно. Страшно умен, ясен. И желание жить. А энергии жизни нет». Лев Николаевич везет больного брата на юг Франции, в Гиер.

Николай Николаевич Толстой умер 20 сентября 1860 года.

«Николенькина смерть – самое сильное впечатление моей жизни». Лев Николаевич пишет в эти дни, что Николенька был для него не только брат, с которым связаны лучшие воспоминания его жизни, но и лучший друг. В нем Толстой, с младенчества оставшийся сиротой, находил те черты, которыми в воображении наделял свою мать (ее он не помнил) – доброту, ум, мягкость, мечтательность, благожелательство. И еще более. Тургенев скажет: «То смирение перед жизнью, которое Лев Толстой развивает теоретически, брат его применил непосредственно к своему существованию».

Смерть брата с неизвестной прежде остротой ставит перед Толстым вопрос, поиски ответа на который, по существу, перевернут впоследствии всю его жизнь: «Зачем?» В дневнике: «Опять вопрос: "зачем?" Уж недалеко до отправления туда. Куда? Никуда». И через два десятилетия – в «Исповеди»: «Сколько ни говори мне: ты не

можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде».

В октябрьском дневнике 1860 года: «Гаданье карт, нерешительность, праздность, тоска, мысль о смерти. Надо выйти из этого. Одно средство. Усилие над собой, чтоб работать». И вскоре: «Лет десять не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти три дня ("лет десять" – это до "Детства"; еще не написано ничего, нам известного – *В.П.*). Не пишу от избытка». Но – *пишет*. Пишет повесть, «герой которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию».

В эту пору он знакомится с декабристом Сергеем Григорьевичем Волконским, который, особенно привлекает его тем, что этот князь, цвет петербургской аристократии, родовитый и придворный, «в Сибири, уже после каторги, когда у жены его было нечто вроде салона, работал с мужиками, и в его комнате валялись всякие принадлежности крестьянской работы». (Посетители Ясной Поляны будут удивляться тому же в кабинете Толстого «под сводами».)

Героя повести зовут Пьер, его жену – Наталья. Ее натуру Толстой обозначает строками Шиллера:

Sie pflegen und weben  
Unsichtbare Rosen ins irdische Leben.

В стихах, случайно или с намерением, заменяет “himmlische” (небесные) на “unsichtbare” (невидимые): «Вся натура ее была выражением этой мысли, вся жизнь ее была одним этим бессознательным вплетением невидимых роз в жизнь всех людей, с которыми она встречалась».

Толстой еще не знает, что замысел потребует (по собственному его позднему объяснению), чтобы он из 1856 года, когда герой получил разрешение возвратиться из Сибири, перенесся в 1825-й, к периоду подготовки восстания 14 декабря, затем в молодость героя, «совпавшую с славной для России эпохой 1812 года», наконец, и того далее, ко времени, предшествовавшему Отечественной войне, к событиям 1805 года. Толстой еще не знает, что начинается работа над «Войной и миром».

Но знакомство с С.Г. Волконским – это уже Флоренция. После смерти брата Толстой путешествует по Италии, затем возвращается во Францию и через Париж (продолжая по дороге осматривать школы) отправляется в Лондон, к Герцену.

### **Вместо паузы. «Рудольфов трапп»**

Связь с «лондонскими пропагандистами», как именовали Герцена и Огарева, считалась в России преступлением, но едва не всякий русский, приезжавший в Лондон, считал своим долгом нанести им визит. Толстой, конечно, не «всякий русский», в числе которых немало попросту любопытствующих. Герцен причисляет себя к «искренним почитателям» толстовского таланта. Толстой с интересом и одобрением читает то, что выходит из-под пера Герцена. Встреча предполагалась еще в прошлое толстовское путешествие по Европе в 1857 году. Толстой приезжает в Лондон 4 марта 1861-го.

«Живой, отзывчивый, умный, интересный, Герцен сразу заговорил со мной так, как будто мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своей личностью. Я ни у кого потом не встречал такого редкого соединения глубины и блеска мыслей».

На пятый день после первой встречи Герцен пишет Тургеневу: «Толстой – короткий знакомый». Прибавляет: даже пятилетняя Лиза (дочь Герцена и Огаревой) «его полюбила и называет *Левстой*. Что же больше?»

Толстой чувствует себя у лондонских хозяев свободно (а он застенчив). Разговоры, по его воспоминаниям, «всякие и интересные». Даже то, что Герцен в письмах к Тургеневу, не снижая оценок, замечает, что Толстой «завирается подчас», «говорит чушь», доказывая что-либо, нередко, «как под Севастополем, берет храбростью, натиском», свидетельствует о свободном тоне их разговоров.

Рассказывая о Севастополе, Толстой садится к роялю, аккомпанируя себе, поет сочиненную им во время Крымской войны сатирическую песню о неудачном сражении на Черной речке («Как четвертого числа || Нас

нелегкая несла»), запрещенную в России, но очень популярную в армии, и не только в армии. Песню эту впервые напечатал Герцен в своем альманахе «Полярная звезда», считая ее народной, солдатской.

Конечно, Толстой играл и еще что-то. Определенно – «Кавалерийскую рысь», сочиненную знакомым музыкантом, немцем Рудольфом. По свидетельству Т.А. Кузминской (сестры Софьи Андреевны), «он очень любил эту вещь, она действительно имела свойство взвинчивать души, чувства и нервы».

Путешествуя по Европе в 1857 году, Толстой работал над рассказом «Альберт» (в набросках – название: «Поврежденный», «Погибший», «Пропащий»). Рассказ – о гениальном музыканте, «повредившемся» от любви к знатной даме и погибшем, спившемся.

Известен прототип – Георг Кизеветтер, немецкий скрипач, уроженец Ганновера, выброшенный на улицу после десяти лет службы в оркестре Петербургской оперы. Толстой познакомился с Кизеветтером незадолго до первой заграничной поездки в одном из петербургских увеселительных заведений, «танцклассов» (отмечая знакомство, Толстой именует без обиняков – в борделе). Музыканта пускают туда из жалости – поиграть на скрипке. Толстой приглашает скрипача к себе домой: «Он умен, гениален и здрав. Он гениальный юродивый». Через два дня после первой встречи Толстой помечает в дневнике: «История Кизеветтера подмывает меня». В «Альберте» он по-своему передает эту историю. Погибший, поврежденный, пропащий, – но «страшный внутренний огонь» горит в нем: он берет в руки скрипку – и вот он уже «из всех нас лучший и счастливейший». И строка Шиллера, которую он произносит, рассказывая о себе: “Ich auch habe gelebt und genossen” полнится глубоким смыслом.

Но в жизни Толстого был еще один «очень хороший музыкант, мой приятель, немец по музыкальному направлению и происхождению» (так о нем в незаконченном раннем рассказе «Святочная ночь») – тот самый Рудольф, чье имя уже упомянуто выше. Толстой

повстречался с ним восемью годами раньше, чем с Кизеветтером, в отличие от которого Рудольф – пианист.

Тип личности и образ жизни роднили Рудольфа с Кизеветтером. Неслучайно некоторые современники убеждены: «Рудольф – он же Альберт». Легко доказать, что не «он же», но то, что, работая над «Альбертом», писатель и Рудольфа в памяти держал, не требует доказательств.

Толстой привез Рудольфа в Ясную Поляну, брал у него уроки музыки, Рудольф много пил, кутил, отыскал в Ясной старых дворовых, которые были музыкантами еще у деда Льва Николаевича, играл с ними, и пил тоже; пьяненький, уединялся в оранжерее и сочинял свои композиции. Из его сочинений в доме навсегда задержались “Hexengalop” и две «Кавалерийских рыси», одна – та самая, Толстым особенно любимая.

При исполнении «Кавалерийской рыси» в Лондоне выясняется, что и Огарев был знаком с Рудольфом. Более того: музыка побуждает Огарева вспомнить давнюю историю, случившуюся с ним. В «танцклассе», где бывал и играл Рудольф, он полюбил девушку, «падшее создание» и вознамерился было спасти, «вытащить»; но – то ли одумался, то ли не успел, то ли не преуспел. Об этой истории Огарев написал стихотворение «Рудольфов трапп» и посвятил Льву Толстому. (Trab – по-немецки рысь; trappeln – бежать, быстрым коротким шагом.)

Воскрешают эти звуки  
Целый мир передо мной –  
Странной неги, странной муки,  
Шелест счастья, плач разлуки  
И полячки молодой  
Образ светлый и простой...

Ритм стиха передает, очевидно, музыкальный ритм.  
Финал стихотворения:

Я поехал, сердце ныло,  
Я сжимал ее платок,  
И тоска меня томила,  
И терзал меня упрек.

Дайте звуков, Христа-ради,  
Дайте прошлые мечты,  
Дайте вспомнить бедной бляди  
Простодушные черты!..

Стихи догоняют Толстого уже на обратном пути: 17 марта он покидает Лондон. 9 апреля, по дороге задержавшись в Брюсселе, он прибывает во Франкфурт-на-Майне.

### **1861. «Я везу с собой»**

Из наброска статьи в виде письма неизвестному:

«Я теперь почти кончаю мое путешествие по школам Европы – часть Германии, Франция, Англия, Италия, Бельгия – уже осмотрены мною – и мне страшно дать не только тебе и педагогическому миру – но страшно самому себе дать отчет в том убеждении, к которому я приведен всем виденным... Только мы, русские варвары, не знаем, колеблемся и ищем разрешения вопросов о будущем человека и лучших путях образования, в Европе же эти вопросы решенные... Всё у них предусмотрено, на развитие человеческой природы во все стороны поставлены готовые, неизменные формы. И это совсем не шутка, не парадокс, не ирония, а факт, в котором нельзя не убедиться человеку свободному, с целью поучения наблюдавшему школы одну за другою, как я это делал, хоть бы в одной Германии, хоть бы в одном городе Франкфурте-на-Майне».

Из Франкфурта он едет в Веймар через Эйзенах. В дневнике: «Ейзенах – дорога – мысли о Боге и бессмертии. Бог восстановлен – надежда в бессмертие». Разрешается сложный душевный кризис, вызванный смертью брата.

Через восемь лет Толстой поедет в Пензенскую губернию посмотреть имение, которое решил купить, и по дороге, ночуя в Арзамасе, переживет то состояние страха и отчаяния, которое уже не сможет забыть, – оно останется в его жизни под именем «арзамасского ужаса»: «все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть».

В таких кризисах являет себя, вызревает то, что обернется позже «переломом», «обращением», как назовут это современники, – невозможностью для Толстого жить по-прежнему, поисками учения, которое открывало бы смысл этой земной жизни, прекращающейся и вместе не прекращающейся со смертью.

Веймар – «милейший городок в мире»: «цивилизации нет никакой, хотя школ пропасть и очень хороших». Понятие «цивилизация» здесь – *толстовское*: «воображаемое знание», предлагающее людям лишнее и уводящее от необходимого, – удобство взамен счастья.

В веймарских школах Толстой беседует с педагогами, эти беседы тревожат его мысль и чувство. Так и записывает в дневнике: «Вечер опять тревога мыслей о воспитании».

Подводит итог каким-то собственным раздумьям, может быть, спорам: «Законы развития ребенка не уловишь... Рисует палки, а ему смутно представляется круг. И приучить к последовательности нельзя тогда, когда все ново».

И следом – необыкновенно примечательное: «Я, кроме "Детства", еще весь в себе, и потому я так свободно сверху смотрю на них». Размышляя о том, чему и как учить детей, он еще чувствует себя способным смотреть на мир не утратившими первоначальной свежести восприятия глазами Николеньки Иртеньева.

Веймарский учитель Юлиус Штётцер принимает Толстого, который поначалу не представился, за своего соотечественника, «потому что он говорил по-немецки так же хорошо, как мы». Незнакомец просит разрешения присутствовать на уроке. Беседуя с учителем, он называет важнейшей задачей образования – сделать более свободным течение мысли у детей. Учитель на всю жизнь запоминает употребленное незнакомым гостем слово “flüssig”. Между тем понятие «текучести», подвижности и неравномерности происходящих в человеке духовных и душевных процессов, неоднозначности его, способности решительно изменяться в разных условиях внешней и внутренней жизни, составляет важную часть раздумий Толстого («Человек

текуч»). *Текучест*ь обеспечивает свободу личности от постоянно прививаемых обществом и традицией догм, возможность обнаруживать лучшее в себе.

Желая помочь гостю, Штётцер заменяет следовавший по расписанию урок сочинением и задает тему: «Дорогой друг!» Толстой ходит между партами, нетерпеливо берет тетрадь то одного ученика, то другого, читает, что пишут дети. Когда урок подходит к концу, он просит разрешения взять с собой работы учеников. Учитель отвечает, что дети только что купили себе тетради, каждая стоит тридцать копеек; Веймар – бедный город, родители будут недовольны, если придется покупать новые. Толстой выходит из класса и вскоре возвращается с большой пачкой писчей бумаги, которую купил в соседней лавке, чтобы дети переписали для него свои сочинения (все девятнадцать листов хранятся в архиве Толстовского музея в Москве).

В отрочестве Юлиусу Штётцеру посчастливилось жить в одном доме с известным Эккерманом, секретарем Гете, записавшим его разговоры. Однажды добрый Эккерман помог юному соседу осуществить его мечту – устроил ему свидание с Гете. Великий старец (Гете было без года восемьдесят) вышел к мальчику в светлом домашнем халате, спросил, как его зовут и что ему нужно, и посоветовал вместо того, чтобы тратить зря время и глазеть на кого-нибудь, поскорее садиться за школьные уроки.

Об этом рассказывает Томас Манн в докладе «Гете и Толстой», прочитанном в 1921 году. Томаса Манна заинтересовало, что в жизнь провинциального учителя, тихую, немудреную и вроде бы обреченную быть именно такой, ворвались встречи с двумя великими людьми, обозначившими «от» и «до» целую эпоху в развитии человечества.

Прибавим: учитель Штётцер родился в 1813 году – год «Битвы народов» под Лейпцигом, после которой Германия была освобождена от господства Наполеона, а умер в 1905 – русская революция начала свое движение к цели.

14 июля Лев Толстой осматривает дом Гете.

Музея еще нет, в доме живут родственники Гете, простых посетителей туда не пускают. Но Толстой не «простой» посетитель: по приезде он встречается с российским посланником А.Л. фон Мальтицем (его жена – особо помечено в дневнике – тетка Екатерины Федоровны Тютчевой, дочери поэта: тремя годами раньше Толстой, по его признанию, почти готов был «без любви, спокойно жениться на ней»), он представлен герцогу Саксен-Веймарскому Карлу Иоганну (герцог, по матери, внук российского императора Павла Первого), знакомится с герцогиней (о ней много лет спустя – «дура отпетая») – для него двери в заветный покой открыты.

В дневнике всего два слова: «Дом Гете» (дневник, правда, вообще конспективен). Позже, в старости, вспоминая, ничего не захочет припомнить, разве что, несколько раз, не без иронии, забавный эпизод из жизни «веймарского мудреца»: «Наполеон, когда был у него Гете, советовал ему поучиться у Расина. Спросил его, женат ли он? Гете не был обвенчан, жил так со своей возлюбленной и сейчас же женился на ней. “Oh, ein großer Geist!” – сказал мне проводник в Веймаре».

Толстой сообщает эту историю, подтверждая свою мысль, что верноподданничество приближенных соответствует деспотизму правителей.

Вспоминая беседу с Наполеоном, сам Гете рассказывает: «Он повернул разговор на Вертера, которого он знал вдоль и поперек. Он сделал ряд различных и совершенно точных замечаний, но по поводу одного места сказал: "Зачем вы это сделали? Это неестественно"... Я слушал его с радостным лицом и, удовлетворенно улыбаясь, отвечал, что, право, не знаю никого больше, от кого мог бы услышать подобного рода упрек. Но я нахожу этот упрек вполне справедливым... Император казался доволен моими словами».

Но женился он двумя годами раньше, в 1806-м, правда, после того, как наполеоновские войска заняли Веймар. До этого Христиана Вульпиус, дочь низшего дворцового служащего, жила в его доме на ролях «экономки». Для биографов Христиана, с ее приметными

формами, черными сияющими глазами и яркими полными губами, олицетворяет «земную любовь» поэта и мудреца.

Заметим мимоходом, что ее брат, Христиан Август Вульпиус, которого Гете пристроил сперва к театру, а позже придворным библиотекарем, оказался чрезвычайно бойким производителем разного рода словесной продукции, автором бесчисленного числа пьес и прозаических сочинений. Его роман о благородном разбойнике Ринальдо Ринальдони был переведен едва ли не на все языки и принес автору колоссальную славу (в пушкинском «Дубровском» один из персонажей именуется героя «Ринальдо»). Вряд ли великий «Фауст» в те годы читался так же широко...

Толстой, по собственному признанию, прочел все 42 тома сочинений Гете, некоторые из них неоднократно перечитывал. За немногими исключениями («Герман и Доротея», «Страдания молодого Вертера», отдельные стихотворения) произведения Гете вызывают у него отрицательное отношение. В дневнике 1896 года находим: «Читаю Гете и вижу все вредное влияние этого ничтожного, буржуазно-эгоистического, даровитого человека на то поколение, которое я застал». Тогда же в трактате «Что такое искусство?» Толстой причисляет Гете, «бывшего диктатора философского мышления и эстетических законов», к ложным авторитетам, утверждавшим к тому же силой своего влияния другие ложные авторитеты (среди них – упрямо неприемлемый автором трактата Шекспир). За Гете огорчаться не следует: он у Толстого в хорошей компании – рядом, через запятую, кроме Шекспира, еще и Данте, и Бетховен, и Рафаэль, и многие иные, от кого, читая, слушая, смотря, Толстой, случалось, приходил в восторг, но кого логика трактата беспощадно отбрасывала в перечень этих самых «ложных репутаций». Речь в трактате о том, что установившийся авторитет имени творца не должен подчинять себе наше отношение к его творениям, наши суждения о нем.

На протяжении жизни Толстой многожды возвращается к чтению «Фауста», отзывы, по большей части, недоброжелательны, в 1880 годы он окончательно отвергает всемирное творение. И все же. Составляя в 1891

году список произведений, которые в разном возрасте произвели на него наибольшее впечатление, в разделе «от 20 до 35 лет» (то есть как раз период европейских путешествий) среди немногих книг (семь авторов, девять наименований) дважды назовет Гете. Номер первый в списке «Герман и Доротея» – «очень большое» впечатление, следом – «Фауст» и мелкие стихотворения – о них сдержанно: «влияние». Поразмыслив, «Фауста» все-таки вычеркнет. Но сначала – *вписал*!... Примечательно: Толстой с явным одобрением выхватывает из высказываний Гете всё то, что противоречит привычной упорядоченной мудрости веймарского олимпийца. Ему нравится, например, что на сетования иностранного корреспондента, что забыл немецкую грамматику, Гете отвечает, что сам он, напротив, сожалеет, что не может ее забыть. В «Гетевском календаре на 1909 год» он особо отметит слова Гете: «Если бы я имел несчастье быть обязанным состоять в оппозиции, я бы лучше стал производить восстание и революцию, чем возиться в мрачном кругу вечного порицания существующего».

Настойчиво отрицая Гете, Толстой освобождался от насилия его взглядов и суждений, от того *влияния*, которое признал было, составляя список дорогих книг.

У Романа Роллана в биографии Толстого находим: от гениального творца нельзя требовать беспристрастности; опровергая Шекспира, Толстой утверждает в искусстве собственные идеалы.

Подробность: Гете и Толстой родились в один и тот же день (с разрывом в 79 лет), 28 августа, но каждый *по своему календарю*.

В Веймаре есть еще дом Шиллера, с 1847 года он принадлежит городу. В комнатах все сохраняется в том виде, как было при жизни поэта. О том, что Толстой и этот дом посетил, нигде ни слова. Но нипочем невозможно поверить, чтобы, всякий день проходя мимо, туда не завернул.

«Суха та душа, которая смолоду не любила Шиллера», – это слова Гете, и в чем, в чем, а в этом Толстой с ним безусловно согласен. Да только ли в молодости? В

1905 году, в ответ на просьбу немецкой газеты отозваться на столетие со дня смерти Шиллера, он пошлет телеграмму: «Шиллер живет, не умирает». «Разбойники», одна из самых дорогих книг среди прочитанных «от 14-ти до 20-ти лет», остается такой до старости: «Разбойники» – «глубоко истинны и верны». Бережно хранит Толстой томик Шиллера 1840 года издания, который побывал с ним в осажденном Севастополе. И что же? Был в Веймаре и к Шиллеру не заглянул?..

Любопытно: в толстовской «модели Гете» прославленная дружба Гете и Шиллера оборачивается противопоставлением. В высказываниях Толстого, письменных и устных, упоминание Гете, по большей части со знаком «минус», тянет следом упоминание Шиллера со знаком «плюс». Однажды формулировка становится предельно резкой: «Шиллера я люблю, это свой человек, а Гете – мертвый немец».

Гете холоден. Шиллер – «настоящий». Гете, когда читаешь его драмы, «видно, как сидел и сочинял». У Шиллера – духовная энергия, нет лишних слов. Гете «занимается эстетической игрой». Шиллер из тех великих писателей, которые пишут кровью сердца.

В 1856 году Толстой пишет: *“Wage nur zu irren und zu träumen!* Шиллер сказал. Это ужасно верно, что надо ошибаться смело, решительно, с твердостью, только тогда дойдешь до истины». В строчке Шиллера, в словах, ею рожденных, – семечко, из которого годом позже вырастут строки письма к А.А. Толстой, своего рода пожизненное духовное кредо Толстого: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать... и вечно бороться и лишаться»...

Живет в Веймаре некто Густав Келлер, молодой человек – недавно ему исполнился двадцать один год, – круглолицый, румяный, с густой шапкой светлых волос и с круглыми веселыми глазами за маленькими золотыми очечками. Он только что окончил политехнический институт. У своего старого школьного учителя Келлер застаёт странного гостя, – русский граф изучает в Европе систему народного образования. Граф сразу производит на

юношу сильное впечатление пронизательной неожиданностью суждений, каждое его слово полнится убежденностью. Через несколько минут он предлагает Келеру ехать с ним в Россию, в деревню, – учить крестьянских детей. Наверно, сам себе удивляясь, молодой человек принимает как с неба свалившееся предложение.

И вот вместо чистеньких веймарских мостовых – грязь непролазная, вместо приятных глазу домиков, покрашенных розовым, желтым, зеленым, – черные избы, бедные дворы, непонятные, часто пьяные мужики, рано стареющие бабы. И такой долгий снег... А детишки в школе – чудесные: сообразительны, чутки, добродушны. В них от природы заложено такое чувство правды и красоты, что, распознав его, новый учитель уже не удивляется, когда Лев Николаевич всерьез называет рядом яснополянского мальчика Игната Макарова и великого Гете.

Густав Федорович, как именуют Келлера в России, показывает детям опыты по химии и физике, учит их математике и рисованию. Он старается, чтобы уроки были интересные, придумывает занятные упражнения и задачи. И нраву он доброго, дети его любят. «Он был смирный, никого не ругал и не бил и рассказывал все нам, как в Ермании хорошо, что там лето, а зимы почти нет», – это Игнат Макаров про него.

Русским языком Густав Келлер за самый короткий срок овладел настолько хорошо, что помогает Льву Николаевичу готовить статьи для педагогического журнала. Пристрастился он и к охоте, Толстой, заядлый охотник, берет его с собой на тягу. Ну, не все сразу, конечно. Поначалу, например, не всегда получалось верхом по окрестному бездорожью. В связи с чем Л.Н. Толстым однажды сочинены стихи (в полном собрании сочинений не напечатаны):

Для Келлера Густава  
Не писано устава,  
Лишь вырыта канава...

Минет год с небольшим, граф женится, молодая жена будет ревновать мужа ко всему, что мешает ему

принадлежать только ей. «Он мне гадок со своим народом, – прочитаем в ее дневнике через два месяца после свадьбы. – Я чувствую, что или я... или народ с горячей любовью к нему Л. ...Страшно с ним жить, вдруг народ полюбит опять, а я пропала, потому и меня любит, как любил школу, природу, может быть, литературу свою...» В жизни Толстого пора – счастливая и трудная: «Черты теперешней жизни – полнота, отсутствие мечтаний, надежд, самопознания...» Но «мысль семейная», которую он, с раннего детства круглый сирота, так долго формовал и выласкивал, наполняет и увлекает его. И «литература своя» снова начинает сильно его тревожить. Еще недавно – так ему казалось – уверенно предпочитал ей педагогику, шутливо перефразировал известные строчки: «Мне, как учителю, уж чужды все сочиненья прежних дней». Но, чувствует, «надо работать» (подчеркнуто) – это уже про литературу: настает время «Войны и мира». Занятия школой идут на убыль.

А как же наш Келлер? Он затоскует, совсем соберется обратно в Германию (матушка как раз приишет ему хорошее место) ...да и не поедет. Как-то странно, сразу прилепится он душой к этой России. Сорок лет, до самой кончины, в 1904 году, Густав Федорович будет преподавать немецкий язык в Тульской классической гимназии, увлекая учеников переводами Гете, Шиллера, Лессинга.

Чем не сюжет для повести?..

17 апреля, накануне отъезда из Веймара, Толстой слушает в оперном театре «Волшебную флейту» Моцарта: «Восторг, особенно дуэт». И, беседуя с Танеевым, сорок пять лет спустя: «Прелестная эта опера. Я ее слышал в Веймаре – Лист дирижировал».

Поздние высказывания о музыке особенно дороги. Они принадлежат времени, когда Толстой, движимый идеей, что музыка должна всех людей объединять в общем чувстве, должна быть понятна простому народу, заставляет себя «не принимать» чудесные творения, над которыми проливает слезы, потому что они созданы для «ссловия людей с извращенным ложным воспитанием вкусом», к этому словословию он относит и себя.

Он нередко вспоминает высказывание Канта о музыке – “pflichtlöses Genuss”. Это выражение переводят по-разному; наслаждение – «чуждое долгу», «необязывающее», может быть, точнее – «свободное от исполнения долга». Толстой записал его после встречи с Бертольдом Ауэрбахом, – видимо, впервые услышал от него.

Личное знакомство с любимым писателем происходит в Берлине, куда Толстой, завершая путешествие, приезжает 21 апреля 1861 года.

Он является к Ауэрбаху, с порога представляется: «Я – Евгений Бауман».

В романе Ауэрбаха «Новая жизнь» молодой граф, участник революции 1848 года, приговоренный к смертной казни, добывает паспорт народного учителя Евгения Баумана, поселяется в глухой деревушке и находит счастье, вращаясь в народную жизнь «корнями всего своего бытия».

Видя растерянность хозяина, Толстой прибавляет: «Не по имени, но по характеру». «И тогда я сказал ему, кто я, как сочинения его заставили меня думать и как хорошо они на меня действовали».

Подробности беседы неизвестны. Но о народной школе они непременно говорят. Позже Толстой станет даже утверждать, будто именно Ауэрбаху обязан тем, что открыл школу для крестьян. Знаем, что школа в Ясной Поляне ко времени их встречи уже действовала, но в преувеличении Толстого обнаруживает себя сила воздействия на него немецкого писателя и разговора с ним.

В черновых рукописях трактата «Что такое искусство?» помечает: «Романы первого разбора: Диккенс, В. Гюго, Ауэрбах».

Читаем в «Новой жизни»: «Ты сам – лучший учитель. Создай сам с помощью детей свою методику, и все пойдет отлично. Всякая абстрактная методика нелепа. Самое лучшее, что может сделать учитель в школе, зависит от него самого, от его собственных возможностей».

С этой мыслью, вполне соответствующей собственным его убеждениям, проверенной его собственной педагогической практикой, осматривал Толстой школы Европы и, осмотрев, еще более утвердился в ней. Он

возвращается домой, еще более уверившись в необходимости отказаться от всякого деспотизма в отношениях с детьми, от попыток заменить особенности детского постижения мира нашими взрослыми принципами и способами познания.

К этому пришел и Евгений Бауман: «вместо того, чтобы навязывать детскому уму недоступные ему истины», он искал пути, «чтобы дети сами постоянно искали истину и открывали ее».

В размышлениях немецкого писателя Толстой не мог не заметить смолоду значимой для него – как жизненная задача и потребность – идеи постоянного совершенствования человека, позже она станет краеугольным камнем его учения. «Легко сказать – мир должен сделаться лучше. Это верно. Но прежде всего должны все мы сделаться лучше», – в лад с тем, что не устает повторять Толстой, утверждает герой Ауэрбаха.

**В дневнике об Ауэрбахе: «Ему 49 лет, он прям, молод, верущ. Не поэт отрицания kkk». Всё необыкновенно дорогие для Толстого черты.**

**«Ауэрбах!!!!!!!!!!!!!! Прелестнейший человек. Ein Licht mir aufgegangen“. После имени Ауэрбаха пятнадцать восклицательных знаков.**

Встреча с Ауэрбахом дает бодрый, открытый финал всему растянувшемуся на год и девять месяцев заграничному путешествию.

Из письма: «Я здоров и сгораю от нетерпения вернуться в Россию. Но, попав в Европу и не зная, когда снова попаду сюда, ...я всячески стараюсь как можно больше воспользоваться моим путешествием. И, кажется, мне это удалось. Я везу с собой столько впечатлений и столько знаний, что мне придется долго работать, чтобы уместить всё это в порядке в голове».

Знания и впечатления, привезенные Толстым из Европы, обнаружим не только в его педагогических сочинениях, не только в «заграничных» страницах «Войны и мира» и «Анны Карениной». Эти знания и впечатления, подчас не выказывая себя явно, вычитываются во многих страницах его художественных произведений и

публицистики, угадываются как побудительное начало значимых мыслей и решительных выводов.

12 апреля 1861 года (календарь опять российский) Л.Н. Толстой возвращается в отечество. «Граница. Здоров, весел, впечатление России незаметно».



**Виктор Финкель**

**Религиозное, политическое и  
национальное самосознание  
Цветаевой**

**Доклад на The 27<sup>th</sup> Annual Meeting of the Mid-  
Atlantic Slavic Conference of the AAASS.  
Hunter College, New York, NY on March 22,  
2003**



арина Ивановна Цветаева – великий русский поэт, оставивший неизгладимый след в русской и мировой поэзии. Это след раскаленной и не остывающей лавы, kloкочущего вулкана мыслей и страстей, беспрецедентного по мастерству и изощренности пера, точнее резца, формирующего пространственное поэтическое изображение и, наконец, это следы крови и смерти... Последние имеют не фигуральный, а, к сожалению, прямой смысл – трагическая кончина Цветаевой, раздавленной коммунистическим молохом, и покончившей с собой в Елабуге, общеизвестна.

Можно лишь предполагать, как сложилась бы судьба Марины Цветаевой, родись она в другое время и в иной, более благополучной стране. Гадать – непродуктивно. Ясно, однако, что сама Цветаева отчетливо сознавала – сумасшедший двадцатый век был непримиримо враждебен и не по плечу ей, и в России: «Я в России XX века бессмысленная», и вообще (О поэте не подумал. 1934):

Век мой – яд мой, век мой – вред мой,  
Век мой – враг мой, век мой – ад.

Тем более, поразительна её поэтическая продуктивность, высоковольтность её поэзии, непреходящая, неправдоподобная, слепящая яркость поэтических строк. Поэзия Цветаевой (Цветаева, 1980, 1994) – это пронзительный документ, представляющий развернутый во времени срез эпохи. Трагические политические катаклизмы и конвульсии России и Европы оказались удивительным образом связаны с эволюцией личности и судьбой Поэта. Проанализированы три ветви менталитета поэта: 1. Отношение к Богу и религии, 2. Политическое самосознание, 3. Национальная самоидентификация. Евреи на страницах поэзии Цветаевой. Ни в одной из названных позиций Цветаева не имела принципиальных и стабильных взглядов. Они радикально менялись на протяжении её жизни и не в лучшую сторону. Это, вероятно, одна из причин трагической кончины Цветаевой. Вместе с тем, Марина Ивановна Цветаева достигла уникальных творческих рубежей и с полным основанием квалифицирована Историей, как Великий русский и мировой Поэт.

### **Бог и религия**

Марина Цветаева – певец русского православия. Её поэзия насыщена религией. Достаточно сказать, что общее количество использованных религиозных терминов и религиозно нагруженных фраз и словосочетаний не менее, чем 2338 (!!!).

Я – страница твоему перу.  
Все приму. Я белая страница.  
Я – хранитель твоему добру:  
Возращу и возвращу сторицей.

Я – деревня, черная земля.  
Ты мне – луч и дождевая влага.  
Ты – Господь и Господин, а я –  
Чернозем – и белая бумага!

Эти строки, являются наиболее яркими в обращении поэта к Богу. Но далеко не единственными. Ранняя поэзия

Цветаевой – отчетливо религиозна. Это надежда на будущее, конечно же прекрасное и немедленно сбывающееся: «Христос и Бог! Я жажду чуда!» (Молитва. 1909), «В каждой молитве – любовь, и молитва/В каждой любви!» (Оба луча. 1910):

После юношеского плато на уровне 30-60 религиозных терминов в год, начиная с 1916 года, происходит всплеск – православного самосознания Поэта. В 1918 году оно достигает максимума (366). После этого начинается спад, Динамику его нетрудно проследить по эволюции поэзии. Уже в 1918 (Коли в землю солдаты всадили – штык) сомнения в БОГЕ заметны: «Коли Бог под ударами – глух и нем,/Коль на Пасху народ не пустили в Кремль –». В 1919 ещё определеннее (Бог! –Я живу! – Бог! – Значит ты не умер!): «Бог! – Я живу! – Бог! – Значит ты не умер!».

1922 год – год отъезда Цветаевой из Советской России. В этом году в её творчестве встречается наибольшее количество высказываний, определяемых, как разочарование в Боге и Религии (25 раз!). Например, в «Бог. О его вы не привяжите» (1922): «Бог – уходит от нас.», в «Заводские» того же года: «А Бог?.../Не вступится! Напрасно ждем!». В 1923 году ситуация становится святотатственной (Эмигрант): «Заблудившийся между грыж и глыб/Бог в блудилище.». Эмигрантский быт негативно повлиял на религиозное самосознание поэта, превращая его в цинизм (Тише, хвала. 1926): «Богом мне – тот/Будет, кто даст мне/.../Четыре стены.». Тяготы эмиграции разрушили уважение к религии. В 1934 году (Тоска по родине! Давно) слом религиозного восприятия мира Цветаевой полностью завершился:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,  
И все – равно, и все – едино.

### **Политическое самосознание**

Цветаева – великий поэт. Но, политическое её мышление упрощенное и непоследовательное. Это равно относится к исторической ретроспективе, где она

исповедует мифологическую точку зрения, и перспективному восприятию, где поэт плохо просчитывает будущее. Устойчивые политические взгляды, отсутствуют.

1917 год.

Еще до октябрьского переворота поэт следующим достаточно грустным образом оценивает свою родную страну (А царит над нашей стороной. 11 июня 1917):

А царит над нашей стороной  
Глаз дурной, дружок, да час худой.

С октябрьским переворотом все приобретает иной, кровавый оттенок:

Где кресты твои святые? – Сбиты.  
Где сыны твои, Москва? – Убиты.

1918 год.

В кровавые годы красного террора Цветаева переживает происходящее со страной и с ней самой мучительно, искренне и очень лично – ведь муж её – в Белой армии: «Да! Проломилась донская глыба!/Белая гвардия – да! – погибла.» (Волны и молодость – вне закона). На что в это страшное время, надеется Цветаева? К сожалению, она питается иллюзиями: «Царь опять на престол взойдет –/Это свято, как кровь и пот» (Это просто, как кровь и пот); «...спят мужи – сражаются иконы» (Московский герб: герой пронзает гада). Не оценила она и результаты гражданской войны: «И взойдет в Столицу – Белый полк!» (Белизна – угроза черноте.); Политиком, заглядывающим вперед, она явно не была... Это было не её, это было не для неё... Но оценить сию-моментную ситуацию она могла, и, притом, очень ярко и определенно: «Мракобесие. – Смерч. – Содом» (Мракобесие. – Смерч. – Содом).

1919 год.

Физическое уничтожение русской интеллигенции и дворянства набирает силы (Памяти Стаховича):

Барским шагом – распрямля плечи –  
Ты сошел в могилу, русский барин!

Горечь Цветаевой за свою страну не вызывает сомнения (Памяти А.А. Стаховича. 1919):

– И родная, роковая Россия,  
<...>  
Есть же страны без мешков и штыков!

Странно, только, что в это страшное время эпитетом к России появляется слово «родная». Причина, возможно, кроется в особенностях общения Цветаевой в Москве в этом году (Комедьянт. 1919):

Пока легион гигантов  
Редел на донском песке,  
Я с бандой комедиантов  
Браталась в чумной Москве.  
<...>  
Да здравствует красный бант  
В моих волосах веселых!

Вот уже появился и «красный бант» в «волосах веселых»!...

1920 год.

Цветаева пишет двусмысленное стихотворение «Есть в стане моем – офицерская прямоть»:

И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром  
Скрежещет – корми - не корми! –  
Как будто сама я была офицером  
В октябрьские смертные дни.

По её собственным словам, «Эти стихи в Москве назывались "про красного офицера", и я полтора года с неизменным громким успехом читала их на каждом выступлении по неизменному вызову курсантов». И тут же в «Ветер, ветер, выметающий» она пишет:

За твои дела острожные, –  
Расквитаемся с тобой, –  
Ветер, ветер в куртке кожаной,  
С красной – да во лбу – звездой!

Да один ли это человек? Один и тот же! Тот самый, который в этом же году написал «И солнце над Москвой – как глаз кровавый!»! Удивляться не следует – подобная нестабильность во взглядах – одна из черт характера и мышления Цветаевой. 29 ноября 1920 года поэтом написано стихотворение «Чужому» – это её письмо Луначарскому. Оно по-цветаевски внутренне противоречиво. В первых трех строфах как будто бы подтверждается непримиримая позиция антагониста по отношению к Советской власти:

Твои знамена – не мои!  
<...>  
Не ринусь в красный хоровод  
<...>  
Мы не на двух концах земли –  
На двух созвездиях!

Но в следующих пяти строфах удивляющаяся самой себе Цветаева не просто перекидывает мост между собой и коммунистами, не только отбрасывает свою опору – религию, но и объединяется с советским строем... И где же? Ни мало, ни много – в Раю! Эта, инфантильная, словесная эквилибристика выглядит следующим образом:

Ревнителю двух разных звезд –  
Так что же делаю –  
Я, перекидываю мост  
Рукою смелою?!  
<...>  
И будем мы судимы – знай –  
Одною мерою.  
И будет нам обоим – Рай,  
В который верую.

1921 год  
приносит новые примеры политического шараханья, нестабильности и полного отсутствия исторической и личной памяти. 5 января, казалось бы, искренний рыдающий «Плач Ярославны»:

Дёрном- глиной заткните рот  
Алый мой нонче ж.  
Кончен  
Белый поход.

Проходят всего лишь 25(!) дней... И перед нами появляется апологетическое стихотворение под демонстративным названием «Большевик» (31 января 1921), в котором Цветаева шутя, не колеблясь, перешагнула свою родную кровь! О каких убеждениях может идти речь? Судите сами:

От Ильменя – до вод Каспийских  
Плеча рванулись в ширь  
Бьет по щекам твоим – российский  
Румянец –богатырь.  
<...>

Два зарева: глаза и щеки.  
Эх, уж и кровь добра!  
Глядите-кось, как руки в боки,  
Встал посреди двора.

Весь мир бы разгромил – да проймы  
Жмут – не дают дыхнуть!  
Широкой доброте разбойной  
Смеясь – вверяю грудь!

И земли чуждые пытая,  
Ну, какова мол новь? -  
Смеюсь, - все ты же, Русь святая,  
Малиновая кровь!

Как поясняется в комментариях, это стихотворение обращено к Борису Александровичу Бессарабову, красноармейцу... Полная безответственность поэта, полное непонимание значимости написанного слова, приобретающего, как известно, самостоятельность и распространяющегося в пространстве уже независимо от автора, который «смеясь» вверяет человеку из вражеского стана всё, что было дорого поэту, свою собственную «грудь»... Подобное восприятие политических проблем

через случайные связи уже 13 мая 1921 приводит Цветаеву к «Дерзновенному слову: товарищи!» «Как закон голубиный вымарывая».

1922 год.

Политически и мировоззренчески запутавшись, Цветаева призывает к миру между жертвами террора и злодейским аппаратом террора «Переселенцами →»:

И вот с растрельщиком  
Бредет расстрелянный

В этом отношении примечательно стихотворение «Новогодняя» (15 января 1922) обращенное к мужу, находившемуся тогда в Праге. Общий контекст новогоднего тоста вполне приемлем, если бы не два обстоятельства. Первое. Стихотворение выдержано в великодержавном стиле и слово «Русь», «русский» мелькает не менее пяти раз. Кроме того, инфантильно-лубочная мифологическая раскраска прошлого «Дел и сердец хрусталь...» плохо согласуется с реальным историческим обликом России. Таким образом, подсознательно Цветаева как бы ищет общий знаменатель с Советской Россией – тоже наследницей Руси. Второе. Поиск этого самого пресловутого знаменателя приводит Цветаеву к многозначительной аберрации. Сама того не замечая, она совершает примечательную ошибку – в этом стихотворении четыре (!) раза она использует слово «товарищи». Хотя в тексте упоминается Пушкин (и тем самым подразумевается «Товарищ, верь: взойдет она,...»), 22-й год – времена, далеко, не пушкинские... В послереволюционные годы, слово это в русском лексиконе приобрело советско-большевистский смысл и было бы явно неуместным за столом, где собрались представители русской эмиграции. Цветаева этого не замечает, ибо живет она в этот момент в Советской России и подсознательно осуществляет над собой приспособительное насилие, или переживет внутреннюю конверсию. В её оправдание следует, конечно, сказать, что жилось ей в Советской России (по её словам «стране обид» С.Э. 1919) совсем не сладко. И вивисекция осуществлялась и ею над собой и советской тиранией над ней.

В конце двадцать второго Цветаева эмигрирует и, оказавшись вне досягаемости красной России, возвращается к терминологии и настроениям семнадцатого года.

1926 год.

В «Попытка комнаты» она пишет: «Та сплошная стена Чека,/Та – рассветов, ну та – расстрелов.». Казалось бы, все понятно – долго сдерживаемая боль прорвалась. Но нет, уже здесь проявляется фальшивая обида и желание оправдать себя перед Советской Россией (Кто – мы? Потонул в медведях.):

Это мы – белоподкладочники?  
С Моховой князя да с Бронной-то –  
Мы-то - золотопогонники?

Ясно одно – к моменту эмиграции восприятие Цветаевой изменилось. Теперь это человек, убеждения которого и никогда-то не отличались твердостью, начинает думать просоветски или приспособливает себя к такому мышлению.

1930 год.

В поэзии Цветаевой просоветские тенденции становятся явными. К «Маяковскому»:

А что на Рассее –  
На матушке? – То есть  
Где? – В Эсэсэсере  
Что нового? – Строят.

1932 год.

Будущее своих детей Цветаева связывает только с Советской Россией. Она просит детей не принимать во внимание историю её собственной семьи и её самой. Она успокаивает детей и, в частности, сына, что на нем нет греха перед Советской Властью (Наша совесть – не ваша совесть):

Дети! Сами сводите счета  
С выдаваемым за Содом –  
  
Градом. С братом своим не дравшись –  
Дело чистое твое, кудряш!

<...>

Поймите: слеп –  
Вас ведущий на панихиду  
По народу, который хлеб

Ест, и вам его даст, – как скоро  
Из Медона – да на Кубань.

Цветаева совершает, как теперь известно, страшный грех перед своими детьми. Её инфантильное видение мира, её полное непонимание сути и природы коммунистического строя («выдаваемым, – видите ли, – за Содом»), её очевидное упрощенное видение советской диктатуры, народ которой, якобы, «хлеб ест, и вам его даст», её примитивная вера сталинскому иезуитству о том, что дети за отцов не отвечают – всё это обрекло её детей, её семью и её самое на уничтожение, каких-либо 17-18 лет спустя! Выходит, слеп был не тот, «ведущий на панихиду по народу», слепа была Цветаева! Мне могут возразить – подобной слепотой была поражена, едва ли не вся, западная интеллигенция тех лет. Верно! Будьте осторожны с глупостью! У неё – везде свои. Кроме того, левые видели Советскую Россию только лишь извне! Цветаева же прожила страшные 1917-1922 годы в стране! Она все знала, не могла не знать, не могла не видеть. Тогда в чем же дело? Где тот микроб, который поразил Поэта неведением? А может быть это не неведение, а убежденность Цветаевой в том, что её мнёт чаша сия? И если это так, то на чем основывалось эта убежденность? Что позволяло Цветаевой вновь и вновь возвращаться к этому вопросу, проявляя любовь уже не к России её молодости, а к СССР! «Стихи к сыну»:

Вам – просветители пещер –

Призывное: СССР, –

<...>

Езжай, мой сын, домой – вперед –

В свой край, в свой век, в свой час, – от нас –

В Россию – вас, в Россию – масс,

В наш – час – страну! В сей – час – страну!

В на – Марс – страну! В без – нас – страну!

Дальнейшие годы свидетельствуют об упрочении откровенных, демонстративно-просоветских взглядов поэта (Челюскинцы. 3 октября 1934):

Сегодня – смеюсь!  
Сегодня – да здравствует  
Советский Союз!

Общеизвестно, что муж Цветаевой Сергей Эфрон, начиная, примерно, с 1930 года активно сотрудничал с советской разведкой, участвовал в ряде её операций. В том числе и связанных с убийством перебежчика Игнатия Рейсса и похищением генерала Миллера. После его бегства в СССР, французские спецслужбы неоднократно допрашивали Цветаеву. Её участие в деятельности мужа доказано не было, хотя А. Саакянц пишет (Саакянц, 1997) о том, что Цветаева, вероятно, знала о том, чем занимался С. Эфрон.. Была ли Цветаева в курсе дел шпионской деятельности мужа или нет, думается, этот вопрос сегодня не стоит – конечно же была в курсе, конечно же знала! Не могла не знать! Эфрон был слабохарактерным, неуверенным в себе человеком, явным неудачником и согласовывал свои действия с женой, которую, безусловно, уважал. Кроме того, на путь прокоммунистических воззрений Цветаева вступила раньше его, еще до эмиграции. Было бы совсем не удивительным, если бы ВЧК обратила внимание на Цветаеву еще до 1922 года. Муж её был на Дону, в 1918 году тайно посетил Москву, сама Цветаева вела беспорядочный образ жизни, материально бедствовала и была безусловно уязвима для шантажа... В таком случае и отъезд её к мужу мог быть не случайным... Ответ на эти вопросы хранят архивы ВЧК-НКВД. Но одно можно сказать с полной уверенностью. В семье Цветаевой и Эфрона обе стороны были просоветскими. Обе в коммунистическом духе воспитывали своих детей. Обе стремились в СССР. Обе внесли свой вклад в союз с Дьяволом. И обе пожали страшные плоды – гибель семьи и самих себя!

## Национальное самосознание. Евреи на страницах поэзии Марины Цветаевой

Национальная самоидентификация Марины Цветаевой менялась с годами и состоит, по крайней мере, из трёх элементов. Не вызывает сомнения, что в ранние годы Цветаева чувствует свою неразрывную, органическую связь с Германией. Об этом однозначно свидетельствует стихотворение «Германия» (1914). Это стихотворение датировано первым декабря 1914 года (!). К этому времени уже полным ходом шла первая мировая война и Россия сражалась с Германией. Нет никаких сомнений, не чьей стороне в это время были симпатии Цветаевой:

Когда в влюбленности до гроба  
Тебе, Германия, клянусь.

Пройдут годы и в 1939 Цветаева, потрясенная немецким вторжением в Чехословакию, изменит свои оценки: «(Германии/Германия!/Германия!/Позор!)». В «Поэме конца» (1924) есть две строчки, указывающие и на польские корни и польское самоощущение поэта: «Такова у нас, Маринок,/Спесь, – у нас, полячек-то.»

Но главным и доминирующим, безусловно, является русский национальный фундамент, русская принадлежность! Более того, – великорусская! И это значимое обстоятельство связано, в частности, с православной, отчетливо государственной религией Цветаевой – она не продолжила протестантской ветви немцев или католической – поляков. Всё это снаружи. Внутри – пропасть: «О, я не русская! Россия – как жернов на моей шее! Россия – это моя совесть,...» (Марина Цветаева, 2002, стр. 79). «Что мне дало славянство? – Право его презирать.» (Марина Цветаева, 2002, стр. 198).

Цветаева – поэтический гений. Но только поэтический. Гениальность иссякает, например, лишь только речь заходит о евреях. В основе цветаевского отношения к еврейскому народу лежит её убежденность в приоритете христианства и его доминирующей значимости. Поэтому, несмотря ни на какие исторические реалии, евреи

значимы лишь утилитарно, постольку, поскольку среди них зародилось и теперь существует христианство. Наиболее отчетливо это «изложено» Цветаевой в известном, в сущности, её программном стихотворении «Евреям» от 13 октября 1916 года:

Кто не топтал тебя – и кто не плавил,  
О купинá неопалимых роз!  
Единое, что на земле оставил  
Незыблемого по себе Христос:

Израиль! Приближается второе  
Владычество твое. За все гроши  
Вы кровью заплатили нам: Герои!  
Предатели! – Пророки! – Торгаши!

В любом из вас, – хоть в том, что при огарке  
Считает золотые в узелке –  
Христос слышнее говорит, чем в Марке,  
Матфее, Иоанне и Луке.

Оказывается, единственное, что оставил на земле Христос – это Израиль и Евреи! Трудно поверить, что эту безграмотность пишет выдающийся русский поэт. Во второй строфе связываются воедино Израиль, герои, предатели, пророки и торгаши! А чтобы не осталось сомнений о ком идет речь, в третьей строфе Цветаева присовокупляет к этому ряду и того, «что при огарке считает золотые в узелке». Понятно, что речь идет о еврейском ростовщике!

К большому сожалению, отношение Цветаевой к еврейскому народу в, целом, назвать положительным нельзя. И, как явствует её поэзия, это началось не с приходом к власти большевиков, среди которых было много евреев. В 1916 году она опубликовала стихотворение «И поплыл себе – Моисей в корзине!»:

И поплыл себе – Моисей в корзине! –  
Через белый свет.  
Кто же думает о каком-то сыне  
В восемнадцать лет!

С юной матерью из чужого края  
Ты покончил счет,  
Не узнав, какая тебе, какая  
Красота растет.

<...>

А той самой ночи – уже пять тысяч  
И пятьсот ночей.

Эти строки представляют собой самое очевидное святотатство, оскорбляющее достоинство Моисея и еврейского народа. Это то самое, за что Иран приговорил Рушди к смерти. Евреи не персы и подобными вещами не занимаются. Тем не менее, звучит цветаевское сочинение плохо... Тем более, что поэт упорствует в своем антиеврейском рвении. 2 февраля 1917 года в «У камина, у камина» она повторяет этот же мотив, вкладывая упрек, теперь Аврааму, в уста Агари, при том, не забывая косвенно упомянуть и Моисея, и, тем самым, его отца:

У камина, у камина  
Ночи коротаю.  
Все качаю и качаю  
Маленького сына.

Лучше бы тебе по Нилу  
Плыть, дитя, в корзине!  
Позабыл отец твой милый  
О прекрасном сыне.

<...>

Так Агарь в своей пустыне  
Шепчет Измаилу:  
«Позабыл отец твой милый  
О прекрасном сыне!».

Революция 1917 года резко меняет интонации Цветаевой в этом направлении. В декабре в «Расцветает сад, отцветает сад» появляется первый намёк: «И цветет, цветет Моисеев куст». Уже в том же месяце он приобретает большую направленность (Жидкий звон, постный звон):

«Жидкий звон, постный звон./.../Плётки свист и снег в крови.».

1919 год урожаен в творчестве Цветаевой на слово «жид» (Стихи к Сонечке. 1919-1937):

Кто к жидам не знал дороги –  
Сам жидом под старость станет.

Но апофеозом использования слова «жид» и уничижительного изображения еврея является «Каменный ангел» (27 июня – 14 июля 1919). Вот фрагменты этого произведения:

**Амур**

А какой жидюге  
Под заклад снесла на Пасху  
Эта – как ее? – Кристина,  
<...>

**Еврей**

А что вы скажете на этот жемчуг?  
Скажу вам по секрету: он жиду  
Достался из высоких рук...  
... – как бы болтаться,  
Высунувши язык, не привелось  
За это бедному жиду...

За этот крест – взгляните на чеканку! –  
Я – не был бы жидом – не пожелал  
Бы вечного блаженства...

**Аврора**

Как это странно  
Мне четки из твоих...

**Еврей**

Жидовских рук?  
А разве перл уже не перл, раз в куче  
Навозной найден? Разве крест – не крест?  
И золото – не золото?  
<...>

Ой-ой-ой-ой! Ваше преосвященство!  
Не загубите бедного жида!  
Клянусь вам честью, провалюсь на месте  
Я в чан крестильный, если я хоть миг  
Здесь занимаюсь куплей и продажей!

**Амур**

А этот жемчуг:

**Еврей**

Так, ничтожный дар,  
От нищеты – богатству, пса – владыке...

Поп – и тот дружит с жидом,  
Где ни плюнь – веселый дом!

И так далее. Еще 5-6 раз повторяется: жид, жидюга, жиду, жидом... Поэт явно наслаждается этим словом и его производными... В 1920 году (Царь – девица. 14 июля – 17 сентября) поэт тоже не считает необходимым сдерживаться:

Тут как вздрогнет жук навозный,  
Раб неверный, тварь иудья:

В 1924 году в противоречивой «Поэме конца» Цветаева формулирует несколько афористических выражений:

Жизнь. Только выкрестами жива/Иудами вер!  
Жизнь, – только выкрестов терпит...  
Не упоительно ли, что жид/Жить не захотел?!  
В сём христианнейшем из миров/Поэты – жида!

Идет это слово в ход и в 1925 году в «Крысолове»: «Будь то хоть бес, хоть жид,...». Тут даже масштаб этого слова есть – «бес»! В 1926 году Цветаева тоже помнит это нравящееся ей слово – жид (Поэма лестницы): «Не быть нам выкрестами!/Жид, пейсы выпроставший.» В 1928 она неразрывно связывает это слово со словом «большевик» и пролитой кровью (Красный бычок):

Жидкая липь, липкая жидь  
<...>  
Я – большак,  
Большевик,  
Поля кровью крашу.

Возникает вопрос – неужели Цветаева не знала, сколь оскорбительна для еврея кличка «жид»? К сожалению, знала. И пользовалась им намеренно (не менее 20 раз!), чтобы оскорбить еврейский народ! И есть тому прямое доказательство – отчетливо антисемитское – «Евреям» от мая 1920 года. В первых строфах поэт признается в двойной наследственной вражде в своей крови к евреям – поповской и шляхетской. Но даже эти слова не более, чем камуфляж. Истинный смысл – линейный, откровенный и грубый, содержится в последующих трех строфах:

Кремль почерневший! Попран! – Предан! –  
Продан!  
Над куполами воронье кружит.  
Перекрестясь – со всем простым народом  
Я повторяла слово: жид.

И мне – в братоубийственном угаре –  
Крест православный – Бога затемнял!  
Но есть один – напрасно имя Гарри  
На Генриха он променял!

Ты, гренадеров певший в русском поле,  
Ты, тень Наполеонова крыла, –  
И ты жидом пребудешь мне, доколе  
Не просияют купола!

Даже любимый ею Генрих Гейне останется для неё «жидом» до тех пор, пока в России «Не просияют купола»!!!

Мне могут возразить – ведь множество друзей Цветаевой были евреями. Ведь её муж – С.Я. Эфрон был евреем. Все это правда, как правда и другое. Во первых, Хемингуэй сказал: «нельзя судить о человеке по его друзьям. Не надо забывать, что у Иуды друзья были безукоризненны». Во вторых, между 1914 годом и периодом

эмиграции, Марина Цветаева серьезно изменилась, в том числе и в отношении к национальности собственного мужа. Вот отрывок из письма Цветаевой к В.В. Розанову от 7 марта 1914 года (Ю.М. Коган, 1992):

«...Моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне. Прадед его с отцовской стороны был раввином, дед с материнской – великолепным гвардейцем Николая I.

В Сереже соединены – блестяще соединены – две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом – весь в мать. А мать его была красавицей и героиней.

Мать его урожденная Дурново.

Сережу я люблю бесконечно и навеки. Дочку свою обожаю...».

Годы эмиграции изменили многое... Анна Саакянц пишет (Саакянц, 1997): «В разговорах Эфрон подчеркивал, что хотя он по происхождению еврей, но ему совершенно чужд еврейский интернационализм и что большевизм он принимает лишь постольку, поскольку он выражает «русскую сущность». Что до Цветаевой, то известно её письмо, написанное в виде отповеди на намек на «еврейство» С. Эфрона и в защиту его «русской сущности». Полный текст этого письма приведен А. Саакянц и не требует комментария:

«Сергей Яковлевич Эфрон родился в Москве, в собственном доме Дурново,... (приход Власия)... Отец – Яков Константинович Эфрон, православный, в молодости народоволец.

Мать – Елизавета Петровна Дурново.

Дед – Петр Аполлонович Дурново, в молодости гвардейский офицер, изображенный с Государем Николаем I, Наследником Цесаревичем, и еще с двумя офицерами... на именной гравюре... В старости – церковный староста церкви Власия...

Детство: русская няня, дворянский дом, обрядность.

Отрочество: московская гимназия, русская среда.

Юность: женитьба на мне, университет, военная служба. Октябрь. Добровольчество...

Делая С.Я. евреем, вы 1) вычеркиваете мать 2) вычеркиваете рожденность в православии 3) язык, культуру, среду 4) самосознание человека и 5) *всего человека* (мой курсив: т. е. еврей – не человек!)

Кровь, пролившаяся за Россию, в данном случае была русская кровь и пролита была за свое.

Делая С.Я. евреем, вы делаете его ответственным за народ, к которому он внешне – частично, внутренне же – совсем непричастен...»

Если подытожить, то отношение Цветаевой к евреям в последние двадцать лет жизни следует квалифицировать как органическое, физиологическое неприятие: «Не могу простить евреям, что они кишат» (Записная книжка и дневники, стр. 148). Другими словами, что они существуют.

В связи с этим остается сказать следующее: Это очень хорошо, что человечество ценит Великого поэта Цветаеву не за её писания по еврейскому вопросу, а вопреки им!

### Литература

1. Виктор Финкель//Доклад на The 27<sup>th</sup> Annual Meeting of the Mid-Atlantic Slavic Conference of the AAASS. Hunter College, New York, NY on March 22, 2003.

2. Марина Цветаева//Собрание сочинений в семи томах. Москва. Эллис Лак. 1994.

3. Марина Цветаева// Стихотворения и поэмы. В пяти томах. Russica Publishers, INC/ New York. 1980.

4. Виктор Финкель//Дикинсон и Цветаева. Общность поэтических душ. Филадельфия. 2003.

5. Виктор Финкель//Религиозное, политическое и национальное самосознание Цветаевой. Посредник. Филадельфия. 9-22 июня. № 12(121), 2004. Журнальный вариант.

6. Виктор Финкель//Религиозное, политическое и национальное самосознание Цветаевой. СЛОВО\WORD. № 55, стр. 166-168, 2007. Сокращенный журнальный вариант.

5. Анна Саакянц// Марина Цветаева. Жизнь и творчество. В Собрании сочинений в семи томах. Москва. Эллис Лак. 1997.

6. Марина Цветаева// Записные книжки и дневниковая проза. Захаров. Москва. 2002. стр. 198.

7. Ю.М. Коган//Марина Цветаева в Москве. Путь к гибели. Москва. Отечество. 1992.

8. Марина Цветаева// Воспоминания о современниках. В  
Собрании сочинений в семи томах. Том 4. 1994. Стр. 135-136.

Copyright © Viktor Finkel  
Certificate of Writers Guild of America



# Леви Шаар

## Наказание любовью

*И если человек в страданиях нем,  
Мне дал Господь поведать,  
как я стражду*

Гёте, «Торквато Тассо»



Сколько женщин любило его! О, как они его любили! В знойных и честолюбивых женских мечтах каждая из них видела его своим мужем. Измены и уходы легко прощались ему. Возвращения же воспринимались неизменно, как высокая, долгожданная награда за терпение, за страстную готовность простить.

Лишь дважды за долгую свою жизнь снизошёл он со своего Олимпа к земной юдоли в готовности освятить церковным обрядом свои отношения с женщиной...

\*\*\*

Ясный июньский день 1788 года. Бледновато-жёлтые дорожки гравия нежно выстелены между волнистыми коврами зелени Дворцового парка в Веймаре. Цветы благоухают, пленяя глаз разноцветьем.

Миловидная девушка одиноко прогуливается по парку, не обращая внимания на редких прохожих, с интересом и удивлением глядящих на выразительные линии её красивого лица и решительный взгляд больших, прекрасных глаз. Она явно ждёт кого-то. Несколько позже сестра философа Шопенгауэра Иоганна назовёт её молодым Дионисом.

Имя же её Христиана. Христиана Вульпиус. Ей 23 года.

Странно, кого может ждать в Дворцовом парке девушка из простонародья – смешливая, кокетливая, совершенно необразованная работница фабрики искусственных цветов?

Вот кто-то вышел из Дворца. Неторопливо, но деловито направляется он в глубь парка. Это господин Иоганн Вольфганг фон Гёте – всемирно известная знаменитость, прижизненный классик, поэт, учёный, министр, ближайший друг герцога.

Христиана узнала господина фон Гёте и спешит ему навстречу. У неё важное поручение от брата Августа. Брат – единственный кормилец семьи. Он зарабатывает свой хлеб писательством и не имеет постоянного дохода.

Но если бы господин действительный тайный советник соблаговолил помочь Августу, тот создал бы свой лучший, свой самый яркий роман. Роман о добром и великодушном разбойнике Ринальдо Ринальдани.

Ох, уж этот изощрённый в лукавстве брат – Август Христиан Вульпиус! Он рассчитал всё до тонкости. Подай он сам просьбу великому писателю, вряд ли знали бы мы сегодня что-нибудь о нём и его герое.

Потому-то и подставил он любимцу женщин, изнеженному дамскому угоднику свою красивую, пышущую нерастраченной энергией и жаждой любви сестру. Уловка удалась. Господин тайный советник *соблаговолил* помочь несчастному брату бедной, но, как сказали бы в наши дни, сексапильной простушки.

В центре того самого парка в Веймаре стоит небольшой двухэтажный домик с красной черепичной крышей. Здесь живёт господин фон Гёте.

Сюда-то и стала приходиться Христиана, оставив навсегда работу на цветочной фабрике. Неожиданно и сразу вошла она в жизнь творца, которому уже перевалило за 39.

Было у него немало коротких увлечений и продолжительных связей. Но никогда ещё не жила с ним под одним кровом женщина. В этом смысле Христиана не была исключением. Она приходила в этот маленький

гартенхауз<sup>1</sup>, благодарная за помощь и счастливая любовью Большого Человека.

Но любовь – это не только великая радость жизни. Это ещё и великая тайна мироздания. Вот и Христиана. Она тоже почувствовала в своём теле зарождение чего-то нового.

Да-да, господину тайному советнику суждено стать отцом.

Тогда и переехала Христиана в дом благодетеля.

О, нет. Она не вышла замуж за знатного дворянина. Правда, их отношений хранилась в строгой и глубокой тайне, которую господин Гёте соблюдал с особым старанием. Ведь он преступил все законы морали и нравственности. Он, обласканный герцогом и самыми знатными дамами высшего света, ввёл в свой дом простую цветочницу.

Верно. Не искушённая в искусстве, в философии и высокой политике, она не могла быть ему собеседницей. Но в сонме его возлюбленных она отличалась неприхотливостью, благодарной готовностью служить, ничего не требуя, и создавать ему житейские удобства.

В простоте своей, она любила его той любовью, которой ему не хватало. Возле Христианы был он раскрепощён, освобождён от условностей мира, которому принадлежал.

Она *дарила* ему свою любовь. Она отдавалась ему, будучи самой Любовью, «плотью во всём своём великолепии», как написал он в одной из «Римских элегий».

Рассуждая о сущности любви, Гёте замечал, что любовь – это не только страсть, сжигающая душу, но и «маленький Эротикон».

Он просто не читал Фрейда, этот господин фон Гёте. Иначе, он знал бы, что любовь – это *прежде всего* Эротикон. Большой, а не маленький. Это *он* вздымает тело, а тело уже влияет на душу. И всё это вместе – не что иное, как «бессознательное стремление человека к жизни».

Гёте наслаждался любовью Христианы, он испытывал высшее блаженство, прикасаясь к ней, и,

---

<sup>1</sup> Gartenhaus (нем.) – Домик в саду.

конечно же, любил её. Свидетельство тому – «Римские элегии», героиней которых она является, и удивительно тёплые его письма к ней.

И всё же странною была его любовь. Он писал ей стихи, полные неги и страсти, стихи, звуки которых разливались осознанным счастьем. Но сын Август, их первенец, получивший имя в честь высокого покровителя Гёте герцога Веймарского Карла Августа, был крещён в отсутствие матери. Крёстный отец, герцог Август, пришёл на крестины. А как же иначе?..

Живая мать, родная, выносившая мальчика и принесшая его в этот мир, осталась дома. Она оказалась недостойной присутствия на крестинах своего сына.

Отец любит Августа, любит уют домашнего очага, созданного Христианой. Всё же, о женитьбе разговор заводить – опасно.

– Я женат, только без церковных церемоний – поучительно толкует он, любимец фортуны.

Между тем, его секрет давно уже стал секретом полишинеля. Скабрзности, вслух и шёпотом, давно уже передаются из уст в уста. Они свободно гуляют по городу, потешая болтунов и бездельников.

Сплетники говорят, что в минуты любовной страсти она называет его не иначе, как «Ihr» или «Herr Rat»<sup>2</sup>.

За один стол с гостями на званых обедах Христиана не садится. Более того, когда он получил в подарок от герцога большой дом в центре Веймара, дом из двадцати трёх комнат, она удостоилась там лишь двух маленьких комнатушек с окнами во двор, а не на площадь Фрауэнплан. В этом, несомненно, выразилась и дань Гёте своему обществу: место кухарки – на кухне.

Чувство долга боролось в нём с зовом совести. В шестой Элегии явно прослушивается отголосок этой его борьбы с самим собой:

---

<sup>2</sup> Ihr. Herr Rat. (Нем.) «Вы». «Господин советник».

*Как же был я пристыжен,  
что дал людскому злоречью  
Светлый облик любви  
так предо мной очертить!*

Что и говорить, трудно ему маневрировать между любовью и долгом. Даже Виланд – духовный глава города, поэт, просветитель – и тот называет сына Гёте не иначе, как сыном кухарки.

А Гердер? Теоретик, глава «Бури и натиска», он рекомендует не переиздавать «Римские элегии» – цикл, стихи которого Шиллер считал лучшими у Гёте той поры.

И всё же, нельзя валить всё на нравы и обычаи того времени и того общества.

Мать Гёте, живущая во Франкфурте, узнаёт о том, что стала бабушкой, когда внуку её исполнилось пять лет.

При чём тут Веймарское общество?

\*\*\*

Шло время. Ещё четверых детей родила Христиана. Долгой жизнью Бог их не одарил.

Наполеоновские походы сотрясли Европу. Пришли французы и в Веймар. Сам маршал Ожеро должен получить постой в доме Гёте. Тот самый Ожеро, который скептически встретил молодого генерала Бонапарта в Итальянской кампании и которому сказал низкорослый Наполеон:

– Генерал, вы выше меня на голову. Что ж? Если вы не будете выполнять моих приказов, я лишу вас этого преимущества.

Но вместо Ожеро у Гёте разместились 16 его кавалеристов.

В это страшное время многие веймарцы ищут спасения у знаменитого земляка, ходят к нему с жалобами и просьбами. Нередко они нуждаются в ночлеге, в еде, в санитарном уходе.

Христиана работает, не покладая рук, не зная отдыха.

Однажды, среди ночи, вдруг – удары прикладами в парадную дверь. Двое французских солдат рвутся в дом. Они просят есть и пить.

Еду и питьё им приносят.

Они требуют хозяина. Требуют настойчиво и грозно.

В ночном халате выходит к ним Гёте. Незванные гости предлагают ему сдвинуть бокалы и вместе с ними выпить вино. Гёте выполняет эту их просьбу и уходит.

Теперь завоеватели требуют для себя постелей, затевают скандал и врываются в спальню хозяина, готовые убить его.

В этот жуткий момент, словно фурия, взлетев по лестнице, вбегает в спальню Христиана. Она дерзко становится между оккупантами и мужем и с необыкновенной силой буквально вышибает их из спальни.

Кувырком летят они вниз по лестнице и падают на постели, приготовленные для людей маршала. И тогда адъютант ударами нерасчехлённой сабли выгоняет их из дому.

Спустя четыре дня, на девятнадцатом году совместной жизни, Гёте обвенчался с Христианой. Одним из свидетелей на этой церемонии был их семнадцатилетний сын Август.

А ещё через 10 лет Христиана умерла в страшных муках от уремии.

Мужа при ней не было. Никого не было.

Законный муж Христианы всегда боялся болезней, боялся смерти и не переносил даже разговоров об этом. Где уж было ему выдержать страдания жены.

Он почувствовал себя плохо. Собственное недомогание позволило ему не присутствовать при отходе в лучший мир безмерно любящей его и бесконечно преданной ему супруги.

Это тоже вряд ли следует относить на счёт общественных нравов.

\*\*\*

Прошло шесть лет. Гёте исполнилось 73 года. Третий год подряд приезжает он в Мариенбад на воды и снимает комнату у госпожи Левецов.

Ах, госпожа Левецов!..

Когда-то она была прелестна. Имя её было звучным как голос палестинской канарейки, а фамилия – мелодичной

как песни Цельтера. Вздыхая наедине с нею, он звал её: «Сильвия!». Но если она была при муже, он с удовольствием обращался к ней официально: «Госпожа Цигезар». Сильвия Цигезар! Не имя, не фамилия. Нет!

Слова эти – даже не сказка. Это – небесная музыка!

Ах, госпожа Левецов, госпожа Левецов!..

Они тогда беззаботно и безоглядно флиртовали. Ему не было и шестидесяти лет. Ей же – всего каких-нибудь двадцать с лишним. Он, почему-то, загадочно улыбаясь, называл её Пандорой и даже не думал о том, насколько фантастически точной была его метафора. Не знал он, что ящик Пандоры, если его открыть, может оказаться опасным и для него, фаворита герцога, министра его, любимца всей Европы.

С тех пор госпожа Левецов успела развестись с мужем, выйти замуж вторично и вновь овдоветь.

Её старшей дочери, Ульрике, 19 лет.

Эмиль Людвиг, биограф Гёте, отмечает:

«Среди всех женщин, которым поклонялся Гёте, Ульрика – самая бесцветная».

Но что с того?

Наш седовласый жрец влюблён как Керубино. Он весь – движение, желание, страсть. Он бегаёт за пустой и легкомысленной девочкой с пылом и темпераментом, оставив работу, шляпу, трость.

Он желает жениться на Ульрике!

Сколько красавиц, одарённых женственностью и умом, мечтали о нём. Он наслаждался их любовью, строго оберегая свою независимость. Сколько лет мать его сына была ему служанкой, но и думать не смела о свадьбе с тем, кого перед Богом считала своим мужем.

А он?..

Даже в самом жарком из его романов, в истории его любви к Лили Шенеман, почти полвека назад. Будучи уже помолвленным с нею, не терял он самообладания. Он искал и нашёл путь к отступлению.

Свадьба не состоялась.

И вот теперь, он, словно старый жуир из комедии Мольера, бросает к ногам девочки-пустышки своё имя,

достоинство и столь дорогую ему независимость. Он наэлектризован любовью к Ульрике. Есть некоторые намёки на то, что Ульрика отвечала ему взаимностью. Проверить это сегодня не представляется возможным.

Во всяком случае, герцог Веймарский Карл Август собственной персоной отправляется к госпоже Левецов в парадном наряде со всеми орденами и регалиями и просит у неё руки Ульрики для своего друга – премьер-министра и тайного советника, его превосходительства господина фон Гёте.

Не является ли трагикомическая ситуация, в которой оказались два старых аристократа, утрированным вариантом незатейливой уловки простолюдина Христиана Августа Вульпиуса в июне 1788 года?

Есть, конечно, и разница. Но она – лишь в результате.

То, что удалось хитрому, дошлому создателю Ринальдо Ринальдини, не сработало у великого творца Фауста.

Ему отказали. Отказала, вероятно, мать.

*Пандора* открыла-таки свой ящик!

Это была мелкая женская месть бросившему её когда-то аристократу...

Впервые в жизни его охватило страстное желание жениться. Ради этого желания, ради его удовлетворения, на всё был готов старый поэт. Его не пугала реакция общества. Он был безразличен к отклику на это сына и невестки, с которыми и без того отношения не складывались. Но самым неожиданным и, потому, болезненным, самым мучительным для гордости великого поэта, царедворца и политика – был отказ.

Его любовь была отвергнута.

Последняя вспышка страсти, яркая как Божий Свет и жгучая как пытки ада, она не затронула сердце возлюбленной.

Это и было его наказанием. Но именно это наказание, это горячее влечение и пронзительная боль наградили немецкую и мировую поэзию таким шедевром

поэтического искусства, каких не знала история словесности.

\*\*\*

«Мариенбадская элегия» родилась в пути, когда бедный автор её ехал подавленный горем из Карлсбада в Веймар, горько переживая невозможность последней своей любви.

«Плод в высшей степени страстного состояния» – так он охарактеризовал впоследствии это произведение высочайшего искусства. Он даже не сочинял. Стихами сочилась душа уязвлённого поэта, как сочится берёза – соком.

В карете с ним были его слуга и секретарь. Всю дорогу они молчали. Всю дорогу молчал и Гёте, охваченный тяжкими раздумьями. Лишь на остановках, выходя из кареты, он что-то записывал на клочках бумаги.

Вот последние строки этого удивительного стихотворения, этой поэмы страсти и боли, элегии этой:

*А мной – весь мир, я сам собой утрачен.  
Богов любимцем был я с детских лет.  
Мне был ларец Пандоры предназначен,  
Где много благ, стократно больше бед.  
Я счастлив был, с прекрасной обручённый.  
Отвергнут ею, гибну обречённый.*

Уникальное поэтическое произведение обросло легендами. К нему не раз обращались поэты и литературоведы, биографы и исследователи творчества великого мастера. Но объяснить природу такой степени обнажения, обострения чувств и их выражения никто не мог.

Чувственная и пылкая страсть, невыразимая боль и тоска сердца выражены здесь человеком на восьмом десятке лет жизни так, будто он не достиг ещё и двадцати.

Стефан Цвейг, глубоко любивший Гёте и его творчество, посвятил ему немало страниц. Вот одно из замечательных наблюдений Цвейга:

«В поздние часы его жизни часто кажется, что этот бьющий из глубины источник высох, занесён песком

привычки. Но вдруг переживание, взрыв чувства исторгает новые потоки – из иных глубин; словно из новых, омоложенных жил вновь струятся стихи, лирическое слово не только возникает вновь, но и обретает – о чудо! – другую, ещё неведомую мелодию. Потому что второе, третье, сотое рождение Гёте, каждая его метафора изменяет и звучащую в нём музыку».

Поэт не может не чувствовать моментов Божьего озарения в своём творчестве. Гёте, конечно же, понимал, что, осенённый именно этим озарением, он создал истинный шедевр поэзии.

Вернувшись в Веймар, он отложил в сторону все свои работы и домашние дела. Он закрылся в своём кабинете от посторонних глаз и докучливых вопросов, от назойливых и бестактных приставаний сына и невестки, которые не могли простить отцу его желания жениться и тем самым лишить их части вожделенного наследства.

Три дня, отрешённый от мира, переписывает он искусным каллиграфическим почерком на специально отобранной бумаге то, во что вылились его любовь и боль, обида и вдохновение.

Словно юноша, стыдящийся первого поэтического опыта, прячет он ото всех свою затейливую поэтическую вязь, выполняя собственноручно даже прикрепление рукописи к обложке...

\*\*\*

Небезынтересна и судьба героини «Мариенбадской элегии» Ульрики фон Левецов.

Всю жизнь любила она говорить о своей близости к Гёте и о его влюблённости в неё. Что же касается самой себя в этой истории, то тут в её рассказах постоянство может быть приравнено разве что к постоянству петуха в курятнике.

В годы зрелости она говорила, что питала к Гёте лишь дочерние чувства, что и в мыслях у неё не было принимать его предложение всерьёз. Но в глубокой старости рассказывала она и другое, уверяя, что если бы только согласилась мама, то она, Ульрика, конечно же, вышла бы замуж за столь знаменитого человека.

Так или иначе, и стихи Гёте, и записки Цельтера свидетельствуют о том, что лукавая Ульрика не только выслушивала воздыхания и скрипучие тирады чахлого старика из оперы-буффа. Она извела страстные объятия и пламенные поцелуи юноши.

Ульрика прожила очень долгую жизнь, так и не выйдя замуж, так и не познав прелести подлинной любви, жизнь одинокую и не расцвеченную ни всплеском творчества, ни обворожительной улыбкой ребёнка.

Существует легенда, согласно которой Гёте, прощаясь с Ульрикой, печально предрёк девушке и её одиночество, и душевную, и плотскую неврастращенность.

Так выразил это предсказание поэта Юрий Нагибин: «Вы обрекаете себя на безбрачие, бедное дитя моё. Нет ничего грустнее бесплодной смоковницы».

Сбылось предсказание влюбившегося мудреца.

Наказан был и сам мудрец.

Смешанные чувства сострадания и боли, смущения и смеха обуревают нас при знакомстве с печальной этой историей. Неразрешима вечная сложность, запутанность жизни. Но если именно она порождает шедевры, подобные «Мариенбадской элегии», то – да здравствует сложность, да здравствует любовь.

Даже как наказание.



## Исай Шпицер

### „Die russische Tenor-Legende“

(Вспоминая Михаила Александровича)



Вспоминая Михаила Давидовича, я неизменно вижу его доброе, улыбочное лицо. Он был предельно приветлив и доброжелателен ко всем. Ему чужды были проявления «звездной болезни». Да он, я уверен, и не знал таких слов. Он всегда, когда позволяло ему здоровье, откликнулся на приглашения где-то выступить, поговорить с поклонниками его таланта, будь то в еврейской общине или в Центре русской культуры MIR. Он тщательно готовился к таким встречам. Несколько раз я сопровождал его в поездках и в другие города Германии. Большой жизнелюб, он постоянно шутил. Вспоминаю, как незадолго до его смерти, я навестил его в больнице Арабеллапарк. Жесточайший сахарный диабет почти полностью лишил его зрения и слуха. Но он узнал меня и попросил посмотреть журнал, лежащий на подоконнике. Это был журнал, издаваемый в Цюрихе. На раскрытых его страницах я увидел статью об Александровиче и несколько его фотографий. «Представляете, – сказал мне Михаил Давидович, – какую они сделали мне рекламу! Теперь импресарио будут рвать меня на части».

Михаил Давидович ушел из жизни 3 июля 2002 года, не дожив несколько недель до своего 88-летия.

Он похоронен на еврейском кладбище в Мюнхене. На мраморной стеле над его могилой выбиты золотом в переводе на немецкий язык и иврит пушкинские строки: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв».

Думаю, что заголовок этой статьи на немецком языке понятен всем. Именно так был назван в Германии компакт-диск, выпущенный в 1997 году издательством Verlag „pläne“ GmbH (Дортмунд), вместивший в себя записи песен, исполненных Михаилом Александровичем за 60 лет (1937-1997 г.г.) его концертной деятельности. Но указанные на титуле диска годы не исчерпывают весь период творчества этого уникального исполнителя. Если учесть, что Миша Александрович („The Wunderkind“ – подзаголовок диска) свой первый публичный концерт, в двух отделениях, дал восьмилетним ребёнком в 1923 году, а закончил петь в 1997-м, то общий стаж певца составил порядка 75 лет.



Сольный концерт в зале «Дома черноголовых», положивший начало славе вундеркинда. Рига, 27 декабря 1923 г.\*

Я вспоминаю, как летом 1997 года мы проводили в зале еврейской общины Мюнхена вечер-презентацию этого

---

\* Фотографии в статье – из книги Михаила Александровича «Я помню...» приведены с любезного разрешения издателя.

компакт-диска. Конечно же, в вечере принимал участие и сам Михаил Давидович, присутствовали представители издательства, близкие и друзья Александровича – известный артист и режиссер Юлиан Панич, певица Лариса Мондрус, издатель его книги воспоминаний «Я помню...» Леонид Махлис и многочисленные поклонники великого певца. В этот диск вошли песни на русском, идише, иврите, итальянском и немецком языках. В последующие годы тем же издательством были выпущены ещё два компакт-диска. В 1999-м – «Древо жизни», традиционные песни из еврейской литургии и в 2002-м – песни на идиш. Кроме того, был диск совместный с Гиорой Фейдманом, с квинтетом «Кронос» и три сольных диска, выпущены в России.

Редкостный по красоте звучания голос Александровича хорошо помнят люди старшего поколения. Когда в сороковые-шестидесятые годы из репродукторов звучал этот голос, то жизнь в домах замирала – люди слушали Александровича.

Творчество Михаила Александровича в бывшем Союзе было не просто явлением искусства. Это был своего рода прорыв в затхлой духовной атмосфере тоталитарного государства. Каким бы «железным» ни был занавес, отделявший страну, где все мы жили, от остального мира, цикл впервые исполненных Александровичем в Советском Союзе неаполитанских песен в многочисленных концертах, по радио, на телевидении, пробивал бреши в этом занавесе. А осенью 1971 года Михаил Давидович пробил ещё более крупную брешь – он эмигрировал в Израиль. Протестуя своим отъездом против антисемитизма, государственного и бытового, в стране победившего интернационализма.

Мне посчастливилось познакомиться и не раз встречаться с Певцом в Мюнхене, где он жил, и много беседовать с певцом.

Фрагменты этих бесед я привожу здесь:

– *Михаил Давидович, свою книгу «Я помню...», вышедшую в 1985 году в Мюнхене, вы заканчиваете так: «Под гул самолёта мне слышались слова (а принадлежали они одному из чинов Министерства культуры СССР – И.Ш.): "И всё-таки вы не наши..." Но видит Бог, я любил эту*

*страну, я искренне хотел стать её сыном. И не моя вина, что остался пасынком». И было это 29 октября 1971 года. Вы летели тогда с семьёй в эмиграцию, в Израиль. Вы выиграли наконец-то изнурительную борьбу с советскими властями за право петь не только в Союзе, но и на Западе. Как сложилась Ваша жизнь в дальнейшем?*

– Израиль встретил нас бурно. Сразу же была организована пресс-конференция. Я отвечал на вопросы, связанные, в основном, с моей эмиграцией, за которой с большим вниманием следили и в Израиле, и в США, и в других странах. В течение полугода моё имя не сходило со страниц израильских газет и журналов. И когда через три месяца было объявлено о моём первом концерте, расходов на рекламу почти не понадобилось. Спонсорами концерта были тогдашние премьер-министр Голда Мейер и мэр Тель-Авива. Они с членами правительства присутствовали на концерте. Были овации, масса цветов. Была корзина с цветами и от Голды Мейер. Правда, мне из этой корзины ничего не досталось. Уходя, зрители брали по цветочку на память в качестве сувенира.

После этого концерта появились хорошие рецензии. Какой-то импресарио, не крупный, правда, предложил мне контракт на год и умудрился организовать шесть, или семь концертов по стране. Из них пять прошли при полных залах. Когда настал срок расчётов со мной, оказалось, что не он мне, а я ему должен. По его словам, аренда, оркестр, реклама «съели» все деньги.

– *Вы, конечно, не были готовы к такой ситуации.*

– Естественно, я никогда никого не проверял. Позже я понял, что выручка осела в кармане у импресарио. Но дело даже не в этом, а в том, что заявок на мои концерты больше не поступало. И это было неожиданным ударом для меня. Я не получил того, к чему стремился. Тогда Ян Пирс, американский певец с мировым именем, несмотря на то, что я мог стать его конкурентом, обратился к известному импресарио Солу Юроку со словами: «Теперь он уже здесь. Почему ты его не берёшь?». Юрок, хотя мы с ним были знакомы с детства, ответил ему: «Я не работаю с эмигрантами из Советского Союза». Он боялся испортить

отношения с Москвой. Можете себе представить мою ситуацию: мне 56 лет, я в прекрасной вокальной форме, мне бы работать и работать...

Кроме того, мы выехали из России с 300 долларами, разрешенными к вывозу. А это всё было равно нолю, и вдруг я оказываюсь не нужным никому со своим репертуаром...



В Риге 4 августа 1940 года

– У вас не было депрессии в связи с этим?

– У меня нет, а вот у жены, и особенно у моей матери, были. Но я нашёл выход. Я использовал свои «скрытые» в Советском Союзе резервы – канторское пение. Ещё в юности, живя в Латвии, я некоторое время работал кантором в синагогах Риги, Манчестера, Каунаса. И в те годы был, пожалуй, самым молодым кантором в мире. И вот синагога в Рамат-Гане, близ Тель-Авива, заключила со мной контракт на два года, что позволило нам нормально существовать. Пришлось, конечно, много поработать, чтобы

восстановить канторский репертуар – ведь с тех пор прошло более трёх десятилетий.

– *Скажите, пожалуйста, канторство всегда предполагает религиозность исполнителя, или это всего лишь своеобразный жанр вокального искусства?*

– В Израиле вы можете быть кантором только при строгом религиозном поведении в жизни. Помню, когда я в самом начале моей работы кантором зашёл однажды в магазин без головного убора, то на следующий день это «происшествие» обсудала вся синагога. Всё это было мне не по душе.

– *А каким образом вы оказались в Америке?*

– Однажды я получил приглашение дать концерт в Нью-Йорке. За этим концертом последовали ещё двадцать. Я начал гастролы там с гонораром в полторы тысячи долларов. По американским меркам, это небольшая сумма. Для меня же это были огромные деньги. Ведь у гастролеров за рубежом советских артистов государство забирало почти весь гонорар, оставляя им где-то до десяти процентов от заработанного. Так было и с Рихтером, и с Ойстрахом, и с другими исполнителями. Живя в Советском Союзе, я был готов и на такие условия, и всё равно меня не выпускали в зарубежные гастролы.

– *Сколько же денег лишилась страна из-за таких идиотских запретов!*

– Вот именно. Там же, в Америке, я получил приглашение на работу в одну из синагог Канады, и мы с женой переехали туда. Затем были синагоги Нью-Йорка и Флориды. К тому времени наша дочь, Илона, вышла замуж и уехала с мужем в Мюнхен, где ему предложили работу на радио «Свобода». И когда мы с Раечкой почувствовали, что жить вдаль от дочери нам невмоготу, мы переехали в Мюнхен.

Вот так сложилась моя жизнь на Западе.

– *Михаил Давидович, как известно из вашей книги, вы стали давать камерные концерты с восьми лет и пели произведения Шуберта, Гуно, Глинки, Мильнера... Никто в мире в таком возрасте этого не делал. Позже был период ломки голоса, и ваши мудрые учителя на несколько лет*

*запретили вам буквально рот раскрывать и тем самым сохранили ваш голос. Мой вопрос связан с другим периодом вашей жизни. Когда вы почувствовали, что голос с возрастом стал «уходить», что вы уже не тот Александрович, что пел раньше?*

– К сожалению, годы берут своё. И у меня остаётся все меньше возможностей делать со своим голосом то, что я хочу. Уже не те голосовые связки, мышцы гортани, диафрагма... Диапазон голоса становится уже. Это естественный процесс, хотя далеко не из приятных. На днях я захожу в аптеку и говорю: «У меня есть электрический чайник, который время от времени покрывается накипью, я кладу туда пару таблеток "кальгонита" (средство от накипи – И.Ш.), и накипи – как не бывало. Не могли бы вы дать мне что-либо такое, чтобы я смог снять "накипь" со своих сосудов и связок?» Аптекарь меня внимательно выслушал и говорит: «Это очень сложно. К сожалению, у нас нет таких средств». Тогда я ему говорю: «Я сейчас приду домой и приму те таблетки, что я бросаю в чайник». Он сделал большие глаза, так и не оценив моей шутки.

Конечно, я не доволен своим голосом. Я вынужден был сокращать репертуар, а в самом репертуаре понижать тональность. Однако в рецензии на мой концерт в 1995 году одна бостонская рецензентка писала: «Если человеку за 80, и он может *так* петь, то он достоин "Книги Гиннеса"». Подумав об этой фразе и посмотрев информацию о других певцах, когда они заканчивали петь, я понял, что просто обречён быть в этой книге.

– *Ну а Козловский, он ведь тоже пел, когда ему было за 80.*

– Козловский был редким исключением. Мы с ним дружили, и я его очень высоко ценю как певца и человека. Кстати, мне говорили, что Иван Семенович после моего отъезда сказал буквально следующее: «Мне стало скучно жить. Мне не с кем петь». Да он пел дольше, чем многие певцы мира и сохранил свой голос лучше, чем я в его возрасте. Он вёл стопроцентный певческий режим. Например, за три дня до концерта он не выходил из дома, ни с кем не говорил, не отвечал на телефонные звонки. Он

молчал. А потом выходил на сцену и пел. Пусть даже одну песню. У меня же был другой подход. Мои педагоги научили меня никогда не использовать всю силу голосового аппарата. Что-то должно было оставаться в резерве. Если бы я свой репертуар, лирический и драматический, использовал на предельных нагрузках, я давно бы перестал петь.

– *А как справлялись вы с эмоциональными нагрузками? Выход человека на публику – всегда стресс. А на ваших концертах бывала и вовсе неординарная «публика»: Сталин, Берия, Молотов, Хрущев...*



Кантор Миша Александрович

– Петь в присутствии такого начальства всегда было особым состоянием. Ну что за пение, если за кулисами к тебе приставлен красноармеец с винтовкой, который провожает тебя до кулис. Одному такому я сказал: «Может быть, ты и споёшь за меня?» Я понимал, что он тут ни при чем. А у меня на сцене от всего этого пересыхало горло. В основном же, с эмоциями на сцене я справлялся. Куда сложнее давалось мне общение с «опекунами от культуры».

Как-то Смирнов-Сокольский сказал: «Не бойся министра культуры, а бойся культуры министра». Однажды после разговора с одним из таких «опекунов» я обнаружил в глазу черную муху – у меня лопнул сосуд. У Райкина было около десятка микроинфарктов. И все они возникали, как правило, после сдачи очередной программы какому-либо реперткому. Вместо того чтобы творить, он вынужден был бороться за право творить. И так было со многими артистами.

– *Михаил Давидович, и всё-таки мне представляется, лучшая ваша публика была в Советском Союзе. Где бы вы ни пели: в колхозах или на стройках, в госпиталях или на передовой во время войны, в многочисленных концертных залах – вам рукоплескали простые люди. Это ведь и был всенародный успех.*

– Это абсолютная правда. То, что артист мог получить в Советском Союзе, а теперь в России, он не получит нигде в мире. Меня принимали очень тепло и в Америке, и в Израиле, и в других странах. После концерта – почти всегда приёмы, банкеты... Но меня не обманешь. Я знаю, что за этим стоит. Такой любви, такого энтузиазма, какие были в Советском Союзе, я не чувствовал нигде. И я любил этих людей. Продолжаю их любить и сейчас. И я рад, что они могут встретиться с моими песнями, записанными на компакт-дисках, которые вышли здесь, в Германии, и надеюсь, что они дойдут и до российского слушателя.

– *Вы по-прежнему поёте?*

– Увы. Последний раз я вышел на сцену Большого зала Московской консерватории 26 мая 1997 года. Кстати, присутствующий на концерте Евгений Евтушенко прочел со сцены такое четверостишие:

Чуть постаревший соловей  
Опять на веточке своей,  
И все листочки так дрожат,  
Как много лет тому назад.

Теперь же я пою только в снах.



# Моисей Борода

## Свадебный марш



В двадцать девятого июля 1877 года в Байротском театре царило оживлённое. Шла генеральная репетиция «Лоэнгрина». Через два дня должен был состояться спектакль, на котором ожидалось присутствие нескольких коронованных особ, что придавало генеральной репетиции особую торжественность – впрочем, не нарушающую общей строгой деловитости атмосферы.

Дирижировал, как обычно, Герман Леви<sup>1</sup>.

Вагнер сидел в пустом зале близко к сцене за небольшим, покрытым красным бархатом, столом. Перед ним лежала партитура, но он в неё не заглядывал – да в этом и не было нужды. Всё было как нельзя лучше: и певцы, и оркестр были на высоте, звучание его удовлетворяло, и он вполне мог отдалиться своим мыслям, краем уха всё же прислушиваясь к тому, что происходило на сцене, а время от времени и активно в это вслушиваясь.

...Да, всё идёт действительно хорошо, он может себе позволить и ненадолго отвлечься – почему бы нет? Нет, ну просто на удивление хорошо всё сегодня идёт, без запинки,

---

<sup>1</sup> Германн Леви (Hermann Levi, 1839-1900). С 1872 по 1896 – главный дирижёр и художественный руководитель королевского придворного и национального театра в Мюнхене, один из выдающихся немецких дирижёров старшего поколения. Леви, руководивший как дирижёр премьерой вагнеровского «Парсифаля», был и после смерти Вагнера, вплоть до 1894 года, одним из руководителей Байройтских фестивалей. Значительной заслугой Леви, помимо его вклада в немецкую музыкальную культуру в качестве дирижёра, явились его переводы на немецкий язык либретто трёх моцартовских опер: *Le nozze di Figaro*, *Don Giovanni* и *Così fan tutte*.

ему не хочется совершенно ничего менять – а ведь уже почти конец второго акта. Ну, пожалуй, вот здесь не помешало бы немного больше пафоса – впрочем, нет, нет, лучше не трогать.

...Нет, этот самый Леви, что там ни говори, знает своё дело, чертовски хорошо знает! Правильно он, Вагнер, делает, что держится за Леви, пусть он и... – ну да, тут уж ничего не поделаешь. Вот и Косима ему постоянно говорит, что от Леви – да будь он хоть трижды еврей – ни в коем случае отказываться нельзя.

А эти ничтожества, это его так называемое патриотическое окружение, которое ему, Вагнеру, смеет ещё советы давать, кто его операми дирижировать может, а кто нет, да ещё при этом ему о его труде «Еврейство в музыке» напоминать, о том, что он там написал! Пусть тогда сами встанут и продирижируют – небось кишка тонка!

Нет, он, Вагнер, сам может определять, кто еврей, а кто нет. Он, чёрт возьми, может себе это позволить! Да, может. И не только это. Он – на вершине славы! После Бетховена он и только он – никто другой – может о себе сказать с обоснованной гордостью, что он – истинно немецкий композитор. ...Впрочем, почему, собственно, «после»? Не «после», а наравне – именно! Да, наравне!

Кто, как не он, Вагнер, сумел раскрыть душу этого народа, его романтичность, его мистическую возвышенность, неизбывную тоску по Граалю, его готовность жертвовать собой ради высоких идеалов, его ненависть к низменному, к деньгам, золоту, к презренным гешефтам! Он – король немецкой музыки, музыкальный пророк своего народа! Как это сказал Гаусс: «Я не король математиков, я – король математики». Хорошо сказал! То же самое может сказать о себе и он, Вагнер. Он, Вагнер, король музыки! И мир чувствует это!

Да, чувствует! Кого ещё принимали с таким почётом коронованные особы? Или, может быть, Бисмарк, по горло занятый государственными делами, не его, Вагнера, пригласил к себе и беседовал с ним, не глядя на часы?..

Да, коронованные особы. А как он начинал, сколько нужды ему пришлось испытать! Эти ничтожные кредиторы, от которых ему пришлось спасаться в Риге! Да и потом...

...Вот и с «Лоэнгрином»: не суждено было ему присутствовать на премьере! Скрываться вынужден был он – за участие в революции его объявили в розыск, и попадись он к ним тогда в лапы, его посадили бы в тюрьму. Он, Вагнер, просидел бы свои лучшие годы в тюрьме! В тюрьме! В то время как Мейерберы, Мендельсоны и иже с ними завоёвывали бы одну позицию за другой! Но судьба распорядилась по-иному...

Да, судьба распорядилась по-иному. Ибо ему, Вагнеру, предстояло выполнить высшее предназначение, стать пророком своего народа на долгие десятилетия, может быть, на века – да, да, да! – предстояло открыть этому народу глаза на его величие, на его героику. И – он, Вагнер, сделал это! Он...

На этом месте мысли Вагнера внезапно прервались, лицо его потемнело от гнева, и он услышал свой задыхающийся от ярости крик: «Стойте! Остановитесь немедленно, негодяи! Мерзавцы! Что вы играете?»

Оркестр ещё продолжал по инерции играть несколько секунд – слова маэстро не сразу дошли до оркестровой ямы и с головой ушедшего в партитуру Леви. Потом на момент прозвучало соло одинокой скрипки, как видно не сразу воспринявшей жест дирижёра, потом и она стыдливо смолкла.

Певцы остановились там, где их застал возглас Вагнера, и какое-то время оставались в тех же позах, потом, медленно, но оставаясь на своих местах, приняли вольную позицию и обратили свой взор на сидящего маэстро.

Наконец всё смолкло, и в этой тишине раздался ледяной голос Вагнера: «Леви! Подойдите немедленно ко мне!»

Из ямы послышался шорох отодвигаемых в полутьме инструментов и нотных пультов – оркестранты очевидно обеспечивали дирижёру проход – и через минуту Леви стоял перед Вагнером.

– Леви, – обратился к нему маэстро, стараясь придать своему голосу мирный тон. – Что Вы играете, Леви?

Совершенно озадаченный этим вопросом Леви не знал, что ответить, и промолчал.

– Ах, вот как! – голос Вагнера задрожал от возмущения. – Вы, значит, предпочитаете молчать? Или, может быть, всё-таки скажете что-нибудь?

Леви, несколько оправившись от потрясения, но всё ещё не понимающий, что от него хотят, сказал неуверенно: Может быть. Вам не понравился темп? Да, я в самом деле взял сейчас несколько более быстрый темп, и в этом темпе духовые, возможно... – но тут он был решительно прерван.

– О каком к дьяволу темпе вы мне тут лепечете, Леви, о каких духовых? Вы что, с ума сошли, Леви? Или, или Вы хотите опозорить меня на премьере?

– Я всё же не понимаю Вас, господин Вагнер, – произнёс бледный как полотно Леви, стараясь придать своему голосу спокойное выражение.

– Ах, Вы не понимаете? Вот как! Я спрашиваю Вас в последний раз, Леви: что Вы только сейчас играли? – спросил Вагнер с еле сдерживаемым бешенством в голосе.

– Что я сейчас играл? Вашу музыку, маэстро. Вашего Лоэнгринга. Начало третьего акта, если Вам будет угодно, – ответил Леви подчёркнуто холодным тоном. Этот допрос начал его всё более раздражать.

– Свадебную церу... – но тут Вагнер так грохнул по столу кулаком, что стол двинулся вперёд.

Свадебную! – закричал он, уже не сдерживая своего бешенства. – Свадебную! Церемонию! И вдруг, понизив голос до свистящего шёпота, добавил: «Под свадебный марш» Мендельсона! Мендельсона, Леви!!... Вы осмелились опоганить моего божественного Лоэнгринга музыкой этого... этого... – Вагнер задыхался, может быть оттого, что ему было трудно сочетать бешенство со свистящим шёпотом, а может быть потому, что не мог подобрать для Мендельсона соответствующего моменту эпитета.

– И не смотрите на меня так, Леви, – продолжил Вагнер уже обычным и более спокойным голосом. – Не смотрите на меня так, как будто бы то, что я говорю, Вам

совершенно непонятно. Или Вы думаете, что я... что я сошёл с ума? Или у меня в мои шестьдесят четыре года так ослаб слух, что я уже не могу отличить мою музыку от музыки какого-то Мендельсона? Или... у меня начались галлюцинации?

– Я не понимаю Вас, господин Вагнер, – произнес Леви, совершенно ошарашенный таким поворотом дела. – Я могу только повторить, что мы начали сейчас третий акт «Лоэнгрина», свадебное...

– Ни слова больше, Леви! – вскричал Вагнер. – Ни слова больше! И я – я, наивный, утверждал вопреки всем, что Вы преданы мне! Я утверждал всем, что Вы – мой друг, и один раз даже обнял и расцеловал Вас, Леви! Расцеловал! Вас! И Вы платите мне за всё такой чёрной неблагодарностью, – сказал Вагнер голосом, в котором ясно звучала патетическая печаль. – Ни слова больше, Леви! Кто у Вас в оркестре сидит первой скрипкой?

– Рихард Штрайх, – господин Вагнер, – ответил Леви.

– Штрайх? Отлично! Рихард – ещё лучше. Этот не подведёт. Умеет он дирижировать?

– Да, – ответил Леви сухо.

– Хорошо. Поставьте его к пульту, и пусть он начинает третий акт. Прямо с начала. И сообразуйте потом остаться здесь со мной, чтобы я точно знал, что за пультом будет Штрайх, а не Вы.

– Я понял Вас, – ответил Леви, подошёл к оркестровой яме, сказал коротко: «Штрайх, становитесь за дирижёрский пульт и начинайте третий акт», вернулся и остановился рядом со столом, за которым сидел Вагнер.

Начали третий акт. Но не прошло и минуты, как побледневший Вагнер закричал: «Стойте! Остановитесь немедленно! Остановитесь сию же секунду!» Потом он обернулся к стоящему рядом Леви и спросил шёпотом: Леви, Вы слышите, Леви? Вы слышите, что они играют? Они опять играют этого проклятого Мендельсона!

Потом он помолчал и добавил, испытующе глядя на Леви: А Ваш Штрайх, ...он случайно не... – Вагнер замялся.

Леви ничего не ответил.

– Ага, – произнёс Вагнер с несколько зловещей интонацией, – теперь я понимаю. Теперь я, кажется, понимаю всё. Что ж – сейчас я сам стану за пульт, и тогда мы посмотрим!

Он встал, со стуком задвинул за собой стул и быстрыми шагами двинулся к оркестровой яме, откуда ещё доносились разрозненные звуки: кто-то, почуяв возможный перерыв, упражнялся в гаммах, другие настраивали инструмент. Через несколько мгновений всё стихло, и в этой тишине прозвучал чёткий командный голос Вагнера: «Третий акт». Но не прошло и десяти секунд, как музыка смолкла, и в тишине стал явственно слышен шелест перелистываемых нот. Потом раздался грохот и через несколько мгновений в зал выбежал Вагнер, в ярости размахивающий партитурой и кричащий: «Негодяи! Мерзавцы! Подлецы!»

Он подбежал к столу, что было сил, грохнул по нему партитурой, со стуком выдвинул стул, сел и, обхватив голову руками, спросил стоящего неподвижно, как соляной столб, Леви: Кто переписывал партии?

– Агентство Зильберман & Ко, – ответил Леви и продолжил: – И всё же я позволю себе заметить...

– Агентство Зильберман & Ко., – медленно, тихо, со зловещей интонацией произнёс Вагнер. – Теперь мне всё понятно.

Потом он медленно, как бы с усилием опустил руки, обернулся к Леви и сказал: Вызовите негодяя Зильбермана!

– Но в такой час, господин Вагнер! – в замешательстве произнёс Леви.

– Час? – возмущённо прервал его Вагнер. – Час? О каком часе Вы мне тут говорите, Леви? Если послезавтра на премьере случится такое, тогда пробыёт Ваш час, Леви! Ваш час! Понимаете, Ваш! – Он помолчал и добавил с трагическим пафосом: И мой, может быть, тоже!..

– В общем, через полчаса Зильберман должен быть здесь. Живой или мёртвый, – сказал он сухо. – Впрочем, – тут он впервые позволил себе улыбнуться, – нет, конечно, живой. Мёртвый он мне не нужен.

Не прошло и получаса, как вырванный из своего вечернего покоя Зильберман стоял перед Вагнером.

– Скажите, Зильберман, сколько Вам за это, – Вагнер, скривившись, указал на лежащую на столе несколько пострадавшую от удара партитуру, – сколько Вам за это заплатили?

– Заплатили? – переспросил Зильберман удивлённо.  
– Мне ещё ничего не заплатили, и я бы хотел воспользоваться случаем, чтобы напом...

– Момент, Зильберман! Воспользуетесь потом! Значит, Вы утверждаете, что Вам за это, – Вагнер с жестом отвращения показал на партитуру, – что Вам за эту пачкотню не заплатили ничего?

Зильберман ошарашено посмотрел на Вагнера.

– Вы... называете Вашу музыку... пачкотнёй, маэстро? Я не ослы... – начал он, но Вагнер прервал его вновь.

– Не притворяйтесь дурачком, Зильберман! Я знаю, что это сделали Вы! Лично Вы! Потому что это – квалифицированная работа. Да, да, это сделали Вы! И конечно, по сговору с Мендельсоном! По сговору с Мендельсоном, Зильберман!

– Я совершенно не понимаю Вас, господин Вагнер, о каком сговоре Вы говорите. Да и потом: Мендельсон умер двадцать лет тому назад, – произнёс вконец озадаченный Зильберман.

– Не ловите меня на слове, Зильберман, – отпарировал Вагнер. – Я не хуже Вас знаю, когда умер Мендельсон. И не пытайтесь уйти от ответа.

– От какого ответа? – спросил глухо Зильберман.

– От такого. Вы – признайтесь, Зильберман, что это были именно Вы! – расписывая оркестровые голоса моего «Лоэнгрина», вписали в третий акт вместо моей музыки Свадебный Марш Мендельсона. Мендельсона!.. А потом изменили под это и партитуру...

...Ну, так как, Зильберман, было это или нет? И не смотрите на меня так, будто бы я не знаю, что говорю. Вот наш уважаемый господин Леви тоже так на меня смотрел, да

и, кажется, теперь ещё смотрит. Убедитесь сами! – и Вагнер раскрыл перед изумлённым Зильберманом партитуру.

Леви не подошёл к партитуре, продолжая оставаться там же, где стоял, когда Зильберман вошёл.

– Ну, что Вы теперь скажете, Зильберман? – спросил Вагнер тихо.

– Господин Вагнер, – произнёс Зильберман еле слышным шёпотом. – Господин Вагнер, но здесь нет никакого марша Мендельсона. Всё, что здесь есть – это Ваша музыка, господин Вагнер. И я хотел бы только добавить, что честь моего агентства, моей фирмы... – но тут Леви сделал ему знак рукой, означавший, что он хотел бы остаться с Вагнером один на один, и Зильберман, не окончив, тихо удалился.

Вагнер непонимающе посмотрел ему вслед и хотел уже было что-то сказать, как внезапно услышал рядом с собой тихий голос: «Рихард, ты переутомился, ты устал. Тебе необходимо отдохнуть. Это просто необходимо».

Он в недоумении оглянулся на Леви.

Неужели он, Вагнер, дожил уже до того, что Леви говорит ему «ты»?

Но тот начал как-то постепенно исчезать, как бы растаивая в воздухе, и на месте Леви вдруг оказалась Козима, на месте театра – его любимая комната с роялем, а сам он сидел у стола над своим вновь изданным эссе Еврейство в музыке, над которым он, похоже, и задремал.

Он посмотрел на часы: был час ночи.

– Послушай, – обратился он к Козиме, – а генеральная репетиция «Лоэнгрина» – она что, уже кончилась?

– Генеральная репетиция? Но ведь генеральная была вчера, – ответила Козима спокойно, – и причём тут Лоэнгрин, репетировали ведь «Кольцо Нибелунга». Всё прошло блестяще – да ведь мы же были там вместе.

– Да, – произнёс Вагнер задумчиво, – да, да, ты, конечно, права. А я сейчас, кажется, задремал. И представляешь, что мне приснилось? – И он рассказал жене свой сон.

– Что ж, в этом что-то есть, что-то символическое, – сказала медленно Козима. – Что-то, что ещё раз говорит мне: ты был с этим, – она указала на лежащую на столе брошюру, – абсолютно прав. И я знаю: Поколение за поколением будет тебе благодарно не только за твою музыку, но и за это. – Она помолчала и добавила: Это останется навсегда! – и с любовью посмотрела на мужа.

Может быть, – ответил он задумчиво. – Может быть<sup>2</sup>.

\*\*\*

Ну и история! И этому надо верить?! Этому?! Когда ни в одной биографии композитора Вагнера – ну, ни в одной же, даже в самой что ни на есть подробной – не то, что слова, а даже и намёка на такое происшествие нет! Чтобы Вагнеру вдруг Мендельсон приснился – да такого не только что в сон в летнюю ночь, а и в страшном сне себе

---

<sup>2</sup> Описанная история может быть лучше понята, если напомнить читателю об одной из сторон творческой деятельности Вагнера, о которой нечасто говорится в полный голос – а именно о его вполне укладывающемся в рамки будущего «тысячелетнего райха» антисемитском памфлете “Das Judentum in der Musik”, написанном в 1850 году, изданном тогда же в Цюрихе, затем (под псевдонимом *K. Freigedank*) в Германии и переизданном в 1869 г. Чтение этого пронизанного болезненным юдофобством памфлета оставляет тягостное впечатление. Трудно сказать, что могло его породить – может быть, просто желание включиться в общий антисемитский хор и стать в нём всеми слышным солистом, тем более что хор этот быстро набирал силу, и пребывание в нём становилось всё почётнее. Знаменитое высказывание “Die Juden sind unser Unglück” («Евреи – наше несчастье») всегермански известного профессора истории Генриха фон Трайтшке (*Heinrich von Treitschke*), сделанное им печатно в 1879 г. и быстро ставшее с энтузиазмом подхваченным лозунгом, довольно точно передаёт атмосферу того времени, наполненного почти витальным страхом перед интеллектуальной мощью, лившейся из открытых ворот гетто в немецкие университеты, и прочие до того закрытые для евреев области.

Будучи, однако, человеком весьма прагматичным, когда дело касалось его музыки, Вагнер не внял голосам своего окружения, возмущённого тем, что премьерой «Парсифаля» должен был дирижировать еврей Германн Леви.

представить нельзя. Ну, а про то, как в его, Вагнера, музыку этот самый Мендельсон проник – тут уж совсем «стоп, машина!»

Нет, чушь вся история, сплошная чушь, и больше ничего! Быть такого не могло!

...А впрочем – кто его там знает?



**Лариса Миллер**  
**Юбилейная публикация**

**Из новых стихов 2000-2009 годов**

\*\*\*



оверь, возможны варианты,  
Изменчивые дни – гаранты,  
Того, что варианты есть,  
Снежинки – крылышки, пуанты –  
Парят и тают, их не счесть.  
И мы из тающих, парящих,  
Летящих, заживо горящих  
В небесном и земном огне, –  
Царящих и совсем пропавших  
Невесть когда и где, зане  
Мы не повязаны сюжетом,  
Вольны мы и зимой и летом  
Менять событий быстрый ход  
И что-то добавлять при этом  
И делать всё наоборот,  
Менять ремарку «обречённо»  
На «весело» и, облегчённо  
Вздыхнув, играть свой вариант,  
Чтоб сам Всевышний увлечённо  
Следил, шепча: «Какой талант!»

\*\*\*

Откуда всхлип и слабый вздох?  
Из жизни, пойманной врасплох,  
И смех оттуда,  
И вешних птиц переполох,  
И звон посуды,

И чей-то окрик: «Эй, Колян!»,  
И сам Колян, который пьян  
Зимой и летом,  
И море тьмы и океан  
Дневного света.

\*\*\*

Поиграй с нами, Господи,  
поиграй,  
Он такой невесёлый –  
родимый край,  
Что осталось нам только  
играть и петь,  
Чтоб с отчаяния вовсе  
не умереть.  
Поиграй с нами в ладошки  
и в лапту,  
Дай поймать что-то светлое  
на лету,  
И, покинув заоблачный  
небосвод,  
Поводи с нами, грешными,  
хоровод,  
Сделай столь увлекательной  
всю игру,  
Чтобы я не заметила,  
как умру.

\*\*\*

Ну чем не муза, чем не муза  
Щенячье розовое пузо?  
А нос, щенячий чуткий нос –  
Он влажен, как охалка роз,  
Покрытая росой, а ухо  
Сигналил нам: «Полундра, муха!»  
А хвост... О эта речь хвоста!  
Кто скажет, что она проста?  
В ней и поэзия и проза,  
И грусть, и нежность, и угроза.

\*\*\*

– Поговорим о пустяках,  
О том, что не живёт в веках,  
О том, чего – подуй – и нету,  
О том, что испарится к лету,  
К рассвету, к осени, к весне...  
– О чём ты? Говори ясней.  
– Я о пустячном, мимолётном,  
О состоянии дремотном,  
О том, как просыпаться лень,  
Как тянет в беспросветный день  
Забыв себя, стать первым встречным...  
Постой, но это же о вечном.

\*\*\*

“С’est damage, damage, damage” –  
Череда сплошных пропаж –  
Наша жизнь под небосводом...  
Но займётся переводом.  
“С’est damage” – по-русски «жаль».  
Жаль листвы, летящей вдаль,  
Жаль пустеющего сада...  
Всё проходит – вот досада,  
“С’est damage”, – звучит шансон,  
И с шансоном в унисон –  
«Жаль, – поёт душа – до боли  
Жаль. Кого – его, её ли?»  
С’est damage, увы и ах,  
Чьих-то рук бессильный взмах,  
Роковое опозданье  
На любовное свиданье.

\*\*\*

Проживая в хате с краю,  
А, вернее, на краю  
Чёрной бездны, напеваю:  
Баю-баюшки-баю.  
Дни под горку, как салазки,  
Скачут быстро и легко.  
Баю-бай, зажмурим глазки,

До конца недалеко.  
Повороты, буераки,  
Кочка, холмик, бугорок,  
И стремительный во мраке  
Прямо в бездну кувырок.  
Впрочем, я ведь не об этом:  
Я про быструю езду  
Про мерцающую светом  
Неразгаданным звезду.

\*\*\*

Всё способно умереть,  
Потому что живо, живо,  
В час весеннего разлива  
Силам – таять, птицам – петь

Тают в небе облака,  
Тает снежная одежда,  
Лишь последняя надежда  
Не растаяла пока.

\*\*\*

Сил осталось – ноль,  
                  всё ушло в песок,  
И кочует боль  
                  из виска в висок...  
Всё ушло в песок  
                  золотой речной  
Или стало в срок  
                  лишь золой печной.  
Но не всё ль равно  
                  что куда ушло,  
Коль не жжёт давно  
                  то, что прежде жгло.  
Путь закрыт назад,  
                  и потерян ключ,  
И горит закат,  
                  я иду на луч,  
И другого нет  
                  У меня пути,

кроме как на свет  
до конца итти.

\*\*\*

Итак, не приходя в себя,  
Придти в него, в неё, в тебя,  
Придти в кого-нибудь другого,  
Не приходя в себя, чтоб ново,  
И странно стало всё кругом –  
Пейзаж и улица, и дом.  
Забуть себя, свои ужимки,  
Свой бледный вид на старом снимке,  
Картинки новые плода,  
Зажить, в себя не приходя.

\*\*\*

Жизнь – тяжёлая обуза...  
Но покуда в ритме блюза  
Дождь идёт, и тихо дни  
Протекают, в двери муза  
Постучалась – не спугни.  
«Пам-парам» – всю ночь до света  
Напевает близко где-то  
То контральто, то басок...  
Говоришь, что чуда нету?  
А не хочешь адресок?  
«Пам-парам, тарам, тарам-та,  
Проживает чудо там-то,  
Проживает чудо там...»  
В ритме дивного анданте  
Дождь по листьям и цветам...  
Адресок зажав в ладошке,  
Поспеш на свет в окошке,  
И, романтику любя,  
Дождь потратит всё до крошки,  
Всё до капли на тебя.

\*\*\*

Так тихо, будто снится  
Так тихо в море трав,  
Что слышно как ресница

Упала на рукав.

\*\*\*

Села на землю небесная птичка –  
Это земного-небесного смычка.  
Травки небесное тело коснулось,  
Травка под телом небесным качнулась.  
С травки стекли серебристые росы.  
И, поглядев на окрестности косо,  
Вспомнив какое-то срочное дельце,  
Вновь упорхнуло небесное тельце.

\*\*\*

Боже мой, какое счастье!  
Всё без моего участия –  
Ливень, ветер и трава,  
И счастливые слова,  
Что в загадочном порядке  
Появляются в тетрадке.

\*\*\*

Вторник, пятница, среда...  
Жить-то надо – вот беда,  
Дни недели обилетить,  
Проводить, потом приветить,  
После снова проводить,  
С ними есть и с ними пить,  
В их дождях-лучах купаться,  
В их подробностях копать,  
Их дарами дорожить...  
Ну, короче, надо жить  
От восхода до восхода  
И в любое время года.

\*\*\*

Ослепительные дни  
Длятся, не кончаются.  
Маков яркие огни  
Там и сям встречаются.

Рябь в глазах от пестроты

И от разных разностей...  
Отложи свои труды,  
Умирай от праздности.

День сверкает точно брешь,  
Мысль течёт ленивая,  
Грушу спелую заешь  
Столь же спелой сливою,

И следи полёт шмеля,  
Иль следи за бабочкой,  
Или как плывёт земля  
Вместе с этой лавочкой.

\*\*\*

Всё будет хорошо, как вы хотели,  
И будет дух здоров в здоровом теле,  
И прилетите вы куда летели,  
И будет время медленно ползти.

Да, но когда? Когда? Уже ведь поздно,  
И где-то погромыхивает грозно,  
Кого-то кто-то умоляет слёзно  
Понять, простить. «Прости, – твердит, – прости».

Всё будет хорошо, как вам мечталось,  
Совсем немного потерпеть осталось.  
Усталость? Да, конечно же, усталость.  
Она пройдёт, она пройти должна.

Когда? Когда? Ни щёлки, ни просвета,  
Прошла зима, уже проходит лето,  
И грозно погромыхивает где-то...  
Всё так, всё так. Зато заря нежна.

\*\*\*

Вроде просто – дважды два,  
Щи да каша, баба с дедом.  
А выходит, что едва  
Мир не рухнул за обедом.

Вроде море, ветерок,

Сок в бокале с горстью льдинок.  
А выходит – морок, рок  
И кровавый поединок.

Вроде руку протяни –  
Белый, белый куст жасмина.  
Но прозрачнейшие дни  
Вдруг взрываются, как мина.

Что на сердце, на уме?  
Что пульсирует под кожей?  
Что там вызрело во тьме?  
Пощади нас, Святой Боже.

\*\*\*

Под небесами так страшно слоняться,  
Надо хоть как-то от них заслоняться –  
От безразмерных, бездонных, пустых,  
В млечных разводах и тучах густых.  
Чтоб не болеть одиночеством острым  
Надо прикрыться хоть чем-нибудь пёстрым,  
Плотным, тугим, ощутимым на вес,  
Но ярко залитым светом небес.

\*\*\*

Очень трудно быть живой,  
Жить, как транспорт гужевой  
В век высоких технологий,  
И, едва таская ноги,  
Всё же всюду попевать,  
С энтропией воевать,  
В завтра светлое тащиться  
И ещё при этом тщиться  
Сохранить задор юнца  
До победного конца.

\*\*\*

Неуютное местечко.  
Здесь почти не греет печка,  
Вымирают печники.  
Ветер с поля и с реки

Студит нам жильё земное,  
А тепло здесь наживное:  
Вот проснулись стылým днём,  
Надышали и живём.

\*\*\*

Дай руку, Господи, дай руку.  
Дороги все ведут в разлуку,  
Ведут в разлуку напрямиком,  
И каждый, чем-нибудь влеком,  
По ним идёт, спешит и мчится  
Лишь для того, чтоб разлучиться  
И с тем, и с тем, как выйдет срок,  
И нету здесь иных дорог.

\*\*\*

Как под яблоней неспелый,  
Несъедобный плод лежит...  
Видит Бог, хочу быть смелой,  
А душа моя дрожит.

И чего она боится  
Под неспелых яблок стук?  
Страшно ей, что жизнь продлится,  
Страшно, что прервётся вдруг.

\*\*\*

Какое там сражение,  
Какой там вечный бой! –  
Есть тихое кружение  
Под тканью голубой.

Какое там борение,  
Надсада и надлом! –  
Есть тихое парение  
С распластанным крылом.

Какое там смятение,  
Метание в бреду! –  
Есть тихое цветение  
Кувшинки на пруду.

\*\*\*

Жизнь легка, легка, легка,  
Легче не бывает,  
Потому что свет пока  
Только прибывает,  
Потому что луг в росе  
И ажурны тени,  
Потому что тропы все  
В крестиках сирени,  
Потому что яркий свет  
Ранним утром будит,  
Потому что ночи нет  
И, Бог даст, не будет.

\*\*\*

Лето – чистый изумруд...  
Почему-то люди мрут.  
Что за варварский обычай  
Уходить под гомон птичий,  
Уходить да уходить.  
Видно, ткнут гнилую нить  
Те небесные ткачихи,  
Что свершают труд свой тихий.  
Летний дождик моросит,  
Всё на ниточке висит,  
Мир висит такой отважный  
На небесной нитке влажной.

\*\*\*

Петух и скрипка, и букет...  
Художник, твой весёлый бред  
Пленяет душу.  
Летают двое много лет,  
Покинув сушу.

Они летят, цветы в руках...  
А мы с тобой, увы и ах,  
Стоим на месте.  
Лукавый ангел – крыльев взмах –

Летит к невесте.

Всё зависит там и сям  
И никаких бездонных ям,  
Весь мир в полёте,  
Летают дяди по краям,  
Летают тёти.

\*\*\*

Ангел бедный, ангел мой,  
Отведи меня домой,  
Уведи меня из края,  
Где, бесшумно догорая,  
Дни уходят в никуда,  
Где озёрная вода  
Спит под жёлтым одеялом.  
Я прошу тебя о малом:  
В тихих сумерках спаси,  
Лист последний не гаси,  
Пусть он светит на дорогу,  
По которой ты к порогу  
Приведёшь к исходу дня  
Заплутавшую меня.

\*\*\*

День прошёл и был таков.  
Боже, сколько облаков  
За минувший век проплыло!  
Сколько горестного было!  
Не печалься, отдохни.  
Сквозь изменчивые дни  
Проплыви под облаками,  
Разводя беду руками

\*\*\*

Одинокий лист безродный  
Проплывал по глади водной.  
Лист течением несло...  
Было пятое число,  
Но оно уже кончалось...

Ветка голая качалась...  
Как тебе на свете быть,  
Бедный хомо? Дальше плыть,  
Плыть во времени текущем.  
Бедный, бедный, чем ты мучим?  
Что бы ни было – плыви  
С красным шариком в крови.

\*\*\*

Море света. Живи – не хочу.  
И, лицо подставляя лучу,  
Я стихи сочиняю о лете –  
Чем ещё заниматься при свете?

На свету, на свету, на свету  
Строчку эту меняю на ту,  
И гуляет по ткани словесной  
Ломкий луч, золотой и небесный.

\*\*\*

Всё «зачем» да «почему»...  
Не доступная уму  
Жизнь идёт себе, идёт  
И ответа не даёт,  
Не даёт себе труда  
Объяснить зачем, куда  
Ей приспичило идти,  
Нас теряя по пути.

\*\*\*

И нет завершения. Ещё не конец.  
И тайное что-то задумал Творец,  
Ещё продолжается мысли паренье,  
Ещё Он намерен продолжить творенье:  
Нездешнее что-то в волненье слепить  
И горькой любовью потом полюбить.

\*\*\*

А с небес, что чисты, как вначале,  
Опустился мой ангел печали.  
Он меня целый день опекает

И во все мои нужды вникает.

Озабочен моими делами,  
Он меня обнимает крылами,  
Терпеливо меня утешает  
И слова со слезами мешает.

\*\*\*

С белым светом говорю,  
С белым –  
Вот таким я занята  
Делом.  
Я толкую с ним зимой,  
Летом,  
И других у меня дел  
Нету.

Говорю о том, что томит,  
Мучит –  
Тишине внимать он меня  
Учит.  
Кабы знать, что он меня  
Слышит...  
Птичий крестик на снегу  
Пишет.

\*\*\*

И этот день кончается,  
А жить не получается.  
Но коль еще помучиться,  
То, может, и получится.

\*\*\*

*Посвящается фильму  
«Сказка сказок»*

Красное яблоко падает в снег.  
Вечного времени медленный бег.  
Вечного времени медленный ход.  
Красного яблока тихий полёт.  
Это из сказки, где нету конца.  
Сказка такая одна у творца.

Красные яблоки с белых ветвей  
Падают в снег. И поёт соловей.

\*\*\*

По ледяным прозрачным водам  
Под лучезарным небосводом  
Сверкающим апрельским днём  
Безостановочно плывём.  
Сопровождаемые граем  
И щебетаньем уплываем,  
Плывём в сплошную темноту,  
Блаженно щурясь на свету.

\*\*\*

Плачется мне. Хорошо нынче плачется.  
Плачет со мной сыроватый апрель.  
Солнце за тучку небесную прячется,  
Детский кораблик садится на мель.  
В этих широтах сто лет зимовали мы,  
Светлый апрель избавленье принёс.  
Манит он нас бесконечными далями,  
Теми, что мне не видать из-за слёз.

\*\*\*

Необоримый свет дневной...  
Мгновенье, чаемое мной,  
Не улетучилось покуда.  
Живу и нет иного чуда  
На всей поверхности земной.  
Живу и солнечную нить  
Я продолжаю длить и длить.  
Она тонка и ненадёжна,  
Но я живу и значит можно  
Речной и хвойный воздух пить.

\*\*\*

Не умираем никогда.  
Несутся мимо электрички,  
Шуршит трава, щебечут птички,  
Поют электропровода.

Шумят эдемские сады,  
Струится облачное млеко.  
Июньский день. Начало века.  
На тропах влажные следы.

\*\*\*

Свод небесный покрыт облаками...  
Мы уходим с пустыми руками.  
Как пришли так уйдём налегке,  
Только воздух сжимая в руке.  
Только воздух прозрачный, осенний.  
На исходе последних мгновений  
Расставаясь и слёзы лия,  
Скажем: «Господи, воля Твоя».

\*\*\*

Когда нас музыка покинет,  
И день, что полон звуков, минет,  
И день придёт глухонемой  
Что станем делать, милый мой?  
Откуда станем черпать звуки?  
На свете нет такой науки,  
На свете нет таких чудес.  
Живи, бемоль. Живи, диез.

\*\*\*

Да не знать нам ни тягот, ни муки.  
Чьи-то лёгкие, лёгкие руки  
Приподнимут нас и понесут  
Над землёй, как хрустальный сосуд.  
Над отвесными скалами, мимо  
Чёрной бездны. Да будем хранимы  
И лелеемы, и спасены,  
В даль пресветлую унесены.

\*\*\*

Клевер лесной, василёк луговой –  
В эти детали ушла с головой.  
Спорыш, кислица, яснотка, полынь  
И надо всем этим горняя синь.

Как ты зовёшься, былинка моя?  
Книгу листаю про эти края.  
Дайте немного ещё поживу,  
Всех вас по имени я назову.

\*\*\*

Посидим с тобой немного на поваленной берёзе.  
Он нам дан – покой душевный, но в ничтожно малой дозе.  
Но спасибо и на этом. Но спасибо и на этом.  
Поражает лес осенний золотисто-алым цветом.  
Сколько можно поражаться? Всё давно уж не в новинку.  
Лист слетевший, покружившись, осторожно лёг на спинку.  
Поглядим же друг на друга ты да я, да лист опавший.  
На поваленной берёзе отдохнём душой уставшей.

\*\*\*

И плыли утки по воде,  
И плыли утки,  
Играл осенний тонкий луч  
На серой грудке,  
Играли блики на воде,  
И листья плыли,  
И мы, присевши у воды,  
Себя забыли.  
И мы забыли и себя  
И время суток,  
И только видели листву  
И серых уток,  
И всё кружило и текло,  
Дул слабый ветер,  
И было тихо и тепло  
На белом свете.

\*\*\*

Нас Бог послал сюда любить,  
Дыханье близкое ловить.  
Нас Бог послал сюда влюбляться  
В леса, что скоро оголятся,  
В недостигаемость небес,  
В летящий мне наперерез

Пожухлый лист на пёстром фоне,  
В твои глаза, в твои ладони.

\*\*\*

Только будьте со мною, родные мои.  
Только будьте со мною.  
Пусть стоят эти зимние, зимние дни  
Белоснежной стеною.

Приходите домой и гремите ключом  
Или в дверь позвоните,  
И со мной говорите не знаю о чём,  
Обо всём говорите.

Ну хотя бы о том, что сегодня метёт  
Да и солнце не греет  
И о том, что зимой время быстро идёт  
И уже вечереет.

\*\*\*

А ещё я забыла сказать,  
Что свободно могу осязать  
То мгновенье, которое будет,  
Луч, который нас завтра разбудит,  
День, который ещё не настал,  
Дождь, который давно перестал,  
Весть, что в окна вот-вот постучится,  
И беду, что не скоро случится.

\*\*\*

Франциск с овечкой говорит,  
Молитву тихую творит.  
Он дышит воздухом прозрачным  
И говорит с цветком невзрачным,  
Шепча: «Господь тебя храни».  
Текут его земные дни,  
Молитва длится, длится, длится,  
И горлинка на грудь садится.

\*\*\*

А мир творится и творится,

И день, готовый испариться,  
Добавил ветра и огня.  
И вот уж залетела птица  
В пределы будущего дня.

И не кончается творенье,  
Как не кончается паренье  
Полётом одержимых птиц,  
И что ни утро – озаренье  
Подъятых к небу светлых лиц.

\*\*\*

На облако белое, как молоко,  
Прищурясь взгляну и вздохну глубоко.  
Так пахнет апрелем и льдистой водой,  
И призрачным счастьем, и близкой бедой.  
Живу, заклиная: «О если бы мог,  
О если бы мог ТЫ» и в горле комок.

\*\*\*

С чем проснулась? С печалью, с печалью.  
День манил ослепительной далью,  
Той, которой для смертного нет,  
И слепил этот божеский свет,  
Свет несбыточный, свет небывалый,  
Переменчивый, розовый, алый –  
Золотые на синем мазки –  
Цвет тревоги моей и тоски.

\*\*\*

Дитя лежит в своей коляске.  
Ему не вырасти без ласки,  
Без млечной тоненькой струи.  
О Господи, дела твои.

Тугое новенькое тельце  
Младенца, странника, пришельца,  
Который смотрит в облака,  
На землю не ступив пока.

\*\*\*

Птичье горлышко неутомимое.

Начинается время любимое.  
Растянуть бы его, растянуть,  
В шелковистой траве утонуть,  
В сарафане со спущенным плечиком  
Прикорнув меж жуком и кузнечиком.

\*\*\*

Здесь расстанутся навсегда.  
Отсюда навсегда уходят  
И даже тень свою уводят.  
Темна стигийская вода.

А речка здешняя блестит,  
И здешний день до ночи светел.  
...И чей уход Господь наметил?  
О ком душа Его грустит?

\*\*\*

Так осенью пахнет, и тучи так низко,  
И даль так туманна, и слёзы так близко.  
Кого мне окликнуть? Куда мне податься?  
О чём говорить, чтобы не разрыдаться?

\*\*\*

Остаётся лишь самая малость:  
К близким душам и нежность и жалость.  
Дни проходят в заботах о них –  
О любимых моих, дорогих.  
Пусть земля терпеливо их держит,  
Пусть им свет нетускнеющий брезжит.  
Пусть они до скончания дней  
Будут живы молитвой моей.

\*\*\*

А взглянув, я обомлела.  
Слева небо так алело,  
Слева так горел закат,  
Что сияли луг и сад,  
Даже жизнь моя сияла.  
Поражённая стояла,  
Глядя – козырьком ладонь –

На бушующий огонь.

\*\*\*

Вы меня слышите там, вдалеке?  
Видите, к вам я иду налегке.  
Видите, к вам я всё ближе и ближе.  
Пёс мой покойный мне руки оближет.  
Он не навеки – земной этот кров.  
Встретимся с вами без слёз и без слов.  
Все мы, с земного сошедшие круга,  
Просто затихнем в объятьях друг друга.

\*\*\*

Кусочек синевы в окне.  
Кусочек вечности во мне.  
В моём саду кусочек рая.  
И всё это живёт, играя,  
Переливаясь и светясь,  
Друг с другом не теряя связь.

\*\*\*

А птичка так близко летает.  
На пищу надежду питает.  
А мы – дураки дураками –  
Явились с пустыми руками.  
Ни зёрен у нас, ни краюшки.  
Мы сами, подобно пичужке,  
Блуждаем с утра и до ночи  
До зёрнышек сладких охочи.

\*\*\*

Старушка ходит не спеша.  
Бог весть в чём держится душа.  
Вот постояла у кормушки  
И, положив кусочек сушки  
В кормушку, дальше побрела.  
Коль спросишь, как её дела,  
Она ответит: «Понемногу.  
Живу, гуляю слава Богу».  
Её жильё – казённый дом.

Чем бедный человек ведом?  
Чем жив он – престарелый, хворый?  
Готовится ли к смерти скорой  
Или не думает о ней?  
Среди рябиновых огней  
Старушка ходит, напевая,  
Как мало кто из нас живая.

\*\*\*

А соловей, влетевший в сад,  
Поёт так дивно.  
Гляди вперёд. Глядеть назад  
Бесперспективно.

Белым бело. И темноты  
Почти что нету.  
Придёт зима и будешь ты  
Скучать по лету.

Ну а сегодня рай земной  
И завтра тоже.  
Сирень стоит живой стеной,  
Её тревожа,

Несильный дождик шелестит,  
Листвой играя,  
И никогда не улетит  
Душа из рая.

\*\*\*

Жить в краю этом хмуром,  
в Евразии сумрачной трудно.  
Всё же есть здесь и радости.  
И у меня их немало.  
Например, здесь рябина пылала  
по осени чудно.  
Например, я тебя, мой родной,  
по утру обнимала.  
Сыновей напоила я чаем  
со сдобным печеньем.  
А когда уходили,

махала им вслед из окошка.  
Нынче день отличался  
каким-то особым свеченьем.  
Разве есть на земле  
неприметная мелкая сошка?  
Что ни особь, то чудо и дар,  
и судьба, и явление.  
Разве может такое  
простой домовиной кончатся?  
После жизни земной  
обязательно ждёт нас продленье,  
Да и здесь на земле  
неземное способно случаться.

\*\*\*

При жизни разве умирают?  
При жизни моются, стирают,  
Целуются, растят детей,  
Едят. Да мало ли затей?  
При жизни разве умирают?  
Младенцем в кубики играют,  
Юнцом несут прекрасный бред.  
Покуда живы смерти нет.

\*\*\*

Хоть верится слабо в счастливый конец,  
Но каждый в душе – желторотый птенец  
И ждёт ни войны, ни болезни, ни шторма,  
А чьей-то опеки и сладкого корма.

И даже поживший, усталый, седой  
Он верит, что он под счастливой звездой  
Родился и дальше не смертные муки,  
А чьи-то большие и тёплые руки.

\*\*\*

Если нет Тебя, Боже Ты мой,  
Значит надо справляться самой.  
Только как с этой жизнью справляться?  
В чьих ногах днём и ночью валяться?

И кого со слезами просить  
Раньше времени свет не гасить,  
Ровно льющийся, тихий, небесный,  
Освещающий путь этот крестный?

\*\*\*

Малютка-кузнечик стрекочет.  
Чего-то он, видимо, хочет.  
Я тоже чего-то хочу:  
Стихи на бумаге строчу.

И что нам с кузнечиком надо  
От этого тихого сада,  
От этих ажурных теней,  
От этих стремительных дней?

\*\*\*

«Как дела?», – меня спросили.  
Говорю: «Траву скосили.  
Август яблок надарил.  
Сын варенье наварил.  
Ароматнее варенья  
Мир не знал со дня творенья».

\*\*\*

Жизнь моя, порази новизной.  
Стань воздушной, прозрачной, сквозной.  
Порази неожиданной лаской  
И доселе невиданной краской,  
Сотвори из другого ребра,  
Дай мне крылышки из серебра  
И, прошу, не давай мне смириться  
С тем, что я не дитя и не птица.

\*\*\*

*Маме*

Хочу туда, где снишься ты.  
Ведь там сирень – твои цветы.  
Там гости, возгласы, объятия.  
Там ты в каком-то пестром платье

Танцуешь, каблучком стуча,  
И сполз цветастый шелк с плеча.

\*\*\*

Я живу у полустанка.  
Жизнь короткая, как танка,  
Протекает рядом с ним.  
Мы под стук колесный спим,  
Стук колес, гудок надсадный.  
Краткость жизни — факт досадный.  
Потому стараюсь, длю  
Все, что в жизни я люблю.  
Например, беседы эти,  
Чтобы ты и я и дети.

\*\*\*

Не под музыку, нет, а под звон тишины  
И при свете колеблемой снежной стены  
Жизнь идет и идет, на ходу истончаясь.  
День текущий, от прежнего не отличаясь,  
Заманил, закружил меня, посеребрил.  
Ты когда-то о времени мне говорил.  
Говорил мне когда-то, что времени нету,  
И, о сроках забыв, я блуждаю по свету,  
За кружащимся ангелом белым слежу  
И сквозь снежную стену легко прохожу.

\*\*\*

Я правда жила или только помстилось?  
Ворона на ветке сырой примостилась.  
Уселась и каркает так вдохновенно.  
Подумай, как жизнь пролетела мгновенно,  
Как будто она не была, а казалась.  
И что я к вороне, скажи, привязалась?  
Сидела она, а потом улетела,  
А я наблюдать за ней долго хотела.

\*\*\*

Мне больно. Значит я жива,  
И всё царапает — слова,

Молчанье, смех, поступки, взгляды,  
Погоды здешней перепады.

Всё задевает. Больно мне  
В закатном догорать огне.  
Над головой листва и птица  
И больше нечем защититься.

\*\*\*

А сирень – это очень давно.  
Это май и Полянка, и мама.  
Это ветки, что лезут упрямо  
В приоткрытое наше окно.

А сирень – это вечность назад.  
Это грозди, султаны, соцветья,  
Это в горестном прошлом столетье  
Дом снесённый и срубленный сад.

\*\*\*

А живём мы всегда накануне.  
Накануне каникул в июне,  
Часа звёздного, чёрного дня,  
Золотого сухого огня.  
Накануне разлуки и встречи.  
Обними меня крепче за плечи.  
Мне не жить без тепла твоего  
Накануне не знаю чего.

\*\*\*

Я здесь тоже обитаю,  
Но хожу, а не летаю.  
А летают те и те,  
Отдыхая на кусте,  
Лепестках, тычинках, травах.  
Я люблю читать о нравах  
Всех имеющих крыла.  
Может, раньше я была  
Кем-то лёгким и крылатым,  
Светом солнечным объятим,  
Кто умеет жить вдали

От неласковой земли.

\*\*\*

Поющий кустарник, поющая птица.  
День медленно гаснет. Куда торопиться?  
Поющий кустарник жасмина, сирени.  
Сижу, обхвативши руками колени  
И в памяти дни своей жизни листая.  
На пышном кустарнике – певчая стая.  
И песня звонка, а когда затихает  
Становится слышно, как ангел вздыхает.

\*\*\*

Повернулась земля на незримой оси.  
Тихий дождь моросит. Мороси, мороси.  
Мне с тобой веселей. Ты ведь мой собеседник  
Да к тому ж между мною и небом посредник.

\*\*\*

Что Ты! С нами так нельзя:  
Слишком путана стезя,  
Ночь глуха, бессрочны зимы.  
Знаешь, как мы уязвимы,  
Знаешь, как боимся тьмы,  
Знаешь, как ранимы мы,  
Как нежны они и хрупки –  
Наши бедные скорлупки.

\*\*\*

Когда я только начинала,  
Я доставала из пенала  
То ластик, то карандаши  
И рисовала для души  
Кружок оранжевый с лучами,  
Тогда летала я ночами,  
Любила всё – и дом, и двор,  
И покосившийся забор,  
Своих чахоточных соседей,  
И Юрку на велосипеде,  
И даже Деську – злого пса,

И надо мною небеса  
Всё время были голубыми,  
И, Боже, как жилось под ними!

\*\*\*

Нынче ранняя побудка:  
Птичка – розовая грудка  
На балконе у меня.  
Таково начало дня.  
Очень славное начало.  
Я лежала и молчала,  
Чтобы птичку не спугнуть.  
Надо в новый день шагнуть.  
Но зачем – я не решила,  
Потому и не спешила.

\*\*\*

Здесь мостик над речкой  
дощатый и узкий,  
Здесь даже трава  
понимает по-русски.  
Здесь так хорошо обо всём  
говорить  
И в поле заросшем тропинку  
торить,  
И, кажется, могут  
и травы, и речка,  
Едва я запнусь,  
подсказать мне словечко.

\*\*\*

Заслони меня, облако, дерево, куст.  
Всё пугает – и окрик,  
и шорох, и хруст.  
И средь белого дня,  
и ночами тревожно,  
Но на этой земле  
жить нельзя осторожно.  
И смертельно рискую  
раз двести на дню,

Но тебя, мой родной,  
я сама заслону.

\*\*\*

А небо тоже одиноко.  
Оно, живя от нас далёко,  
Тоскует так, что хоть кричи,  
И тянет к нам свои лучи.

\*\*\*

Я всё о себе, а ведь надо о мире,  
И видеть бы надо и дальше и шире.  
Но что тут поделаешь? Нет у меня  
Такого охвата, такого огня,  
Могучего голоса, дерзостной мощи.  
Я всё о соседней изменчивой роще,  
О том, как живу,  
своих близких любя.  
А вдруг кто-то дальний  
узнает себя.

\*\*\*

Кто придумал бересклет?  
Он стоит здесь много лет,  
Никуда не улетает,  
То цветёт, то отцветает.  
Я знакома с ним давно,  
Но люблюсь всё равно.  
Рад и он коротким встречам.  
Подтвердить мне это нечем

\*\*\*

Что я делаю? Что? Ухожу.  
Даже если сижу и лежу,  
Даже если домой возвращаюсь,  
Все равно ухожу и прощаюсь  
И проститься никак не могу.  
Я люблю этот город в снегу,  
Просишь в небе, окошко родное,  
Что-то горнее, что-то земное.

\*\*\*

Чуть-чуть пишу, чуть-чуть читаю,  
Но больше все-таки летаю.  
Летаю я куда хочу:  
То в день грядущий залечу,  
То залечу я в день давнишний,  
Где сад был с яблоней и вишней,  
Где детям было мало лет.  
Ей-богу, мне прощенья нет —  
Ведь небо нынче так лучилось,  
А я вот снова отлучилась.

\*\*\*

В постылых роюсь словесах  
С упрямством мула.  
Уж лучше б в чистых небесах  
Я потонула,  
Иль, глядя, как летит искрясь  
Снег на дорогу,  
«Нет слов», – сказала бы дивясь,  
«Нет слов, ей-богу».

\*\*\*

Все чисто, тихо, гармонично.  
Я убедилась в этом лично.  
Тихи снега и облака.  
Не поднимается рука  
Писать об этом мире плохо.  
Какая б ни была эпоха,  
Но плакаться в такие дни  
И ночи – Боже сохрани.

\*\*\*

Этот солнечный весёлый сквознячок  
Я прогульщица сегодня, я – сачок  
Талый снег и звонкий щебет на дворе  
Мама снова моет раму в букваре  
Всё сначала, всё сначала, всё с азав,  
Свод небесный нестерпимо бирюзов,  
И весна, что так лучиста и влажна  
Как младенческое темечко нежна.

\*\*\*

Зима – на земле, а на небе – весна.  
Земля не восстала ещё ото сна.  
Куда ни шагни – всюду пышная сдоба,  
Глазурная сдоба большого сугроба.  
А там, наверху – бирюза, бирюза,  
Лазурь, бирюза. Дай прикрою глаза.

\*\*\*

А главное, чтоб мы любили  
Родных и близких, чтоб ловили  
Их каждый взгляд и каждый вздох.  
Не смена всяческих эпох  
Важна, а то, как руку гладим  
Родную, как с родными ладим.

\*\*\*

День на руках меня носил  
И о любви меня просил,  
Морочил дивными речами  
И щеку щекотал лучами,  
И я, любя тепло и свет,  
Какой-то вздор несла в ответ.

\*\*\*

Да не старею я, а таю  
На вешнем солнце. Птичьё стаю  
Влюбленным взглядом провожу.  
Пусть я медленно хожу,  
Зато я вижу все подробно,  
К апрельским дням дышу не ровно.  
Люблю окрестности и даль,  
И льдинки тающей хрусталь,  
И снега серого остатки,  
И этот воздух горький, сладкий.

\*\*\*

Землю снова осветили  
И слегка позолотили.  
Осветив земное дно,

Осветили заодно  
И меня. А я и рада.  
Только это мне и надо,  
Чтобы много дней и лет  
Появлялась я на свет.



# Лада Пузыревская

## Гуттаперчевая страна

### Рулетка

блажь дорожная – ближе, ближе прочерк вилами на воде  
бог не дожил – так те, что иже, власть затеяли новодел  
на раскопках, граненных градом, собираешь руками дым –  
был бы гопник, а будешь гадом вечно пьяным и молодым  
коль вменяют менялам влипших на просроченной лебеде  
не вменяемых нас, но лишних на задворках чужих нигде –

там, где августа бисер меткий сыпан в чрево черновика  
где от дверцы открытой клетки ключ потерян, наверняка  
там никто никогда не ропщет – глухо, немо, живи слепым  
и прощать, и прощаться проще чаще осенью, был бы пыл  
будет пепел – горючий, едкий – этот дольше, чем на века  
ролевая игра – рулетка, блажь привыкших не привыкать

к полумерам и полустанкам – не остыть бы, устав стенать  
ты опять заблудился, сталкер – там, за зоной, еще стена  
там, где классики рефлексии чертят классики на песках  
и не прыгают – ты спроси их, кем приказано не впускать  
уцелевших во сне покатом, уцепившись – к спине спина  
глянь, как стойко молчит под катом гуттаперчевая страна

### Блюз до востребования

хлещет сквозь пальцы черное молоко  
ночь уползает прочь, не испачкав губ  
вечер не вещей, если убит – сам глуп

спи, если сможешь – это не так легко  
каркает ворон – вон он, карай, карай  
вольному воля, слышишь – не умирай

плавленный морок, давленный виноград  
вправленный ветер вымарал все шаги  
тактика в такт, не в атаку ли там враги

это на нас так страстно натаскан град  
вести с полей – мол, согнуты, как лоза  
шельмой немеченой мечет и рвет гроза

сотую вечность пристально нас пасут  
пастыри бродят с бредней наперевес  
травка не забирает – тем дальше в лес

знать виноделов не отдадут – под суд  
рвешь на бинты который по счету стяг  
молча ревешь, а капли свистят-свистят

барин не едет, кто же найдет наш кляп  
каменный гость в безбашенном шапито  
гулкой сквозняк, крепчающий шепоток

брешь в небесах и только не надо клятв  
хлопать холопам нечем – ни рук, ни ног  
многие днесь проснулись, да ты не смог.

## **Не бойся**

*маме*

### **1.**

Какая роскошная выпала городу слякоть –  
козырная карта каталы-июня, не смейся...  
И можно брести, подставляясь, а можно – ни с места,  
да сложно плести кружева междометий – не зря хоть  
учились плетению, ветки ломая в обиде  
на гибкую стойкость, здесь дождь и никто не увидит,  
как вводят подкожно науку не плакать... Не плакать!..

С каким исступлением вновь приручали шторма мы,  
но, в ересь впадая по чётным, не врут по нечётным  
умельцы, сверставшие город по чёрному – чёрным,  
сплошные пробелы про белых, а клетки – как шрамы  
размытых фигур на игральных просроченных досках  
пустых площадей, где, помечены в списках и сносках,  
всё рвали цветы – от холма до холма мы... Для мамы.

Так много упорно похожих, иные – далече,  
прикормят прохожих витрины несходством опасным,

всё тот же скрипач в переходах к часовне на Красном играет бессонницу – вот мы её и долечим до самой бесстрашной из верхних, несорванной ноты, до пристальной рани, до грани, где всё равно – кто ты, где хочется верить – хоть в чет или нечет... Да нечем.

## 2.

Ты плачешь, ты снова боишься грозы – отзвонили по нам, как отпели, капли по-капельно – дескать, не стоит скитаться по сказкам беспечного детства, а ты и не вспомнишь, как смешивать запах ванили, дождя или снега – с улыбкой, безудержно-дерзкой, как снится при свете – как дети. Дай руку мне, или

сомкнётся волной прихотливой бездонная полночь, накроет рассветом солёным – и нет больше права учить не пришедших за нами размашисто плавать, буйки огибая, не звать нелюбимых на помощь, но стойко не видеть, как в воду стекает отравы не сказанных вовремя слов. Мы умели, ты помнишь?..

У моря Обского, где выбравшись на берег, рыбы молчат неустанно на странном забытом наречье, где сколотых звезд отражения – ближе и резче гримас амальгамы, спявшей судьбы перегибы, – ты ищешь потерянный город, а время не лечит. Да если бы знать нам в лицо наши сны. Берегли бы.

## 3.

Пусть завтрашний сумрак зальёт корабельные ели по самые мачты, пусть птицы весной не вернулись, пусть память пытаются здесь эхом растерянных улиц и смехом ушедших по ним в тридесятые мели – туда, где подметный рассвет неприкаянным зверем задумчиво тонет, пусть шепчутся тени – не верь им.

А кто нас отправил из детства в трофейной корзине, совсем по-кундеровски лёгких, по рекам сибирским в далёкие дали?.. Попробуй теперь, доберись к ним – ни карты, ни вёсел. Ни зги. И – проси, не проси, не проснёшься в плену, а маяк не выводит фантомный,

и не с кого спрашивать страшное – где мы и кто мы.

И всё возвращается в осень, по-прежнему – в осень  
впадают, кислотным дождём захлебнувшись, июли –  
ты прячешь глаза, ты не веришь, что нас обманули  
шалльные ветра, сны и листья, швырнувшие оземь –  
мы снимся друг другу, заложники Кафки и Джойса.  
Спи, мы ни за что не проснёмся, не бойся. Не бойся.

### **Памяти хакера**

Тем, чей сорванный голос тут держится лишь на гвоздях,  
нет нужды повторять, как настырно сентябрь высокосен,  
нам на стылых ступенях не выстоять – сказочник Росси  
не напрасно подмешивал в краски балтийский сквозняк,  
и в последнюю осень

разом сбудутся сны – их не спрятать, их не придержать  
вплоть до лучших племён – водянистого времени знаки,  
верно, в сказках фанерных финал испокон – цвета хаки,  
не по нервам – винил, но в винительных бдит падежах  
обесклавленный хакер.

Словом, кража со взломом, да словно не лезет в карман  
сумма сумрачных нот: “not to be“, не труби, не пролазит  
за подмётную медь – не пристать нам, зараза к заразе –  
ни к своим берегам, ни к чужим – проще сдать задарма  
сон, прицельный, как лазер.

Трубадуришь в ночи – мол, молчи, вдруг за нами придут,  
да никто ни за кем не приходит – неверный, но признак,  
что не стоит оваций – ховаться, сквозь мутную призму  
вид – не дальше забора, где сдан предпоследний редут,  
спи, мой пристальный призрак.

Что ты смотришь, как гамма-лучи чью-то ночь бороздят,  
преломляясь беспечно в кристальных надежд купоросе,  
здесь никто так давно не боится не верить – кто просит  
рваться голос охрипший, что держит на ржавых гвоздях,  
как последнюю – осень?..

## Метаастазы

### 1.

Безучастный пейзаж – ноябрь,  
окна с видом на урожай  
междометий – прости, но я бы  
не дала за них ни гроша.  
И раз нечем, не угрожай –  
время в коме, небесный комик,  
на задворках чумных гоморр –  
путь, намоленный до оскомин.

Поллюбуйся же, как исполнен  
твой завистливый приговор.

### 2.

Крест, притянутый пуповиной  
к багровеющим полюсам –  
кто добрédит сюда с повинной  
по долам к тебе, по лесам?..  
Нет, ни стражи, ни мавзолея  
иже с ними не навалял –  
пусть по щиколотку в золе я,  
это, ангел мой, снова я.  
Снова детских надежд редуты  
сдали, каюсь: не уследил.  
Угадать бы – в каком ряду ты  
среди этих чужих светил?..  
Рикошетят во тьме кромешной  
искромётные муляжи –  
что не мы их зажгли, конечно,  
не скажу никому. Лежи.

### 3.

Взмок в смятении журавлином  
медноглазый седой ландшафт –  
кто б ты ни был там – ну, соври нам,  
что закончилось время жать,  
и не страшно почти не больно  
путь в спасительный каземат  
пусть осилит почти любой, но

если будет легка зима  
от щедрот, да дотянет карму  
всуе списанных в дождь вояк.

Будь ты проклят, успевший каркнуть.  
Не твоя она, не твоя.

#### 4.

Нет надежды, так отпусти ты  
не во благо, так хоть во зло –  
на ладошках застывших – титры  
вместо линий, за слоем слой.  
Свет заточен на поражение,  
слепнет эхо в колоколах,  
ворох скомканных отражений  
в обесточенных зеркалах.  
И накрывшийся медным тазом  
город выморочных вождей  
грязнет в истовых метастазах  
безысходных своих дождей.  
Сколько плазму не береги, но  
по морозу ли, по жаре  
жгут рассветы здесь все едино  
цвета свежего божоле.  
Хоть теперь её – пожалей?..

### Приснился мне город

Здесь всё не случайно и всё – уже,  
здесь музыка сбилась на вираже,  
чем крепче и слаще яды, тем сны нежней –  
для каждого спящего свой Коринф,  
истоптанный берег невольных рифм,  
поверишь к утру – не тлеет ещё, горим.  
Но тень, как ни гни, попадает в кадр,  
подстрочник молитвы дождю не в такт,  
и снится привыкшим падать лицом в закат  
блистательный город чужих костров,  
где всякий нальёт нам за пару строк,

да будь он хотя бы пьян и не слишком строг.  
Все птицы вернулись, куда ж ясней,  
не каждый аккорд приведёт к весне,  
и ты ни в одно из окон не выйдешь с ней –  
чем сны беспробудней, тем слаще яд,  
смотри, не сотри между делом взгляд,  
который не снится пятую жизнь подряд.

Враз гончие псы сорвались с цепей,  
не хочешь проснуться – тогда не пей  
полынную смесь ветров из чужих степей,  
шаги не считай по чужим псалмам,  
в потёмках чужих за углом – тюрьма,  
здесь под руки много смелых свели с ума.  
Где замок посажен – взойдёт острог,  
хоть как поливай, но всему свой срок,  
знать, нужен садовник саду, а не пророк –  
пусть кто-то пасует звезду, как мяч,  
но ветер под вечер, и плачь, не плачь –  
здесь слово на вырост, каждому свой палач.  
Все птицы вернулись – чего хотеть,  
глазами, пристрастными к темноте,  
сличаешь по форме крыльев, не те, не те,  
но ловишь на взлёте звенящий звук –  
бликуй, не рискуй выпускать из рук –  
который не снится пятую жизнь, а вдруг.

### Танцы на плацу

#### I.

Поправив звёзды, рухнувшие ниц,  
раскинув над вселенной руки-реки,  
Бог растерялся – странные калеки  
украдкой смотрят в небо из бойниц  
закрытых окон. Страшно, человеки?  
На славу, видно, роковых яиц  
восстав из пепла, Феникс снёс. Вовеки  
не угадать, кто нищий тут, кто – принц.  
Все преуспели в танцах на плацу –  
нет слуха, но хотя бы – чувство ритма.

И пусть разит торговлей их молитва,  
пусть им везёт, как в карты – подлецу,  
всё – до поры... По воинам – и битва.  
Всё – до поры... Но каково – Творцу?

## II.

Достанет Бог надежды из петлиц –  
«Я их дарил на память разве?.. Но  
в любой цепи есть слабое звено –  
и это – ты... Подобных мастериц  
в искусстве нарушения границ  
я не встречал уже давным-давно».  
...Полусухая полночь, как вино,  
затопит мой родной Аустерлиц –  
холодный город вечных сквозняков,  
где русские дороги – смерть подвеске,  
где вечны на заборах, словно фрески,  
послания потомкам – дураков –  
о том, что мир, подвешенный на леске,  
войны не лучше – без обиняков.

## III.

И усмехнётся, не смывая грима,  
но временно сменив репертуар,  
из подворотни беженец-Икар:  
«Да не умрёшь ты, не увидев Рима  
и город на воде - туда, вестимо,  
ведёт и этот грязный тротуар,  
и все пути-дороги, но в разгар  
сезона не ходи – неумолимо,  
проступит из воды Армагеддон  
сквозь мусор переполненных каналов,  
Рим сам своих не вспомнит идеалов,  
а колокол Сан-Марко сменит тон  
с молитвы - на набат... И Рима – мало.  
Рим Риму рознь, как песне – обертон...»

*«...Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон – осьминог.  
Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца.  
Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок...»*  
© Иосиф Бродский «Новый Жюль Верн»

#### IV.

Венеция... Сон, набранный курсивом –  
затем, чтобы запомниться, наверно...  
И жизнь, и смерть, до жути соразмерны,  
застыли в реверансе терпеливом,  
и мир глядит на танец суеверно  
в безумии своём благочестивом.  
Течет вода скупым речитативом  
туда, где автор «Нового Жюль Верна»  
всё так же ищет капитана Немо...  
Или – не ищет? Нас у Бога много,  
потерянных впотьмах у осьминога,  
и по воде протоптана дорога  
на остров мёртвых, там Иосиф. Где – мы?  
Никто не ищет нас. Все ищут Бога.

#### V.

А под водой идёт на дно незримо  
блистательная вечности тоска –  
так смутное предчувствие виска  
становится подчас неумолимо.  
Не оглянувшись, проплывают  
туда, где сны сбываются пока,  
к рассвету, где – пока – мы исцелимы.  
И Лета тоже, стало быть, река,  
раз дважды не... А что здесь не случайно?  
Наш выбор между вискасом и кофе?  
Асфальт сродни истоптанной Голгофе,  
когда смотреть на нас издалека  
и исподлобья... Остальное – тайна.

### **Он найдет тебя сам**

Занавесишь полнеба по осени – и вперед,  
год за годом кочуем, Господи – каковы!..

Раз ни пуля, ни ты, никто таких не берёт –  
надо падать самим, а всюду чужой ковыль,

августейшая степь, а выпадет снег – каюк,  
все дороги не к дому, соломы не подстели,  
истекают крыла – куда там, как все, на юг –  
то не воск уже, а просроченный пластилин.

Занавесишь полнеба по осени – всё, завис,  
ни в каких зеркалах на зависть не отразим –  
не молись на ветру, не плачь и не отзовись.  
Он найдет тебя сам – хоть чем ты ему грози.

То ли ямы воздушные, копи земных пустот,  
всё растут и растут под дождичек навесной,  
то ли я всё слабее?..

Кто знает ответ, пусть тот  
и ответит за всех, не блещущих новизной

отшлифованных перьев. А осень не такова –  
вмиг обтреплет по канту всякий императив,  
но не станешь же в трубы медные токовать?..  
И назад не вернёшься, полполя перекатив.

### **Коли выюга**

#### **1.**

Настоявшись на гулком перроне не вещей табу,  
распиная по ходу следы на заезженных рельсах,  
подгоняет сквозняк бестолковых метафор табун  
до конечной, где падают звёзды, срывая резьбу,  
где подземное заперто эхо. И как ты ни целься –

попадёшь в переплёт, креозотом пропитаны дни,  
стволовым серебром поимённо расписаны пули –  
мы обучены в голос молчать посреди трескотни  
беззастенчивых судеб чужих – не бликуют огни  
семафоров, ликуют пустые табло. Но – толпу ли

удивить ты пытался, маэстро подземных молитв,  
прижимая бездарные сны поутру к турникетам?..

эсперанто потока, бездомный мой космополит –  
гуттаперчевый бог тишины втихомолку смолит  
трубку мира кумира тоскливо. Но дело не в этом.

## 2.

Петроград-вертоград, память вечно текущего льда –  
пусть крепчает, дичая, дрейфующих снов калиюга,  
пусть не всходит на Марсовом поле надежд лебеда,  
пусть до талого паузу держит вода – не беда.

И свисти, не свисти, а мосты не свести, коли вьюга.

Незадачливый март тянет время за невский рукав –  
обернёшься, ан – нет никого, это сказка нон-грата,  
это город прицельных дождей, и лукавь, не лукавь,  
депортируя птиц из далёкого их далека,  
но в свинцовое небо впадает не твой эскалатор.

Коли некуда плыть – нечем крыть, умирающий снег  
собирают слинявшие с белых холстов херувимы –  
залатать бы колодцы твои, скоротать путь к весне,  
но нестойки слова, даже те, что под занавес – не  
бесконечны. И только отдельные – непоправимы.

## 3.

Здесь такая сибирь выпадает порой на заре,  
что хоть смейся, хоть точные рифмы цеди от досады,  
всё едино – Всевышний с краплёных пойдёт козырей,  
разменяет у джокеров сдавших поля косарей  
и расставит посты по периметру Летнего сада.

Не придешь со щитом – на щите благовесть донесут  
до хмельных часовых нашей вечно неполной колоды  
и тогда не спасёт междометий скупых самосуд  
от горячечных снов наяву, на весу, да не суть –  
этот город и сам словно сон, только больно холодный.

И пускай хоть атланты чугунными лягут костями  
поперёк мостовых – всё едино – all souls for sale –  
здесь такой мегаполис прополешь с восьми до восьми,  
что уже не взойти, хоть какой троп ли, трап ли возьми.  
Слышишь, сеятель вечного-млечного?.. Жни, что посеял.

## Летальное

Мы грустные клоуны, ставшие стражей опилок,  
впитавших летальную летопись, крытую цинком,  
мы – те, кто молился на купол и ставил стропила,  
кто мог бы полжизни сидеть на развалинах цирка,

просеивать пепел, разбрасывать бисер, смеяться  
в закат без причины невольно от воли кромешной,  
остаться на пепле – не в том ли призванье паяца,  
и мы бы остались, пускай ненадолго – но спешно

в намеченном месте, не вместо, а вместе – с водою,  
никем не замеченных, запросто выплеснешь нас ты,  
наш бог гуттаперчевый, звери под плётками взвоят,  
взлетят под мерцающий купол хмельные гимнасты.

Мы грустные клоуны, впавшие к вечеру в пафос –  
взыскательным взглядом поддерживать гибкие тени  
икаров, доверчивых к зрителям, греющим пакость  
за паухой в банке троянской, пусть снова не с теми

вчера разводили мы пристальных фраз брудершафты –  
привычно-неверным ни фразам, ни снам, ни рукам, ни  
неистовым клятвам – им что: будет день – будет жатва,  
тогда и посмотрим, кто дальше разбрасывал камни

в ликующий зал – только восемь кульбитов до смерти  
осталось упавшему вверх – просто сверьтесь с афишей,  
но глянь – не сдаётся, всё верит, всё вертится, вертит  
свои пируэты... Ты где там, роняющий свыше?..

## Неполный дзен

### 1.

знаешь эту игру?.. бой без правил вполне  
в мандариновый рай вслед зеленой волне  
птицеловом с игрушечной птичкой  
под аккорды курантов – банзай, началось!..  
будто впрямь благодать снизошла на чело  
отплываешь, как манной ни пичкай

раз такой хоровод - каждый год новый год  
но судьба все бледней, как умывшийся гот  
макияж не к лицу старожилу  
вновь подствольные речи с оттягом бодрят  
ты покорно трезвеешь – три жизни подряд  
не искристые вина не в жилу

**2.**

но сквозь дымное время бенгальских комет  
год за годом post christmas приходит ко мне  
неизбежно впотьмах обнимая  
нежный варвар январь, собиратель камней  
на которых взойдет – ни ветвей, ни корней  
ночь-отшельница глухонемая

расцветет трын-трава – первоцвет конопли  
здесь садовник воды неживой – кропотлив  
и струится свинец в водостоках  
в млечный путь, раз реке не нужны корабли  
пусть любой фейерверк завершается «пли!»  
но мишень не скрывает восторга

да застигнет стрелков эта новость врасплох  
правда здесь не твоя – веселись, скоморох  
выводи из себя, как по нотам  
клин крикливых сорок – да достанет морок  
у смотрящих, как сыплется звездный горох  
в этот сумрак богов или что там

**3.**

как нарочно – Аврора застряла во льдах  
за периметром ночи – охрипший Валдай  
но весна поднимает забрало  
и сливает по венам свой вспененный яд  
беспросветных надежд, а глазища горят  
словно прежде и не умирала

да скрижали скрипят, снова не ко двору  
приходил–не пришелся им птиц-говорун  
благвестник чумы в балагане  
предпоследние гуси впотьмах – косяком

бредят ангелы – прямо на льду, босиком  
побратавшись с чужими богами

**4.**

знать, не знают маршрута – ни эти, ни те  
вьется исподволь беглых следов канитель  
белый свет беленой обметало  
пусть созвездия сходят повзводно с орбит  
и шипит в первых лужах последний сорбит  
и у воздуха привкус металла

словно на посошок, ночь прицельно нежна  
звезды падают ниц, но лишь выглянешь на –  
слепнут окна, не запотевая  
в срок не в строчку утробно трубят поезда  
вон – скатилась, подробно бликуя, звезда  
не путёвая, знать – путевая

все не в лад, невпопад, ни с собой не в ладу  
за кульбитом – кульбит, кружишь на поводу  
полагаясь на свист серебристый  
все одно, погоришь – хоть в раю, хоть в аду  
только ты не заплачь, все мы – тени на льду  
все мы – ангелы-эквилибристы

**мы – будем!..**

Тебя не узнать невозможно –  
по вздоху, по взмаху,  
мятежному взмаху – держись!..  
– плавников...  
Или крыльев?..

Так падают в небо,  
так сны провожают на плаху,  
так в ночь отпускают  
бесстрашную певчую птаху,  
так шепчут в бреду предрассветном:  
мы – были!..

Мы были  
податливей и безмятежней – как глина.  
миренней.

Швыряли горстями слова и надежды,  
что бисер –  
известно куда...  
Собирали, сдирая колени  
подводные камни  
в любви утонувших прозрений.  
Мы были мудрее –  
не ждали ни песен, ни писем  
от канувших за амальгаму нестойких видений.  
На дне – преломляется свет.  
И на тысячу радуг  
могло бы хватить нам с тобой...  
Не устав от падений –  
не выплыть, не вынырнуть и  
от настойчивой тени  
не скрыться –  
от наших вчера, выгребающих рядом.  
Не стоит подмётных желаний,  
моя золотая,  
наш дом из стекла,  
за которым – уснувшие люди.  
Что лёд, что вода – всё едино,  
согреешь – растает.  
И всё возвращается в море,  
волной прорастая  
сквозь илистый сумрак сомнений,  
сквозь шепот:  
мы – будем...

### Канитель

*Л. Барановскому*

1.  
пространная дышит на ладан  
страна под амбарным замком  
но ты улыбнёшься – да ладно  
с ней не понаслышке знаком  
да лишь бы хватило таланта  
и было при жизни – по ком  
  
капель рецидивом чревата

к заутрене вынь да положи  
врача, чья несладкая вата  
укутает улицы сплошь

а лучше – поставь запятую  
стремясь не в строку потакать  
и я что есть сил забинтую  
в солёные сны эстакад

и осень, чья песня холопья  
и город без лишних хлопот –  
снижаются снежные хлопья  
сгущается время из-под

небесной ладони повстанца  
поровшего в прошлом порой  
заветную ересь – останься  
снег может быть тоже пароль

## 2.

дано: километр 101-й  
плюс беглых следов кружева  
швыряет хрустальные перлы  
звонарь, не устав крышевать

заметных на чёрном залётных  
осевших в скупой чернозём –  
вон колокол словно зовёт их  
поставивших щедро на всё

в отказ не ушедших, покуда  
полна перезвонов казна  
да бьётся на счастье посуда –  
не дольше, а дальше как знать

грести ли по тёмным аллеям  
где прочерк, просрочен, висит  
не `по беспределу болея –  
судьбой заплатив за визит

## 3.

ни царства за то, ни коня им

смотрящий открыл вентиля  
известным макарон гоняет  
по-старому стилю телят

где вусмерть дороги месили  
слетаясь на свет впереди  
сбивались в шалманы месии  
не спрашивай, не береги

где родина в синем платочке  
ни Крыма не сдаст, ни Курил  
ни слишком горячие точки  
в которых не сразу вкурил  
за что между тем отметелит  
устав по слогам донимать  
мы – петли в твоей канители  
небрежная родина-мать

#### 4.

потянет из сумерек волглых  
с вещами на выход – забит  
светило садится за Волхов  
но вновь восстает из Оби

и на спор не скрою восторга  
зардевшимся словом соря –  
надежда приходит с востока  
где, если дословно – заря

где айсберг плывёт наудачу  
под шелест хозяйских сутан  
а здесь – безутешно судачат  
застрявшие в льдинах суда

что альфа – ни зги, ни омега  
на небе без звёзд – не родня  
три года здесь не было снега  
три года + тридцать три дня

печёные сны печенег –  
ни дыма всерьёз, ни огня

вот только кого ни спроси я  
на что белый свет променял  
божатся – здесь тоже Россия  
а стало быть – и про меня.



# Надежда Далецкая

## Стихи

### В коробочке города



коробочке спичечном майский жук

печалится,

Поскребёт по доньшку: мягкий плен у дна.

В этом и отличие, я ему начальница:

Он надеждой тешится, я тоской больна.

Он узорным усиком, он прозрачным крылышком,

Он с названьем солнечным, майским обручён.

Я ему спасением или смертной милостью –

Ангелом-хранителем или палачом.

Ну, лети, лети уже, прожужжал все уши мне:

Жалобой по жёлобу, в раковину слов.

Вот тебя послушаюсь, доберусь до Тушино,

И поеду за́город – городу назло.

В коробочке города, в закуточке случая

Не найти начальников, не связать концов.

То тоска падучая, то доска скрипучая,

То дома высотные – склепы мертвецов.

Влезем в околоточек и себя замучаем.

Гробики панельные, жизни медный грош.

Городские пленники, жертвы невезучести –

Дети мегаполисов, что с таких возьмёшь?

А не то вот выпорхнем! Полетим к излучине

Речки, что за полюшком, к лесу, что вдали.

К золотому солнышку, клеверу пахучему.

Пожужжим! Да вволюшку! Ай, люли, люли!

За стеклом от скорости лишь деревьев колышки,  
Саранча слетается в пляс под фонарём.

На свободе трепетно, мы прочистим горлышко:  
Нажужжимся вволюшку!  
И назад...умрём.

### **Совьи посиделки**

Полночь: ночь на сваях. Перейду. Сова я.  
Я – своя. Мне юный месяц сват и брат.  
Головой кивает гирька часовая,  
Стрелки тихой сапой топчут циферблат.

Воздух головешкой над румяным снегом.  
Задохнуться, что ли? Выбор невелик:  
Из бессонной ночи в серебро побега  
Ближе не бывает – боже ж не велит.

Старые обои кашляют на кухне.  
Новые гардины застыт лунный свет.  
На морозе стёкла от узоров пухнут,  
Тренькают певуче ледяной сонет.

Совьи посиделки. Тени хороводят.  
Танец отражений в топких зеркалах:  
То дупло тоски, то страха половодье  
В вымыслах паучьих да в пустых углах.

Выпрыгнуть бы в люди да в сугроб морфея!  
Телом – в белый омут, в небо – снег столбом!  
А под утро ветром тот сугроб развеет...  
Гололёд горбушкой, лысиной и лбом

В новый день упрётся. Прошиби попробуй.  
Днём сова слепая, днём и нет совы.  
Ночью – одинокость липкая хвороба,  
Ночью – мысли в оба, ночью – память в оба.  
Совьи посиделки.  
Глаз луны-вдовы.

## На грани

Улетают рыбы, уплывают птицы  
Луковым Покровом, лаковым Апрелем.  
На плотях Венеции, на галерах Ниццы  
Кто меня осудит, кто тебя пригреет?

В карнавальном скопе маска Коломбины:  
С локоток интриги, с черепок услуги.  
Пёстрая массовка профилем совиным:  
Сонно и елейно, руки в брюки – слуги.

Но на этой сцене, на щитах победы  
Нет трофеев, флагов, пленников и пленниц.  
Всё на грани фола – победивших нету...  
Всё на грани бури: камни, пепел, тени.

И сорвётся ветер! Понесёт гондолы.  
По воде запляшут праздные витрины,  
Предлагая вдовам плащ для Казановы  
И служанкам бывшим – руку Арлекина.

Птицы немеют, рыбы хором грянут:  
Поздно примиряться и виниться рано.  
Ах ты, совесть, шлюха! Ах, душа, подранок!  
Прячешь, взгляд? Отводишь? Глянцевым болваном,  
Пылью золотою, стеклами Мурано.

## В двух ласках

Он руку мою баюкал в ладонях своих огромных,  
В двух раковинах, в двух ласках, в двух люльках –  
одно дитя.

А дождь по карнизу тюкал воробышком из соломы  
И глазом слезил с опаской: не принято на октябрь,  
На южное побережье, на солнечно жгучий город,  
На тротуар, на помойку с бездомных котов ордой.  
Дождь всхлипывал реже, реже. Недолгими были  
сборы.  
Как в прошлом. На речке Мойке. Под – гуще нельзя! –  
водой.

Прощай! Короче не скажешь. И неотложкиным воем  
Ударит по нервам слово: прощай! Августин, прощай.  
Ах, доля моя, пропажа! Удвою её, утрою,  
Удесятерю. По новой. Для нищих – на щи да чай.  
Отпела осень, поблёлкла. Ах, как он баюкал руку!  
Рождественская открытка. Кураж. Цирковым гвоздём:  
Мне вновь отсыреть от пекла. В жаровнях. В печях  
разлуки.  
Мне высохнуть вновь. До нитки. Под шквальным,  
слепым дождём.

### Свой хомут

Вот вам и дело – поймать журавля:  
Чем не забота? Тем и забава.  
Хлопает створками дом. На полях  
Утром роса лиской, лаской, любовью  
Трётся у ног, мокрым глазом блестит.  
Вытекло лето из кринки по капле.  
В пойме камыш, облетая, свистит.  
Ширмой туман одиночество цапли  
Скрыл. Да и скрыл ли? Водицы шлея  
Ташится к озеру, хлюпая в ямках.  
Крышу на хуторе кроют дядья.  
Их молодухи житейскую ляжку  
Весело тянут: свой груз, свой хомут.  
День обходя по периметру поля,  
Цапля мечты примеряет: не жмут –  
Жмут башмаки журавлиновой доли?  
Стоит ли ждать долговязый закат  
Или мудрее туман спозаранку?  
  
Снизу – болото, пустырь – свысока.  
Стайки синиц теребят за рукав...  
Старый журавль ловит рыбку-бананку...

### Нэцке

За мою слепоту, за невежество мрака,  
Как ты зло снисходителен, как ленно выпрени!  
Поводырь мой учёный, ручная собака,

Прорычи мне с десяток истрёпанных истин.

Я слепою душою и разумом детским  
Потянусь, хрустнув звонко скелетом незнаний.  
Ах, божок мой, редчайший, реликтовый нэцке!  
Как умён ты, мало как моё созиданье!

Вечно точный, всему обозначивший место  
В каталогах, реестрах, глоссариях, картах.  
Лестен мне поводок ученичества, лестен!  
Как манящая бездна у скал древней Спарты.

Что возиться со мною, учитель мой строгий?  
Всё не впрок – азбукóвина: *веди да яти*.  
Отпускаю на волю без слёз и проклятий –  
Отпусти поводок да ступай себе с богом!  
Лишь глаза приоткрыв, посмотрю на дорогу:  
Где теперь ты, мой нэцке, весёлый предатель?

### Сырое стихотворение

Подвешен мокрый день за шкуру.  
Мы с ним во власти непогоды.  
Иду по зебре перехода,  
Готовлю мысленно затирку,

Замес цитат, речей премудрых.  
– Старик Артур, подбрось цемента  
На мастеров! Одномоментно  
Прихватит память. И под утро

Всё образуется. Извёсткой  
Закрашу жизнь у корневища...  
Холодный майский ветер хлёстко  
Бьёт по щекам: «Всё ищешь, ищешь?»

Иди домой!» Домой... в столовой  
невежество сопит под пледом.  
Спать! Завтра где-нибудь к обеду  
Опять начну ремонт, по новой.

Сползает ночь на подоконник,

Вдыхая аромат азалий.  
Фонарный столб блестит глазами,  
Луны восторженный поклонник.

Иду по зебре перехода.  
Который год иду, не знаю.  
Сырой удел, земля сырая.  
И морозящая свобода.

### **Не то, чтоб дождь...**

«Мне вспомнился старинный апокриф –  
Марию Лев преследовал в пустыне...»  
О.Э. Мандельштам  
Не то, чтоб я любила дождь...  
Засохли речи.  
Не то, чтоб ложь...пастух не вхож  
В загон овечий.  
Не то, чтоб я тебя ждала...  
Не ждать устала.  
В квадрате пятого угла  
Мне много? мало?  
Не то, чтоб были мы с тобой...  
Но шли в обнимку  
В просвет ночной, в пролёт дверной...  
На фотоснимке.  
Там бликом... Лев наперерез,  
Играя силой.  
Зевнул, спросил: «Мария здесь  
Не проходила?»  
За стенкой комнаты дожди...  
Соседский остров.  
Не ждёшь? Всё правильно... не жди.  
Ждать слишком остро.  
Не слишком быстро говорю?  
Молчу не слишком?  
Наш разговор встречать зарю  
На крышу вышел.  
Не то, чтоб я тебя люблю...  
То дождь по крыше.

То вечер... ветер... снишься... сплю.  
Но ты... не слышишь.

### **Виолончель**

Ты держишь меня меж колен, опираясь  
Ладонью на гриф.  
В скрипичных рыданиях я вечно вторая,  
Я вторю мотив.

Всегда на подхвате у вычурных скрипок  
Мой голос, мой стон.  
Им повод – громоздкость моя – для улыбок,  
И мой обертон.

Так что ж сотворил ты, Андрео Амати?  
Что мне на века  
В полсчастия петь, и в полгоря стонать, и...  
Но чья-то рука

Ласкает меня, чуть касаясь запястьем...  
Мой бог – музыкант!  
Ты весь в моей власти, я вся в твоей власти!  
И мне – твой талант.

И я для тебя стану первой из первых!  
На первой струне  
Печальным ноктюрном – по квинтам, по нервам,  
Тебе – обо мне.

Тебе обо мне – невозможное соло!  
Ты понял... о ком?  
Когда-нибудь ты перережешь мне горло...  
В порыве! Смычком.

### **Всё перемелется**

Всё сгладится, наладится. Со временем... наладится.  
А не испечь оладьицев? Пожалуй, испеку.  
Сошью из ситца платьице. В горох зелёный платьице.  
Вина моя загладится: воздастся утюгу.

Из ситца не получится. Немодная материя.  
Не для такого случая. Горох – не комильфо.  
Нужна парча везучая. Как сваха на доверии.  
Расцветка страстно жгучая. Как строчка из Сафо.

Оладьи нынче – к лешему! От постного до грешного  
Одна судьба потешная с косою наперевес.  
В чём только ни замешана... я так давно замешена!  
Весной, весной замешена. Крутой, крутой замес.

Сама себе порукою. Жду: свистнет рак, не свистнет  
ли?  
Лицо белеет мукою. Чистейшая мука!  
Заправлен горем луковым салат, закислен мыслями.  
Десерт – тоска со скукою. И чайник без свистка.

Всё в жизни перемелется. От паперти до памяти.  
Сума моя богатая – в горошек лоскуток.  
Что ж от меня останется... (хоть что-нибудь  
останется?)  
Пробелом между датами. Душою между строк.



# Андрей Чередник

## Великан



адвигалась осень, окутанная плотным сырым туманом.

Он задумчиво разглядывал заплеванное дождем и мертвыми листьями окно, пытаясь угадать, будет ли за этой осенью другая? А потом поворачивал мысли к ее коленям, которые в воображении гладил не одну сотню раз, и принимался за письмо. «Как мы почти полностью состоим из воды, так и жизнь состоит из наших мыслей и фантазий. Взгляд, прикосновение к губам – ничто, пока тот, другой, своими домыслами или дрожью ожидания не придаст им законченность и смысл, – думал он. – А что, если это – **слово**, не прикрытое телом? Долетит ли оно по назначению, вызвав такой же трепет, как живое касание?»

И он пробовал. Писал бесконечные письма, добиваясь рельефности строчек, приращивал к ним мускулы. Утром, едва утихал кашель, он приподнимался с кровати, подвигал ближе столик и отправлял к ней слова – одно за другим, надеясь, что она ощутит хотя бы их легкое дуновение.

Днем приходил врач – веселый жизнелюбивый старик. Ловко наполнял шприц, мурлыкая под нос «Аллилуйя», вводил иглу под кожу и обещал прийти на следующий день в это же время. Церемонно откланивался и выражал надежду увидеть его завтра живым и шутливым, как и он сам.

Дни складывались в недели. Тело, отвыкшее от движения, деревенело, а лицо покрывалось тоненькой и смешной, как улыбка, паутиной времени и болезни. Но руки продолжали работать, выпуская все новые слова, щедро вскормленные неиссякаемыми запасами души и мысли. И

они – румяные и тучные от избытка жизни – улетали вдаль, чтобы на другом конце освободиться от своего груза, проливаясь над ее коленями освежающим дождем. А за ними уже спешили новые батальоны.

И обратно устремлялись радостные ответы, что да, мол, твои богатыри добрались благополучно и эффектнaлицо. Коленки дрожат, даже покраснели от радости. А душа ну просто беснуется от наплыва чувств, взбудораженная так, будто над самым ухом колотят в гигантский колокол. Слова и строчки кусают, душат и вытягивают жилы, до того они хороши!

Он читал эти письма и радостно улыбался, гордясь своими зубастыми молодцами – дерзкими и шаловливыми. А потом окидывал взглядом распухшее и большое, как у силача, тело и от души веселился, представляя себе, какой бы страх внушил ей, если бы смог оторваться от подушек и встать в полный рост.

Шло время. Смешливый доктор в белом по-прежнему появлялся каждый день в один и тот же час. И изумлялся, разглядывая одутловатого, все еще живого великана. Сравнивал его с Гулливером, опутанным лилипутскими веревками, и шутил, что он заметно прибавляет в весе и что сам Господь бессилён прибавить его к себе.

Великан, обрадованный этими бодрящими словами, провожал его благодарным взглядом. А потом, мысленно приосанясь, разглядывал себя в зеркальце и замечал, что и правда пополнел. И с интересом открывал в своем отражении раньше не бросавшееся в глаза серебро волос и новые забавные морщинки, опоясывающие синеву вокруг глаз. «От сильного рождается сильное», – произносил он, перечитывая ее восхищенные ответы. А потом старался быстрее заснуть, пока не накатила новый приступ кашля. Если бы не этот досадный клокочущий кашель, то и дело выплескивающий красную краску, он чувствовал бы себя окончательно счастливым.

А она ждала новых писем и впитывала их, прикасаясь к буквам, которые обдавали то жаром, то стужей. Казалось, что эти строчки оторвались от Мастера и живут

своей жизнью, подкармливаясь вдали от него. Повертятся где-то день или два, а потом возвращаются к ней, как коты к теплому очагу. Иногда грязные, поцарапанные и от этого – немного другие, но всегда с блестящими глазами.

Подошла зима. Окно покрылось нарядным узором, сквозь который расплывался бело-синий снежный покров. Писать приходилось мелкими порциями – из-за кашля, который налетал все чаще, но уже не раздирал легкие, не окрашивал подушку, а оставлял после себя только ноющую боль.

Иногда сквозь ледяную мозаику проникали солнечные лучи и разлетались по комнате рассеянным светом, оживляя кровать и столик, где сгрудились письма.

А слова все летели, припорошенные снегом, но такие же шальные и жгучие. И по ним трудно было поверить, что за окном крепкий мороз, а в комнате лишь кровать, надрывный кашель да неподвижное туловище, над которым витает белый доктор, опускаясь ниже и ниже...

«Твои строчки наполнены такой бешеной жизнью, что я хочу кружиться по комнате. Сколько в них весны...» – грустно выводила она.

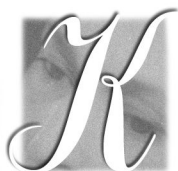
Он не ответил, но и не возразил. Лишь кивал головой, спускаясь по темной лестнице. И от каждого окошка, мимо которого проносили его гигантское тело, в полузакрытых глазах Великана вспыхивал свет.



# Александр Матлин

## Три рассказа

Кандидат наук Зискин



Когда я приехал в Америку, я был так занят устройством своей новой жизни, что напрочь отбросил всякие воспоминания о предыдущей жизни в Советском Союзе. Много лет эта прошлая жизнь была полностью стёрта из моей памяти и никогда не беспокоила меня в моей новой счастливой жизни. Но по мере того, как я старел, воспоминания о той жизни, поначалу смутные и нерезкие, начали вползать в мой мозг, постепенно становясь всё ярче и отчётливей, как проявляется чёрно-белый снимок в ванночке фотолюбителя.

И вот сейчас моя память переносит меня в Москву, откуда я уехал более тридцати лет назад без всякой надежды когда-нибудь снова увидеть этот город, как нам тогда казалось. Мои родные были в отчаянии, которое больше походило на траур. Мои друзья были напуганы. Мои сотрудники, в соответствии с указанием райкома Партии, были возмущены до глубины души. Как их проинструктировали партийные органы, в назначенный день и час они явились на общее собрание отдела, чтобы выразить своё возмущение. Такова была своеобразная советская традиция прощания с отъезжающим коллегой.

Первым выступил начальник отдела. Он сказал, что я предатель и изменник родины, который сменял свою прекрасную страну на такое отвратительное гнездо сионизма, как Израиль. (Естественно, я подавал документы и говорил всем, что еду в Израиль, поскольку это был единственный способ уехать из Советского Союза). Все

сотрудники полностью согласились с мнением начальника и одобрили его выступление аплодисментами.

Затем выступил парторг отдела. Он говорил с ещё большей страстью. Он объяснил, что бывают разные степени предательства, и что я представляю собой самый худший вариант. Подумайте сами, сказал он, ведь наша страна дала ему всё: бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, даже двухкомнатную квартиру. И вот, вместо того, чтобы быть счастливым и благодарным, он собирается совершить такой грязный поступок, как отъезд в Израиль.

– Товарищи! – сказал в заключение парторг, – я предлагаю, чтобы мы все единогласно осудили этого – он с отвращением назвал меня по имени – как грязного предателя Родины. Прошу всех голосовать.



Выступление парторга также было одобрено аплодисментами, после чего все, как положено, проголосовали. Однако, при голосовании, которое должно было быть единогласным, вдруг оказалось, что один человек поднял руку против предложения парторга. Фамилия этого

человека была Зискин. Собрание замерло в шоке. Как посмел этот человек, который даже не был членом партии, выступить против мнения целого коллектива? Парторг сказал ледяным голосом:

– Товарищ Зискин, не потрудитесь ли вы объяснить своим товарищам, почему вы проголосовали против их единодушного мнения?

– Конечно, я могу объяснить, – с готовностью сказал Зискин. – Я проголосовал против потому, что я не согласен с вашим предложением осудить его как предателя. Я считаю, что мы должны СТРОГО осудить его как предателя!

Парторг улыбнулся, и собрание одобрило выступление Зискина новым шквалом аплодисментов. Все проголосовали за его предложение, на этот раз единогласно.

Я вернулся домой разбитым. Согласитесь, это мало приятно, когда тебя называют предателем и подлецом люди, с которыми ты проработал много лет и многих из которых считал своими друзьями. Я собрался спать, когда вдруг раздался звонок в дверь. Я открыл дверь и, к своему удивлению, увидел начальника отдела. Я застыл, не зная, что сказать.

– Ну что, – мрачно сказал начальник отдела, – могу я войти?

Я впустил его и предложил сесть.

– Слушай, Саша, – сказал мой начальник, – надеюсь, ты понимаешь, что я на самом деле вовсе не имел в виду того, что я говорил сегодня на собрании. Ты же знаешь, как я тебя всегда уважал. Всё эта скотина, наш парторг, это он заставил меня нести всю эту ахинею. Лично я был категорически против нападков на тебя. Если ты заметил, я даже не предложил осудить тебя. Это он, скотина, наш парторг всё затеял. А я лично желаю тебе успеха и счастья в твоей новой жизни. И если у тебя когда-нибудь окажется лишняя пара джинсов, пришли их мне, пожалуйста. Мне пригодятся.

Он замолчал, и я заметил скупую слезу, блеснувшую в его глазу.

– Саша, друг, – сказал он с хрипотцой, – жизнь наша такая, что мы, может быть, никогда больше не увидимся. Но

я прошу тебя запомнить две вещи. Первое – что я всегда останусь твоим настоящим другом, и второе – что мой размер брюк тридцать четыре.

Мы обнялись, расцеловались на прощание, и мой начальник ушёл. Только я снова собрался спать, как опять раздался звонок в дверь. Я открыл дверь и увидел, к своему удивлению, нашего парторга отдела. Я предложил ему войти, он вошёл, сел на стул и извинился за речь, которую он произнёс сегодня на собрании. Это, объяснил он, не было его инициативой, это было указание из райкома.

– Ты же знаешь, Саша, сказал он, – как я всегда тебя любил. Конечно, я предложил осудить тебя, но, заметь, я ведь не предлагал СТРОГО осудить тебя. Это подлец Зискин предложил. А лично я, Саша, желаю тебе успеха в твоей будущей жизни. И как символ нашей с тобой вечной дружбы, я прошу тебя прислать мне пару джинсов. Если они будут слегка поношенные, это ничего. Мой размер, вообще, тридцать шесть, но если тридцать четвёртый будет дешевле, присылай тридцать четвёртый. Я влезу.

Мы обнялись, расцеловались на прощание, и парторг ушёл. Только я собрался спать, как опять раздался звонок в дверь. Это был мой старый друг Зискин. Увидев его, я рассвирепел.

– Зискин, пошёл вон, скотина! – сказал я. – Ты подлец, Зискин, вот кто ты есть! Кто просил тебя вылезать со своими идиотскими предложениями? Тебя никто не заставлял: ты не начальник и не парторг. Ты вообще даже не член партии!

Но Зискин даже глазом не моргнул. Он только пожал плечами и сказал:

– Ах, Саша, не надо кипятиться по пустякам. Я тебе всё объясню. Конечно, я не член партии, но – не забывай – я еврей. Это ещё хуже. Если я им не продемонстрирую свою верность и преданность, они могут заподозрить, что я тоже собираюсь в Израиль. А если, не дай Бог, они это заподозрят, ты себе представляешь, чем это мне грозит? Они же мне не дадут защитить диссертацию!

Я чувствовал, что падаю с ног от усталости. На следующее утро надо было вставать ни свет ни заря. Я сказал:

– Уходи, Зискин. Ты подлец, и я больше не хочу с тобой разговаривать. И ты от меня никогда не дождёшься джинсов!

– Ну и не надо, – согласился Зискин. – Очень мне нужны твои джинсы! Вот что мне действительно нужно от тебя, так это вызов. Сделаешь? А то мне тоже надо подавать.

Мы обнялись, расцеловались на прощание, и Зискин ушёл. Это был мой последний контакт с советским обществом. На следующее утро самолёт Аэрофлота вылетел из Шереметьева со мной и моей семьёй на борту. Два часа спустя мы приземлились в Вене.



Видит Бог, первое, что я сделал, оказавшись на Западе, я организовал Зискину вызов из Израиля. Как я узнал позже, вызов был выслан немедленно, и Зискин получил его вовремя. Но дураку Зискину потребовалось больше пятнадцати лет на то, чтобы уехать из Советского Союза. Сначала он закончил и защитил кандидатскую диссертацию по теоретической физике. Потом он написал и защитил ещё одну кандидатскую диссертацию, на этот раз в загадочной области, которая там называлась политической экономией. Зискин изучал революционное движение против американского империализма в странах третьего мира.

В конце концов, он подал заявление на выезд в Израиль, но получил отказ на том основании, что был чересчур образован и потому представлял большую ценность для страны. Он уехал только в начале 90-х годов, после развала Советского Союза. Сейчас он живёт в Бруклине и зарабатывает тем, что водит такси. Зискин вполне доволен жизнью. В его такси, перед сиденьем справа от водителя прикреплена табличка с его фотографией и надписью: Michael A. Siskind, PhD. Зискин говорит, что на его пассажиров это производит впечатление, и они дают ему хорошие чаевые.

– Видишь, – говорит счастливый Зискин, – я не зря защищал диссертации. Теперь моя кандидатская степень работает на меня.

### Старый умный Айзик

Это было много лет назад, вскоре после того, как я приехал в Америку. Мы познакомились случайно. Я звонил из автомата, а старый Айзик стоял рядом, возбуждённо сверкая очками. Он шестьдесят лет не слышал русской речи. С трудом дождавшись, чтобы я повесил трубку, он радостно выпалил:

– Здравствуйте-как-поживаете!

Я вежливо удивился:

– Вы говорите по-русски?

– Who?<sup>5</sup> Я? – закричал Айзик. – Конечно, говорю! А как же не говорю! Я родился в Киев губерни! А вы давно здесь приехали?

– Не очень.

– Поедешь обратно?

– Нет. Обратно не поеду.

Старик внимательно посмотрел на меня поверх очков.

– Хочешь иметь ланч со мной? Ты будешь мой guest<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Кто (произносится «ху»).

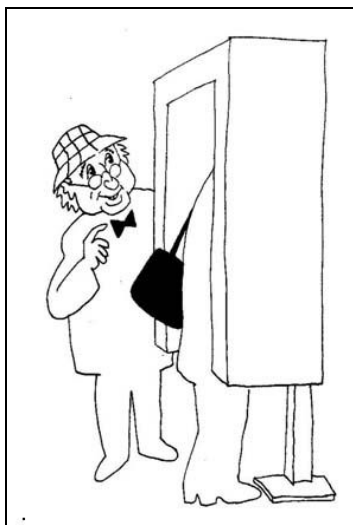
<sup>6</sup> Гость, приглашённое лицо.

В ресторане царил прохладная полутьма. Красноватое мерцание свечей слабо шевелилось над столиками. Подошла хорошенькая официантка и долго допытывалась, как нам прожарить мясо и чем полить салат.

– Хочешь dry martini<sup>7</sup>? – спросил меня Айзик.

– Хочу. А вы?

– Я нет. Я хочу два dry martini.



Он расхохотался, искренне радуясь своей шутке. Потом сказал:

– Слушай, Александр, я хочу спросить вас один вопрос. Может быть, это не очень nice вопрос. Ты немножко не идиот?

– Нет. То есть... не знаю.

– Зачем ты приехал в эту страну? – сказал Айзик. – Это terrible<sup>8</sup>! Это очень плохая страна.

– Чем же? – испугался я.

– Чем? – закричал Айзик. – Ты знаешь, какие здесь taxes<sup>9</sup>? За один мой дом я плачу fifteen hundred<sup>10</sup> долларов в год!

---

<sup>7</sup> Сухой мартини (коктейль).

<sup>8</sup> Ужасно.

<sup>9</sup> Налоги.

– У вас есть свой дом? – спросил я наивно.

– У меня три дома. Один здесь, один в Калифорнии и один во Florida. Только за один здесь я плачу тысячу и пятьсот. Это не terrible?

– По-моему, нет. Раз платите, значит, есть чем.

– Конечно, есть, – рассердился Айзик. – Я всю жизнь работал. Я имел четыре аптеки. Я очень тяжело работал.

– Я тоже работал в Советском Союзе. Много аптек я там заработал...

При упоминании о Советском Союзе Айзик посветлел.

– В России очень хорошо, – проникновенно сообщил он. Там бесплатная медицина. Бесплатный education<sup>11</sup>. Там совсем нет антисемитизма.

– Что вы говорите! – поразился я. Вы были в Союзе?

– Нет. Мой друг Соломон был. Он видел много евреев. Прямо на улице. Да. Они свободно ходят по улице. Соломон кушал такой delicious борщ, какой никогда в жизни не кушал. Он говорит, что там очень красивый subway<sup>12</sup> и стоит всего пять копеек. Он говорит, что русские people<sup>13</sup> очень хорошие. Ему ни разу никто не сказал «жид».

Мы допили свои dry martini, съели салат и принялись за мясо. Мясо сочилось и благоухало. Я сказал, чтобы что-то сказать:

– В Союзе такого мяса нет. Впрочем, там никакого нет.

– Ай, бросьте, – сказал Айзик. – Здесь то же самое. Вчера я пришёл в супермаркет, хотел купить филе-миньон. Так нету. Они мне начинают предлагать всякие top sirloin, London broil, round beef<sup>14</sup>. Я им говорю: зачем мне ваш round beef, если я хочу филе-миньон? Они говорят: извините, мы очень sorry<sup>15</sup>. Зачем мне их «извините»?

---

<sup>10</sup> Тысяча пятьсот.

<sup>11</sup> Образование.

<sup>12</sup> Метро.

<sup>13</sup> Люди.

<sup>14</sup> Разновидности говяжьей вырезки.

<sup>15</sup> Извините.

– Ужасная история, – согласился я. И что вы сделали?

– Как что? Сел на машину, поехал в другой супермаркет и купил себе филе-миньон. Хочешь ещё выпить?

Мы заказали по третьей. Айзик сказал:

– Ты, Александр, наверно думаешь, что в Америке очень хорошо. А ты знаешь, какой здесь crime<sup>16</sup>? Ты почитай газеты. Каждый день кого-нибудь убили. В России этого crime нет.

– Откуда вы знаете, Айзик?



– Соломон рассказывал. Он читает советские газеты. И там никогда ничего нет про crime. Понимаешь? У них совсем нет crime!

Я начал пьянеть, то ли от третьего dry martini, то ли от сокрушительных доводов своего собеседника.

– Айзик, – сказал я. – Скажите мне, какая бесплатная медицина вернёт к жизни сотни тысяч расстрелянных? Какое бесплатное образование компенсирует униженное достоинство миллионов граждан? Ответьте мне, Айзик, если вы меня понимаете!

Айзик молча доделал остывающее мясо.

---

<sup>16</sup> Преступность

– Well<sup>17</sup>, – наконец сказал он. – Это, конечно, нехорошо, когда тебя расстреливают. Но знаешь, Александер, я не верю, что это правда. Потому что это impossible<sup>18</sup>. Ну, допустим, арестовали одного или двоих. Ну, троих. Но зачем, скажи мне, пожалуйста, русские реорле стали бы терпеть дальше? Они не такие дураки. Они бы позвали полицию и прекратили бы это безобразие. Правильно?

Айзик рассмеялся и дружески похлопал меня по плечу. У него было открытое, доброе лицо человека, постигшего естественные законы логики. В глазах искрилась радость за далёкую и прекрасную Россию, где метро стоит пять копеек, а евреи прямо так и ходят по улице.

– Айзик, – сказал я, стараясь попасть в тональность, – я имею хорошую идею. Вы будете любить эту идею. Переезжайте в Советский Союз. У вас будет бесплатное лечение. Вы будете ездить на метро. Кушать борщ. Вы будете счастливым человеком, Айзик.

– Who? Я? – спросил Айзик, внимательно глядя поверх очков. – Ехать туда жить? Слушай, Александер, ты умный бойчик<sup>19</sup>. Ты имеешь еврейскую голову. И я хочу тебя спросить один вопрос: ты немножко не идиот?

Мы заказали по четвёртой.

### Когда разгибается палец

Что плохо на этом свете – что всё ломается. Что хорошо – что всё можно починить.

Однажды, например, случилось у меня что-то с пальцем. Пытаюсь его согнуть – больно. Пытаюсь разогнуть – ещё больнее. Пошёл я к врачу. Врач, конечно, внимательно осмотрел мой палец, даже покачал головой.

– Плохо, – говорит – ваше дело. Болезнь, – говорит, – у вас страшная. Но вы, милоч, не впадайте в отчаяние. При нашей современной медицине я вам этот палец в два счёта приведу в порядок хирургическим путём.

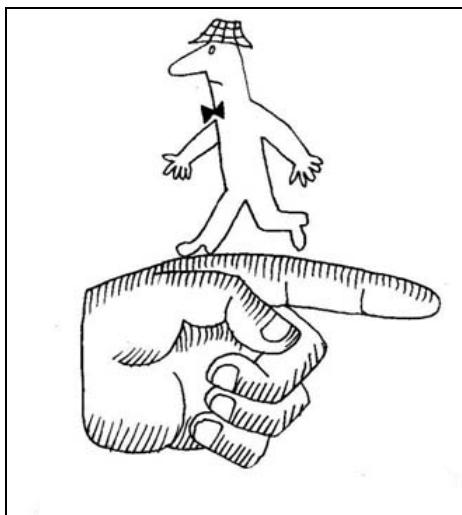
---

<sup>17</sup> Вводное слово, аналогичное русскому «ну что ж».

<sup>18</sup> Невозможно.

<sup>19</sup> Русификация английского слова boy (мальчик).

Тут я чувствую, что весь докторский кабинет потемнел, и горло моё заполнилось сухими опилками.



– Доктор, – заискиваю я, – а нельзя как-нибудь так, чтоб не резать? Ну, там, лекарством или, допустим, массажем его взять?

– Никак невозможно, – отвечает доктор бескомпромиссно. – Нет, голубчик, таких лекарств, чтобы пальцы разгибать. Резать его, тогда сам разогнётся!

Назначили мне день и час операции. Прихожу в больницу, и меня сразу, без всякой волокиты, принимает такая обаятельная шатенка по имени Синди. Она подробно у меня всё расспрашивает и всё заносит в компьютер. Сколько мне лет, и какая у меня страховка, и мочился ли я в детстве в кровать, и как девичья фамилия моей жены, и что я ел на завтрак, и кто я по вероисповеданию. Это – на случай, если я начну умирать, чтобы знать, кого звать – раввина, или, наоборот, ксёндза.

– А теперь, – говорит обаятельная Синди, – вы должны подписать несколько документов. Первый: вы расписываетесь в том, что у вас есть медицинская страховка.

– Слава Богу, и не одна, – говорю я гордо. Моя страховка покрывает жену, её страховка покрывает меня. Так что живём хорошо, покрываем друг друга как следует.

– Второй документ, – говорит Синди. – Здесь вы расписываетесь в том, что обязуетесь оплатить остаток вашего долга, который не оплатит страховка.

– Погодите, а зачем тогда первый документ, если я обязуюсь платить?

– Вы поменьше говорите и побольше подписывайте, – говорит обаятельная Синди. А то я так с вами до вечера не расчухаюсь. Документ номер три. Здесь вы расписываетесь в том, что больница не несёт ответственности за вашу жизнь. Вот здесь распишитесь.

Я расписался, но тут меня обуяли сомнения. Я говорю вежливо:

– Синди, как же это так получается, что вы не несёте ответственности? Значит, если я тут у вас на глазах начну отдавать концы, вы мне никакой помощи не окажете, что ли? Разве это по-человечески?

Синди обиделась.

– Конечно, окажем, – говорит. – Просто полагается такой документ иметь. Наши юристы требуют. На случай, если вы потом на нас в суд подадите.

– Я не подам.

– Чудесно, – обрадовалась Синди. – Тогда подпишите следующий документ – что в случае вашей смерти вы не будете подавать в суд на больницу. – Как же я могу подать в суд, если я буду уже мёртвый?

– Откуда я знаю! – рассердилась Синди. – Надо же, какой въедливый пациент попался! Может, вы зазнётесь, не дай Бог, не до конца. Вот здесь распишитесь. Хорошо. Следующий документ: что наша больница не несёт ответственности за вашу одежду и обувь. А этот – что вы не будете предъявлять иск за расходы на дорогу до больницы и обратно. А этот – что вы разрешаете себя оперировать.

– Ну, это вы бросьте, – запротестовал я вяло. – Зачем бы я сюда пришёл, если бы не разрешал?

Тут Синди ничего не сказала, но посмотрела на меня таким тяжёлым ледяным взором, что я прикусил язык и расписался, где положено.

– Следующий документ особенно важный, – устало говорит Синди. – Тут наши юристы требуют две подписи.

Это – что вы не будете предъявлять иска больнице в случае потери пальца.

– Какого пальца?

– Что значит какого? Вы что пришли оперировать?

– Палец.

– Вот его самого.

– Хорошенькое дело! – говорю я. – Я, понимаешь, иду к вам с полным доверием, чтобы излечить свой недомогающий палец, а вы его собираетесь вместо этого оттяпать безо всякой на то ответственности!

– Никто вам не собирается оттяпывать ваш паршивый палец! – обиделась Синди. Вам что, бумажку трудно подписать, если наши юристы требуют?

Тут я снова застыдился и подписал бумагу, чтобы не обижать юристов. Следом за ней я подписал, что согласен на местный наркоз. И что согласен на общий наркоз. И что против меня нет судебных исков. И что я не менял фамилию за последние десять лет. И что я сдал налоговый отчёт за прошлый год. И что я подписал все эти документы добровольно и в здравом рассудке. И что мне известна стоимость операции: восемь тысяч. Это – не считая платы врачу. С ним, дескать, у меня свои счёты, больница к этому не имеет отношения.

– Поздравляю! – говорит Синди. – С бумагами покончено, можете идти оперироваться. Операция будет продолжаться двадцать минут. Потом минут десять посидите в послеоперационной, выпьете чашку кофе и можете ехать домой.

Я говорю:

– Это за что же, – говорю, – восемь тысяч? За двадцать минут в операционной и чашку кофе? Прямо, – говорю, – обдираловка!

Синди соглашается:

– Это правда, – говорит. – Дорого. Но учтите, что половина этих денег идёт не на вашу операцию, а на тех бедных больных, которые сами не в состоянии оплатить своё лечение.

– Ага, – соображаю я. – Значит, моя операция на самом деле стоит не восемь, а четыре тысячи, так что ли? Тоже, между прочим, порядочно.

– Да, недёшево, – опять соглашается Синди. – Но учтите, что половина этих денег идёт не на саму операцию, а на страховку нашей больницы. Профессиональная ответственность называется. На случай, если вы на нас в суд подадите. Предъявите иск миллионов на двадцать – кто будет платить?

– Я же подписал, что не буду предъявлять иск. Вы сами велели.

– Мало ли кто что подписал! Подумаешь, велика важность – бумажка. Если кто захочет вчинить иск, он ни на какую свою подпись не посмотрит. Так что наши юристы вашу подпись вообще во внимание не принимают.

– Зачем же я подписывал?

– Юристы требуют.

– Ну ладно, – говорю. – Значит, на самом деле моя операция стоит не четыре тысячи, а только две, что ли?

– Что-то около этого. Хотя вообще-то половина этих денег идёт не на операцию, а на содержание нашего юридического персонала.

– Ага. Получается уже одна тысяча.

– Правильно. Причём половина этих денег идёт на накладные расходы. Знаете, реклама, народное просвещение и всё такое. Остаётся пятьсот. Не такая уж большая цена, если учесть наше современное оборудование и высокую квалификацию нашего персонала. Будьте здоровы.

Тут Синди нажала кнопку, и ко мне сразу подлетают две симпатюшечки в синих халатах, хватают меня под руки и ведут внутрь больницы. И там, вдали от посторонних взглядов, они меня переодевают в стерильную распашонку, кладут на кровать, у которой вместо ножек оказываются колёса, и везут дальше по прохладным коридорам. Я говорю:

– Эй, девушки, ну-ка остановите ваше транспортное средство. Я ещё сам ходить не разучился. Я ещё вас обеих могу отнести, куда скажете.

Симпатюшечки говорят:

– Лежите и не наводите своих порядков. Тут вам ходить запрещено с целью охраны нашей профессиональной ответственности. Вот выйдете из больницы – там и ходите хоть до инфаркта. Там мы за вас не отвечаем.



И вкатывают меня в операционную. А тут всё сияет – прямо загляденье. Вокруг какие-то трубки, приборы и приспособления со всякими такими светящимися цифрами и экранчиками. И всё оно так интимно мигает и пощёлкивает, и источает запах невиданной чистоты. И тут открывается боковая дверь, и входит мой доктор, а за ним ещё один джентльмен, без халата, но в тёмном костюме и при галстуке. Доктор говорит:

– Познакомьтесь, пожалуйста. Это наш юрист, мистер Лоер. Он будет присутствовать при операции и следить за выполнением законности. А это наш пациент, которому мы сейчас будем оперировать ногу.

Я говорю:

– Не ногу, а палец на руке.

Мистер Лоер тут сразу не сплеховал и говорит:

– Ага! Пациент добровольно отказывается от операции ноги и добровольно соглашается на операцию пальца. Пусть распишется.

Доктор говорит:

– Ну да, конечно же – палец, это я вас с другим больным перепутал. Какой наркоз предпочитаете – местный или общий?

– Давай общий, – говорю я. – Гулять – так гулять.

Мистер Лоер говорит:

– Лично я, – говорит, – не рекомендую общий наркоз. Мало ли, может в процессе операции нам понадобится сделать пациенту какое-нибудь разъяснение закона. Или задать ему какой-нибудь важный вопрос.

– Ну что ж, тогда местный, – говорит доктор. – На какой руке палец болит?

– На правой.

– Минуточку, – опять вмешивается мистер Лоер. – Какой рукой вы пишете?

– Правой.

– В таком случае, – говорит мистер Лоер, – местный наркоз я тоже не рекомендую. Мало ли, может пациент в процессе операции должен будет срочно расписаться на каком-нибудь важном документе.

– Так, – говорит доктор. И смотрит на меня жалостливо, но при этом во взоре его нет ни малейшего колебания.

– Ну это уж дудки, – говорю я и быстро засовываю обе руки под зад. – Без наркоза не дамся. Нашли дурака. Что я вам – Зоя Космодемьянская?

На это мистер Лоер ничего не сказал. Только отозвал доктора в сторону, немного пошептался с ним и смылся. Смылся, конечно, вежливо. Пожелал всем иметь хороший день, попрощался и слинял. А я лежу на этой самоходной кровати и стыну от страха.

Доктор мой говорит печально:

– Я, – говорит, – извиняюсь, но операция отменяется. Наш юрист, – говорит, – не рекомендует вас оперировать. Он оценивает вас как пациента с высокой степенью риска.

При этих словах я окончательно заледенел.

– Доктор, шепчу, – скажите правду. Сколько мне остаётся жить?

– При чём тут ваша жизнь! – сердится доктор. – Этой вашей жизни, над которой вы так унизительно трясётесь, ничего не угрожает. Тут дело серьёзнее. Наш юрист считает, что вы, судя по вашему скандальному поведению, есть потенциальный истец, который может подать на нас в суд и тем нанести больнице непоправимый финансовый ущерб. Поэтому он считает, что с вами лучше не связываться.



Я говорю:

– Сволочь он, – говорю, – ваш мистер юрист. Из-за его бюрократической перестраховки теперь честный человек должен страдать несгибанием пальца.

Доктор говорит:

– В чём-то я с вами даже согласен, хотя, с другой стороны, мистер Лоер тоже по-своему прав. Но раз уж вас всё равно нельзя оперировать, тогда я вот что посоветую. Как придёте домой, примите аспирин. Через два часа примите ещё одну таблетку. Всего хорошего, заходите почаще.

Послушал я доктора. Вернулся домой, принял аспирин. Жду час, жду два. Сгибаю палец – почти не

больно. Принял я вторую таблетку. Подождал ещё немного, сгибаю палец – совсем не больно. Прошёл.

– Ну, – думаю, – дела! Хорошо мистер юрист вовремя подвернулся, уберёт меня от операции. Хороший человек мистер Лоер. Зря я его ругал. Пожалуй, вообще всех врачей надо из больниц разогнать. Пусть там одни юристы командуют.



# Марк Азов

## Два рассказа

### Мифы



- и пришел обнять мир.
- Да. Определенно, он пришел обнять мир.
- Человек открыл глаза. Никого, кроме старика в лодке и козы на берегу.
- Вы разговаривали с козой?
- Она не коза, а Сивилла, прорицательница, гадала на внутренностях животных.
- Значит, мне коза нагадала обнять весь мир?
- Можете не сомневаться, – сказала коза, – я гадала на ваших собственных внутренностях.
- Разве я животное?
- Если судить по внутренностям, несомненно: вскрытие подтвердило.
- И я пришел обнять мир?
- Мне все равно, – сказал старик, – я Харон, – старик своей суконной кепкой описал круг над головой, – я перевожу всех, без исключения, через Реку Мертвых.
- Коза, топая, вошла в лодку.
- Стойте! – опомнился человек. – Выходит, пока я спал, вы копались в моих внутренностях?!
- Никто не ответил. Старик перевозил козу в лодке. Его руки сновали по проволоке, протянутой между берегами: лодка шла как паром. Пахло коровьей фермой. Шлепали тряпкой по воде... Коровница полоскала фартук.
- Как село называется? – спросил человек.
- Перевозы.
- А речка – Стикс?
- Псел.

Человек взял да и обнял коровницу.

– Тю, – сказала она.

– Я пришел обнять мир, – пояснил он свои действия.

– Ля, – сказала коровница, но обнимать она не мешала.

Прошло некоторое время. Спина коровницы оказалась слишком широкой для такого среднего человека. Кроме того, она продолжала полоскать фартук.

– Ладно, – сказал он, – ты все равно пойдешь в лес за хворостом, а мне еще надо обнять весь мир.

– Что с вами поделаешь, – вздохнула коровница, – придется сходить в лес за хворостом...

А человек уже шел берегом по мокрой песчаной кромке мира, который ему предстояло обнять. «Коровница не возражает, – размышлял он, – но коровница – примитив. Послушаем, что скажут другие женщины».

...Первая женщина возлежала в его палатке на разостланном поролоне, она состояла в должности жены человека.

– Я пришел обнять мир! – объявил он и обнял жену.

Жена не возражала, как и коровница, но она уже ставила некоторые условия:

– Прошу тебя, без пошлых фраз. Ты всегда обнимаешь меня, когда любишь себя.

– Ты права! – устыдился человек. – Я животное! Пошлое животное!.. Прости!..

И пошел к Другой женщине. Другая женщина была подругой жены, но он ее как-то раньше не удосуживался обнять. А тут обнял... И у женщины сразу отнялись ноги. Разожми он объятья – она беззвучно упадет на траву.

– Я животное? – спросил он.

– Нет, ты бог! – прошептала она. – Ты мой бог!..

– Я пришел обнять мир?

Она отозвалась, как эхо:

– Ты пришел, наконец!

Он бережно прислонил женщину к стволу осины, чтоб не упала, и пошел обнимать дальше. За ним увязался циркуль в трусиках, совсем еще маленькая будущая женщина.

– Папа, тебя правда приняли в боги?

– Не подслушивай и не повторяй глупостей, – сказал он сурово, а сам обнял и это существо. Циркуль скрылся в сгибе руки весь, вместе с трусиками, болтались только ножки. Человек заколебался: зачем ходить куда-то, когда весь мир и так у тебя в сгибе руки?..

И пошел дальше. «Мир обнимают не для своего удовольствия, – урезонивал он себя, – а для удовольствия мира. Ребенка же обнимают для своего удовольствия». И он стал искать глазами, кого бы еще обнять... Нашел... гадюку. Ее милая головка отдыхала на ее же собственном хвосте. «Гадюка во мне не нуждается, – решил человек. – Она сама себя обнимает».

И он зашагал дальше, удаляясь от Харона с его лодкой и села Перевозы. Шагал, шагал, пока не увидел село... Село, козу и старика в лодке.

– Как село называется? – спросил он.

– Перевозы.

– Опять Перевозы?!

– Да. Псел тут, как змей, крутится и все вокруг Перевозов.

– Но где-то же он выруливает напрямую, и там должен быть перешеек.

– Должен, – согласился старик, – но нема.

– Почему нема?

– Старешня. Старое русло.

– Значит, мы на острове?

– Эге ж... Но, в случае чего, я перевозчик.

– Вы Харон?

– Може, и Софрон, а вообще Охрим. По субботам Супрун.

– Тьфу! – сказал человек и повернул обратно.

Коза нагадала правильно: тут и обнимать-то нечего. Человек прикинул на глазок. Мир, который ему достался, делился примерно на три части: песчаный мысок, огороженный жердями и усыпанный тарелочками сохшегося навоза – Коровий пляж.

За жердями Коровьего пляжа начиналась Природа. Природа была исполосована трелевочным трактором и усажена одичавшими акациями.

– Посадочка! – огорчился человек.

Его могла утешить только третья часть мира – Земля Обетованная: травянистый холмик, пронзенный великанскими осинами. Здесь стояла желтая пирамидка его палатки. Среди осин сновали женские фигурки.

– Действительно. Что тут обнимать, кроме женщин?

И он поплелся к утешительному холмику. Все население было в сборе, включая коровницу с хворостом.

– Мы на острове, – информировал он, – нас окружает Стикс, отдыхающий на собственном хвосте, отсюда нас вывезет только Харон, а по субботам Супрун – оба ногами вперед.

Влез в палатку и уткнулся носом в поролон. Он ждал воплей, а услышал обыкновенный разговор, вполне логичный.

– Он здесь единственный мужчина, – сказала Другая женщина.

– Ну и что из этого следует? – сказала жена. – У меня от него ребенок.

– Именно это и следует, – сказала Другая женщина, – у тебя от него уже есть ребенок.

– Тю, – сказала коровница.

– Всю жизнь ты прожила с ним, как у бога за пазухой, – сказала Другая женщина.

– Ну и что из этого следует? – сказала жена. – Ты думаешь, он мед?!

– Именно это и следует, – сказала Другая женщина, – для тебя он уже не мед.

– Ля, – сказала коровница.

– Я одинока... без него, – сказала Другая женщина.

– Ну и что из этого следует? – сказала жена. – Может, я тоже одинока... с ним.

– Именно это и следует, – сказала Другая женщина, – он уже одинок... с тобой.

– Шо? – сказала коровница.

«Дуры! – растрогался человек. – Вот уж дурехи!.. Вы ведь не знаете, что творится в мире, в моем самом маленьком в мире мире!.. Во-он над мокрым лугом, где пасутся гуси, встала радуга в полосатых чулочках. Я хочу добежать до радуги и обнять ее ноги в полосатых чулочках. Так вот: радуга в сердце мужчины – это женщина.

И если бы радуга вдруг разбежалась по лугу, обратившись в семь женщин; одна в красных чулочках, другая в оранжевых... и даже с голыми ножками, – я стал бы ловить всех семерых, и буду ловить, пока снова не составлю радугу. Потому что я люблю не желтый, не зеленый и даже не синий цвет – я люблю радугу!»

– Ему нужна другая женщина, – сказала Другая женщина.

– Ну и что из этого следует? – сказала жена. – Может, мне тоже нужен другой мужчина.

– Именно это и следует, – сказала Другая женщина, – тебе уже нужен другой мужчина.

– Кто на вас позавидует? – сказала коровница. – Обе две такие худенькие... А я телесная.

«Нет, радуга тут ни при чем, – подумал мужчина, – любовь к радуге – любовь без взаимности. Ну, стоит на лугу дурак и любит радугу... А радуге что за радость от него, дурака?! Другое дело, когда вас любят женщины. Неважно почему. Главное, не мелочитесь: раздарите им семь волосков из вашей синей бороды. Ваша борода на семь волосков поредеет, зато у семи женщин станут пышнее прически хотя бы на один волосок!»

И он выставил из палатки бритый подбородок. Картина, которая ему открылась, изображала гибель Помпеи. Жена прижимала к груди ребенка. Другая женщина обнимала ее колени. И лица их были залиты слезами. А на заднем плане возвышалась коровница. Кратером рта она была обращена к небу и тревожно гудела, как пароход.

Тут он впервые почувствовал себя мужчиной. Еще бы! У человека семья: три жены и ребенок. С объятиями следовало погодить.

– Цыц! – прикрикнул он. – Вы тут не одни! Обязанности мужчины я принимаю на себя! – и он стал

перечислять. – Первое: я разожгу вам костер, – он загнул один палец. – Второе... Ну, готовить у нас, слава богу, есть кому, мыть посуду – тоже, за продуктами вы меня сами не пустите, стирать я не умею. Мужчина должен уметь зарабатывать деньги – этого достаточно. А где их тут зарабатывать? Да! Еще я могу натирать паркет, – он поспешил загнуть второй палец. – Ну, в общем, костер и паркет... Остальное, я думаю, несложно.

– Несложно, – сказала Другая женщина, – сложно было договориться, но теперь все это позади.

– Так почему же вы плачете?

– По разным причинам. Одни от счастья, – Другая женщина протерла свои глаза платочком, и они просияли, как лаковые туфельки. – Другие, – она взглянула на жену, – от жадности.

– А третьи, – спросил он, – чего ревут?

– Шо? – коровница утерла свой вулкан концом косынки. – Хорошие люди попались, душевные.

Мужчина и сам бы прослезился, особенно его тронула доброта жены, но вовремя вспомнил, что он мужчина, и деловито спросил:

– А как вы конкретно это все представляете?

– Распорядок прежний, – поспешила жена.

– Что значит прежний?

– Ну, как уже бывало в мире, не мы первые... Ночью ты остаешься с женой – у тебя есть дом, семья... Днем встречаешься с другой женщиной.

– Разумно... А коровница? Впрочем, у меня остаются свободными вечера.

И отправился за хворостом для костра. «Ну вот все и утряслось, – радовался он, – теперь, кроме костра и паркета... у меня будет еще... – он загнул третий палец. – Хотя нет, их здесь три. Значит, еще три обязанности. – И он загнул все пять пальцев.

Потом вспомнил, что хворост собирать не надо: коровница притащила достаточно, – и вернулся к палатке.

На развалинах бывшей Помпеи теперь цвели одуванчики. Среди великанских осин бродили нагие нимфы

и сплетали венки. Циркуль в трусиках выписывал восторженные фуэте:

– Три мамы! Три мамы! Раз, две... три.

Он счел нужным слегка одернуть расшалившихся нимф.

– Этот мирок невелик, – сказал он, – солнце объезжает его довольно быстро. Но все же не может быть одновременно и ночь, и день, и вечер.

– Тю, – сказала коровница, поворачиваясь спиной, – черт-те шо о себе воображает.

– Нам теперь надо поберечь одежду, – разъяснила жена.

А он тем временем развалившись, как языческий Пан, среди вьющихся сорняков, разглядывал их с ног до головы. Ноги Другой женщины тянулись довольно долго – спортивные ноги бронзового дискобола. Выше намечались два кулачка, вероятно, грудь...

– Антик, – сказал мужчина, – Диана.

Жена, наоборот, начиналась сверху двумя матовыми плафонами, переходила в таинственные складки с ажурными тенями под животом и растворялась книзу лучом луны на простыне.

– Декаданс...

В коровнице потрясала центральная часть: заваренный вкрутую зад.

– Реализм.

...Ночью Диана ушла в посадку, там погребла себя в спальном мешке, как мумию. Коровница храпела среди коров, изредка нервно вскрикивая: «А чтоб вы повыздохли, заразы!» А мужчина еще долго не решался войти в палатку. Орнамент загробных теней оживал на ее готическом гребне. Зловещим рыцарским стягом трепетали трусики на веревочке. Изнутри палатка наполнилась вздохами...

«Королева играла в темном замке Шопена», – припомнил он замогильный ритмик. Нет, вся эта история не может кончиться по-человечески: так в жизни не бывает. И, теснимый предчувствиями, заполз в палатку.

Королева не играла Шопена, не призывала на его голову галантного палача в красных надушенных перчатках

– вообще не было никакой королевы. Вместо нее на поролоне простерся холодный мраморный крест. На одной стороне мраморной перекладки серебрилась голова младенца, а ему некуда было положить голову, разве что на другую сторону перекладки...

– Я бы совсем ушла с вашей дороги, – проговорил крест мраморным голосом, – если бы не ребенок.

– Ты у меня мученица, ты святая! – взмолился он, стоя на коленях. – Ты и так немало принесла в жертву миру, который просился к нам в объятия!

Он приложился к кресту, мрамор не отогревался, даже не запотевал под его губами. Попытался обнять крест, но не смог подсунуть руку: его крест был достаточно тяжел.

– Убери руку, – услышал он, – я тебе не коровница,

– Да как ты можешь сравнивать! – вскричал он. – Нас с тобой связывает нечто большее!

– Из этого следует, – прозвучало с креста, – что меньшее нас уже не связывает.

– Ей-богу! – забожился он. – Связывает.

– Так зачем же тебе коровница?

Он призадумался...

– Видишь ли, – сказал он наконец, – вопрос поставлен некорректно: мне коровница не нужна. Но мог же Христос накормить пятью хлебами толпу голодных, и у него еще осталось корзина «укрох».

– А зачем коровнице твои «укрохи»? Коровница может пойти в село: там есть мужики. Или, по-твоему, мне идти в село?

Крыть было нечем. Укрохи от коровницы перекочевали к жене, и его голова упокоилась на перекладке креста.

А когда «встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос», он поволок коровницу на заклатие.

– Сделай это тактично, – напутствовала жена.

Он так и сделал.

– Ну посуди сама, – начал он иносказательно, – если тебе нужен Зевс в роли быка, так я не Зевс.

– Ля.

– А если тебе нужен бык в роли Зевса, так я не бык.

– Тю.

– На селе есть хлопцы не то, что я... Да там одни руки – и те что твои грабли.

– Це хто ж? Мыкола, а можно сказать, и Валерик?

– Можно сказать и Валерик.

– Тю.

– Ты права! Ты, безусловно, права! Но почему тю? Почему ля?

– Ля. Так они ж бессловесные, только и знают, шо лезут граблями в пазуху.

– А я словесный? Я тоже – в пазуху... Но у них грабли, а у меня?

– Вы себя не равняйте... Вы со словами: «Я прошел сквозь весь мир тебя обнять!»

– Ты меня неправильно поняла.

– Нет, я вас правильно поняла! – коровница схватила свои розовые байковые шаровары и загрузила их посиневшими от гнева ягодицами. – Поманили, а теперь на ферму багно ворошить... – И, проходя мимо палатки, еще добавила: «Вы не рассчитывайте, что я дурее за других: я восемь классов кончила!»

Она шла к огороженному жердями Коровьему пляжу. Там уже стоял бессловесный Мыкола, а можно сказать, и Валерик, в нейлоновой рубаше и поплевывал творожной слюной на бронзовое зеркало Стикса.

Мужчина утерся, хотя плевали формально не в его глаза. Но что он мог сделать? Жерди Коровьего пляжа отрезали от этого и без того урезанного мира довольно крупный ломоть, уже недоступный его объятьям.

...Но еще оставалась Природа. В посадке среди одичавших акаций уже ждала Другая женщина, обнаженная в стиле вчерашней идиллии. При его приближении она приделась, даже натянула на большую часть своего туловища темные чулки. Потом, правда, опять разделась.

– Ты уйдешь? – спросила она.

– Уйду.

Она покорно склонила голову, увитую укрощенными змеями Горгоны.

– Иди. Тебе еще предстоит обнять мир.

(Только она, для которой он не человек, а бог, могла его понять.) Но он все-таки был человеком.

– А тебе что останется? – спросил он.

– Вмятина, – ответила она и встала во весь свой рост.

– Видишь, во мне осталась вмятина от тебя.

Ему показалось, она раздвоилась, будто две молнии, падая с неба, вонзились в песок. А между молниями черный провал – негатив ее фигуры.

Он обнял молнии и заполнил собой провал. И мир, окружающий их кольцом, с посадкой, осинами, Коровьим пляжем мгновенно устремился к центру, где стояли они, сжался в маленький дрожащий шарик и замер в его объятьях.

Так они обнимали друг друга, думая, что обнимают мир, потому что поворотились ко всему окружающему двумя спинами. Она сама оттолкнула его:

– Иди.

И когда он ушел, как это всегда бывает после молнии, раздался гром: это она рухнула на сухие листья – и хлынул ливень – это она пролилась слезами.

А он шел так легко, будто на его лодыжках прорезались маленькие крылышки. Этакая легкость происходила всего лишь от потери памяти: он забыл, что пришел обнимать мир. На этот раз мир обнимал его. И он с эгоизмом бабочки перепархивал через колдобины, нарытые трелевочным трактором, пока не попал в сачок.

Сачком его накрыл циркуль в трусиках, и, накрытый сачком, он выглядел дураком в колпаке.

– Папа, – сказал циркуль, – почему ты меня не гуляешь?

– А мама зачем?

– Мама меня гуляет. Мама меня гуляет купать, когда я грязная... Мама меня гуляет стирать мои трусики... Мама меня гуляет обедать и спать... Мама меня гуляет в лопухи, когда мне надо... Ну, иногда меня мама гуляет просто так, когда ей надо за молоком.

– Хорошо. Теперь ты будешь гулять с папой. Пойдем.

– Куда?

– Никуда.

– Это не интересно.

– Нет, очень интересно. Как в сказке: пойдя туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что. Только это и называется гулять!

И он, не сходя с места, упал на траву ничком.

– Сперва мы погуляем носами вниз. – Травка щекотала носы и лезла в уши. – Где мы сейчас гуляем?

– В лесу.

– Уточняю – в джунглях.

В уши теперь лезли пальмы. Пасся курносый носорог. Потом появился другой жук, рогач, и они устроили корриду. Правда, пришлось переехать в Испанию. Летели на стрекозе.

– Смотри, по дорогам бегут люди!

– Нет, папа, муравьи не люди, а машины: люди так быстро не бегают.

Потом какое-то бесцветное существо – помесь жучка с червячком – попыталось разрушить очарование.

– Кто это такой противный?

– Противный?! – Он спрятал это в горсть и прикрыл ладонью. – Смотри, не бойся!

Она заглянула под ладонь. Там в глубине пещеры теплился сказочный малахит.

– Светлячок!

– И никогда не суди свысока.

Так они погуляли носами вниз.

– А теперь погуляем пупами вверх.

Они провернулись и сразу уплыли в море. Резвились белые киты. Полярный медведь высунулся из-за айсберга, сгреб лапами солнце и тут же выпустил.

– Мишка ожегся, – сказала она и подула на медвежью лапу. Лапа рассеялась.

– Дома тоже можно гулять, – заявила она, – по ладошке... Вот речка...

– Это река. В реку, видишь, впадают речки, в речки – ручейки...

– А в ручейки кто впадает?

Он растерялся: поди знай, что впадает в ручейки.

– В ручейки впадает лягушка.

– Как это впадает лягушка?!

– А так: плюх!

– Не впадает, а падает.

– Нет, папочка, она не упала, она нарочно впадывала: ей так захотелось.

– Ладно. Пусть будет так, как хочется лягушке, – он приложил свою щеку к ее щеке. Обычно она отстранялась: папа пахнет окурками. А сейчас лежала тихонько, только реснички попрыгивали по его щеке.

– Ну, – спросил он, – ты видела, до чего же он велик, мир, в котором ты собираешься жить? А ведь мы еще ни-куда не ходили.

Этого она не поняла, но она была вежливой девочкой.

– Спасибо, папа. Ты меня нагулял не как мама, а лучше.

– Маме гораздо труднее, чем мне, уверяю тебя! Но поскольку я тоже тебя породил...

– Нет, папа, ты меня не породил: меня породила мама.

Она была справедливой девочкой.

– Ну да... Я оговорился. Но мама одна не могла бы управиться: она так занята вот этим, – он ткнул пальцем в ее живот, – и вот этим, – он похлопал ее по попке, – что до этого, – он положил ладонь на ребрышки, за которыми чижином билось сердце, – и до этого, – он легонько щелкнул ее по лбу, – до этих мелких деталей у мамы просто руки не доходят.

– А знаешь! – циркуль вскошил на выпрямленные ножки. – Я только не догадывалась спросить... Но я всегда думала, думала, думала: зачем человеку папа?!

Потом, чирк, циркуль, обнимая руками его шею, ножками описал дугу, чмок – и западня захлопнулась.

...Назавтра он так и сказал Другой женщине:

– Это какой-то заколдованный круг. С одной стороны, идол...

– Какой идол?

– Обыкновенный: такой маленький с пупиком. Пупик надо смазывать жиром, надо перетаскать к подножию идола весь мир по жучку, по червячку... Я сам его сотворил, этого кумира.

– Ты хочешь сказать – ребенка.

– Да. Но любишь поклоняться идолу – тащи свой крест.

– И крест и идол... А если прибавить меня, так ты еще и магометанин. Ну, иди, – она, как всегда, толкнула его в грудь.

– Я еще побуду.

Ему здесь нравилось: тут подавали обед из двух блюд – на второе слушали его разглагольствования.

– Иди! Тебе ведь есть, чем заполнить себя. А у меня опять от тебя вмятина... Чем заполнить ее, когда ты не со мной? Сухими листьями?

Ветер крутил прошлогодние листья вокруг ее ног. Он понял: когда вихрь опадет, там, где стояли ноги, останется только ворох листьев.

...Вход в палатку закупоривала жена. В руке она держала черный траурный лифчик.

– Ты здесь больше не живешь, – сказала она.

И накрыла свои бесценные плафоны шелковыми колпачками. Плафоны погасли.

– Почему? Почему ты так решила?

– Потому что я вижу твои глаза.

Его глаза выражали лишь сожаление о том, что погасли плафоны.

– Такими же точно глазами ты смотрел на Другую женщину!

Там он с таким же сожалением провожал ноги.

– Какими глазами? – спросил он. – Естественно. Здесь все голые, даже коровница.

– На коровницу ты смотрел не глазами, а вообще руками.

Жена затянула пояс на животе. Таинственные складки так и остались неразгаданными.

Еще звучали отъезжающей тройкой застежки резинок, а уже и ажурные тени под животом растворились в

памяти: не то это был сон, не то их и вовсе не было... Потом она смахнула юбкой луч луны на простыне... и ушла в прошлое.

Что-то присвистнуло и кольнуло в грудь... Другая женщина торчала перед глазами и еще подрагивала, как стрела... Ее мрачные чулки, раздерганные колючками акаций, превратились в кожу змеи... Стрела с болью выдернулась из груди – это Другая женщина удирала в заросли. Он догнал.

– Уйди! – она отталкивала без прежнего сожаления.

– Почему? Почему и ты?

– Ты не прощался с ребенком.

– Я и не собираюсь прощаться с ребенком. Я намерен приходить.

– Ты не с ребенком прощался! Ты смотрел только на нее!

Он вспомнил, как гасли плафоны...

– Скажи еще: такими же глазами.

...как смахнули юбкой греховный луч луны...

– Да! Как на меня!

...и как листы вихрились вокруг ног дискобола...

– Тебя не ребенок удерживал возле нее, а она возле ребенка.

– Что?! – этого он и сам никогда не думал.

– Да. Я сама видела, как ты прощался с ее телом.

Глаза Другой женщины, всегда такие черно-лаковые, расширились до масштабов звездной катастрофы и стали иссиня-белыми, как антрацит...

Что они видели? Что они обе видели, и она, и жена? Должно быть, они видели, как перед ним танцевала какая-то третья женщина: в разрезе лифа вспыхивали и гасли плафоны, а юбка вихрилась листьями вокруг ног дискобола...

Можно любить двух. Но смешивать – этого женщины не прощают!

Колючки одичавшей акации хлестнули его по физиономии... Колючая ветка отсекла еще одну часть потерянного человеком мира – Природу. Он снова обернулся к палатке. Но там теперь стояла чужая женщина,

не имеющая ни малейшего сходства с той, которую она похоронила под одеждой. Это – как ниточка, прилипшая к брюкам, – бывшая жена.

И он стал отступать к реке, поминутно оглядываясь. Сперва он еще видел ребенка. Ребенок валялся в траве кверху пуиком и вопил:

– Мама, я гуляю!

Ребенка он будет посещать, гулять с ребенком. Потом он уже не видел людей, только сиротливый холмик. Холмики посещают по воскресеньям, потом по годовщинам, потом...

Потом разлученные осины сошлись вокруг холмика, и выпало самое доньшко – то, на чем держался его мир. Земля Обетованная...

«Как же так получилось, что я не дарил им себя, а наоборот – отнимал?» Ответа не было, но так получилось, и ему оставалось только найти виноватого и... через Стикс. Виноватый отыскался быстро: коза!

– Просили тебя копать в чужих внутренностях, шура?! Нагадала: он, видите ли, пришел обнять мир. Все пришли. Но все это делают тихо – и нечего тут афишировать. Он швырнул в козу камень и поплелся по песчаной кромке мира, залитой чем-то влажным, вероятно, слезами. Виноватый был найден, а через Стикс не хотелось.

– А что там? – спросил он Харона.

– На том берегу? Ну, дорога мощеная, машины ходят.

– Чем мощеная?

– Черепками.

– Чьими?

– Фарфорофаянсового комбината – браком гатят.

Он погрозил старику пальцем и зашептал в задымленное ухо:

– Они хотели обнять мир...

– А вышел брак, – согласился старик. – Сидайте, перевезу.

– Я сам.

– Самому не положено.

– А за рублик?

Теперь он сам вел лодку, перебирая руками по проволоке... А на середине реки отцепился.

– Куды, холера? – заорал Харон. – Чипляйся за проволоку.

Но человек и не думал «чипляться». Он плыл по течению между берегами, и берега, разбегаясь в стороны, не причиняли ему никакого вреда.

– Что, съели?! – хохотал он. – Мы еще посмотрим, куда впадает бесконечный Стикс!

Как вдруг что-то со звоном хлестнуло его по носу.

– Куды прешь на проволоку, холера? – это последнее, что он услышал. Стикс впадал в Стикс.

\*\*\*

– Он пришел обнять мир.

– Да. Определенно, он пришел обнять мир.

Человек открыл глаза. Мир был отлично освещен солнцем. Коровница, довольно упитанная, полоскала фартук...

– Я пришел обнять мир, – сказал он и обнял коровницу.

– Тю, – сказала коровница, но обнимать она не мешала.

«Послушаем, что скажут другие женщины», – решил человек, и пошел обнимать дальше.

А что было до этого, он не помнил...

## Женщина

Чем пахнет небо войны? Душное небо с тошнотворным запахом страха. Страх пропитан кровью и мертвечиной. Они шли, оставляя за спинами трупы чужих и своих. Зарывать было некуда и некогда. Тела, брошенные на каменную землю, расплывались, как овечий жир на солнце. За войском тянулся хвост шакалов и обнаглевших гиен, бронзовые мухи и медные осы садились на живых людей и втыкали свои хоботки в струпья ран, с черной засохшей кровью и с цепочками желтого гноя по краям.

Никто не знает, что такое резня, разве что солдат, побывавший в рукопашной. А они иначе и не воевали в те

времена. Разве что только длина копья отделяет тебя от врага. Но это расстояние не надежно. Вы сходитесь уже меч к мечу, кинжал к кинжалу, нож к ножу и лицом к лицу. Нет оружия страшнее лица человека, который хочет убить тебя, потому что ты хочешь убить его. Вы рычите и воете, как собаки, потому что оба хотите жить – и туча черных ругательств висит над толпою мужчин, дерущихся насмерть.

Толпа вращается, перемешивается, редеет, кровь проступает на одежде, и вот они уже топчутся в лужах крови, спотыкаясь о тела еще живых, хватающих за ноги.

Одно спасение – все происходит молниеносно. Время сжимается в кровавую точку.

И он, еще не веря, что на этот раз пронесло, бежит к шатрам, где только женщины убитого врага могут встретить его немой покорностью.

Пальцы руки его, липкие от крови, вцепляются в черный колючий полог из верблюжьей шерсти, и он врывается во мрак, и свет врывается вслед за ним. Ноги его разбрасывают глиняные горшки, а в глубине – горка свернутых циновок, а за ними дыхание, шевеление, дрожь. Он запускает руку за эту ничтожную преграду, нащупывает шелковые змеи кос, наматывает их на предплечье, вытаскивает свою добычу и рвет рубахи одну за другой у нее на груди: верхнюю расшитую, вторую цветную, третью белую, – и выплескиваются на него груди ее, текущие молоком и медом... Но тут же боль в плече заставляет разжать пальцы. И, хотя остатки одежды сами сползают с женщины, он ловит себя на том, что оступел и ничего не хочет... Все-таки враг, возможно, даже муж этой женщины, успел дотянуться острием меча до плеча воина, когда его меч углубился в тук живота. Значит, на пальцы стекала его собственная липкая кровь с плеча, и в голове мутилось от того, что кровь уходила. Он сел на циновку, устилающую шатер, и левой рукой пытался зажать рану. Но разве кровь уходящую укротишь?

Свет в глазах его пошел кругами, среди кругов теперь он смутно видел лицо женщины, которая склонилась над ним. Шелковые змеи ее кос мели его нагрудник из воловьей кожи, а руки женщины, ловкие и невесомые

колдовали над его плечом, останавливая кровь какой-то кашицей из листьев, которые она жевала и накладывала, и накладывала на рану.

И вдруг перед ним вспыхнули ее глаза цвета ночного неба, потому что полог шатра отлетел грубо в сторону. Со стуком щитов ввалились двое. Один из них – старший его десятки.

– Убей ее и пошли.

– Это мое дело убивать – не убивать. Она добыча моего копья.

– Ты, что, только на свет родился? Тебе надо повторять? Кто войдет в женщину, взятую у врага, пока война не закончилась, должен убить ее, и точка.

– Я не входил в эту женщину. С чего вы взяли?

– Он принимает нас за дураков. Пошли.

– Постарайся управиться за одну ночь.

– Я ранен.

– А кто не ранен?

Волоча за собой щиты, они вывалились из шатра.

– Найдешь нас по запаху костров, – сказали напоследок.

Рана, успокоившись, заснула на его плече, круги разошлись, и он теперь ясно видел женщину, которая насторожилась и отпрянула, стараясь забиться глубже во тьму шатра. Но тьмы не хватало, потому что она светилась – так ему казалось. Он никогда не видел такой легкой и светлой женщины. Косы летали вокруг ее головы, как живые, и даже белки глаз были синими. Он протянул к ней руки, все еще липкие от крови и не забывшие тяжесть меча. Протянул, чтобы только потрогать – может, она, вообще, не настоящая, но она вжалась спиной в колючую шерсть шатра, выставив неожиданно острые ногти веером, и, когда он приблизился, вцепилась в раненное плечо.

Лучше б она этого не делала. Внезапная боль превратила его в зверя. Он сжал ее руку в запястье, дернул на себя, облапил, бросил женщину на циновку и стал задираť ей ноги... Баба под его руками оказалась обыкновенной: соблазнительно горячей, упругой и влажной...

Она лежала, как мертвая и продолжала так лежать, отвернув от него лицо. А ведь ее еще надо было убить. Но вместо этого хотелось спать. Он повернулся к ней спиной, прижался лицом к циновке. Так и лежали, отвернув друг от друга лица. А над шатрами сгущалась ночь.

Шакалы стонали от удовольствия на поле резни. Для них это была праздничная ночь. На всех хватало трупов.

А он проснулся, когда сквозь дырку, протертую в ткани шатра, проскользнул луч солнца, и сразу подумал: она убежала.

Но ей далеко не уйти, их мужчины уже все добыча шакалов, а наши костры пылают до края неба. Если ее поймают, и ему несдобровать. Двое из его десятки узнают ее – нельзя забыть такую женщину – и оповестят весь стан, что он нарушил главную заповедь: не убил добычу копья своего, женщину, в которую вошел.

«Ибо сказал Господь: если отвратитесь от меня и пристанете к остатку народов этих, и будете брать в жены дочерей их, и породнитесь с ними, то станут они для вас западней и сетью, бичом для рёбер ваших и тернием для глаз ваших, доколе не будете истреблены с этой доброй Земли, которую дал вам Господь, Бог ваш».

Так говорили левиты перед каждым сражением, и этого нельзя было не запомнить.

Но пока не видно, чтобы земля эта оказалась доброй, или так не повезло их колону: довелось воевать среди скальных круговых оград, как на громадных щитах из камня, с редкими клочками растительности такого же каменного цвета. Грязно-серые овцы, бродившие в поисках еды, были почти не видимы на сером камне.

Появилась безумная мысль выйти из шатра и разбить себе голову об эту несокрушимую землю. Все равно ведь его осудят на побиение камнями. Каждый бросит в него, сколько сможет, и войско уйдет, оставив за собою пирамиду из камней, в том самом месте, где он стоял.

Так или иначе, а не сидеть же ему вечно в черном шатре, брошенном хозяйкой. Он приподнял верблюжий полог и выполз на четвереньках.

Да так и не встал с колен... Господь явил ему чудо: Он раскрасил каменную пустыню, как богатую ткань, которую только халдейские мастера умеют так окрашивать. Будто кто-то громадный с приходом весны разбросал, чтобы проветрить, под пронзительно синим куполом неба свои дорогие вещи: рубахи, платки, пояса и циновки, ярко красные, желто-золотые, бело-розовые, нежно-пепельные и бирюзовые. Но все это было соткано не из ниток, а из живых трепещущих цветов, поля цветов, которые выплеснулись ниоткуда и за одну эту ночь усеяли все видимые и невидимые щели камня. Они разбежались, сошлись, и разлеглись, раскрыв свои крошечные рты, венчики, зевы. Невиданной свежестью веяло от их дыхания. Ветер шевелил и гнал волнами цветочное море, и в каждой чашечке, в каждом венчике, как на качелях раскачивалась пчела.

Значит, все-таки эта земля потечет молоком и медом!..

Женщина, та самая женщина, шла к нему среди цветов и несла глиняную миску с молоком. Овечье молоко залило бороду – так он неловко опрокинул миску. Она бережно, почти не касаясь, смахнула белые капли с жестких волос, не ведавших гребня...

Ну, как он может ее убить, когда даже наступить на цветок он не может?! Что ним случилось? Он спал, и ему снилась вчерашняя резня, и как его меч входит в тук живота другого человека, или он спит сейчас, и ему снятся камни, исполненные цветов, и эта женщина с глазами цвета ночи.

А она поставила у его ног миску с молочной лужицей на доньшке и стала выдергивать кольца, на которых был растянут шатер. Он, не думая, для чего и зачем он это делает, начал помогать ей сворачивать ткань шатра. Пока он собирал горшки и скручивал циновки, она привела осла, которого, как оказалась, прятала в пещере за скалой, оттуда же выгнала овец и пошла, ведя в поводу ослика, на чьих ножках плыло по морю цветов все ее имущество. Она шла, не оглядываясь, и он поплелся следом.

Он шел, не зная куда, и не мог оторвать взгляда от этой летящей женщины. Ветер сдул покрывало с короны, сооруженной из кос на голове, и, казалось, между рогами

своей золотой короны она несет утреннее солнце, которое плыло в том же направлении по краю пустыни. Шея, унизанная серебряными обручами, и сильная спина ее несли это невероятное сооружение без тени усилий, а бедра и ноги женщины, облепленные тканью, жили своей отдельной волнующей жизнью.

Он шел, рисовал ее внутри себя, и хотел...

А солнце уже покинуло ее косы, улетаая к центру прозрачной тверди неба. Женщина вела осла и мужчину в обход воинских станов, известным лишь ей путем в пересохших промоинах-вади, проделанных потоками в период дождей.

И он шел за нею, уже понимая, что уходит не только от побоев камнями, но и от своего народа навсегда. Это замедляло его шаг, но он шел, обливаясь потом, пока солнце не скатилось за круг земли...

И она подвела его к месту, где еще поблескивала вода в бывшем русле среди стрел пожелтевшего тростника. Здесь они начали ставить шатер. Она достала из вьюка молоток, и, пока он натягивал с силой углы ткани, она забивала колья, которые тоже возила с собой. Колья были из дерева, затвердевшего, как бронза, а молоток тяжелый. И как только игрушечная ручка женщины орудует таким молотком?

Однако не было времени удивляться. В пустыне ночь падает быстро. Она расстелила циновку в шатре, жестом указала ему лечь, сама взяла посуду и пошла доить овец. Он устал, рана в плече еще напоминала о себе, но он все-таки высунулся из шатра, чтобы взять камень под голову. Сколько он себя помнит, всегда спал с камнем под головою, потому что родился и жил в походе.

Когда голова оказалась на камне, он расслабил мускулы и обмяк в сладком ожидании ее.

Придет эта женщина, они выпьют молока и лягут вместе. Он не станет грубо задирать ей ноги, как это сделал вчера. Он осторожно, коснется ее, как коснулся бы одного из цветков пустыни так, чтоб не облетела пыльца. Терпеливо, чтобы не испугнуть, он будет гладить в местах,

где тело само поддается, пока ее дыхание не станет прерывистым, частым и тогда... Он заснул.

Она, не трогая полога, змейкой проскользнула в шатер. Он спал, всхрапывая, как ребенок, щекою на камне. Женщина приставила к открытому, не защищенному камнем, виску мужчины заостренный кол от шатра, подняла молоток и обрушила всю его тяжесть на расплющенный многими ударами тупой конец кола.



# Елена Матусевич

## Воображуля. Рассказы

Берлин. Трамвай. Зима.



- сколько еще остановок? 11,10, 9...
- Рождество, юность...
- Чужая юность. Все – суета.
- Сколько людей! Пакеты, хлопушки, подарки. Дети ждут.
- Уже не ждут. Наши уже не ждут. 9, 8
- Другие, другие ждут. Елочки везде...
- Иголки потом везде. Пылесосишь, пылесосишь, а все годами находишь. Пылесос раз совсем забился, помнишь?
- Курт в Рождество родился, помнишь?
- Сколько еще? 8, 7, 6
- Рождественская погода. Снег опять.
- Не будут убирать. Сколько еще?
- Подарков, шампанского, ветчины...
- Остановок до дома, до кресла, до гроба?

Ах, Берлин, что это с тобой такое? Старик ты или младенец беззубый? Зубы у тебя повыдраны и побиты. Зияют пустоты, торчат временные мосты, колют небо острые обломки, портят панораму советские чернеющие пломбы. Только золотые передние зубы восстановленных куполов как-то отвлекают внимание от разрушенных коренных: фабрик. Тебе бы сначала мертвой воды, чтобы срослись куски, мосты, улицы, дома, рельсы. А уж потом живой. Но так, как надо, бывает только в сказках. А в **были** живая вода сама по себе, мертвая сама по себе, текут, не всегда встречаясь. Бывает, мертвая вода давно прошла по городу, а живой все нет. А бывает, как здесь, дом еще

разрушен, а уже жив. В одном окне снег, в другом человек в пижаме. О, мой Берлин: шепелявый, однобокий, перекошенный. Не срастается у тебя, как перелом после неправильно наложенного гипса, всюду шрамы, швы, хирургические нитки, порезы, а то и открытые раны, и целые полосы омертвевших тканей. Не будет в тебе гармонии, но и гангрены не будет. Будет жизнь. Течет твоя жизнь на саночках, стареньких-старинных, по неубранному снегу к метро. Тянут саночки берлинцы в шерстяных пальто и вязанных домашних шапочках, нос в шарфе. Не торопятся, не толкаются, жизнь течет тихими ручейками улиц, течет, а не бьет ключом.

– Сколько еще там? 6, 5, 4

Свертки, хлопушки, банты, подарки. Подъезд, лестница, почтовые ящики, открытки, посылки, конвертики. Чисто. Сейчас позвонят в дверь. Стекаются, каждый к своему роду-племени, бабушкам, тетушкам, племянничкам.

– Полные руки, угодить каждому.

– Потратить кучу денег, которых и так нет.

– Все будут рады.

– Все останутся недовольны.

Будет скучно. Будет весело. Будет как всегда.

Трамвайчик поворачивает. Он легкий, его заносит. Держитесь за поручни! Детям смешно, старику обидно. Юность болтается посреди вагона, как и положено, кучей. Неустойчивый вагончик позволяет толкаться разными частями тела на поворотах. Чего вам еще?

– Юность.

– Безобразие.

– Юность это безобразие.

– Сколько там еще? 4, 3, 2

– Куда ты торопишься?

– А зачем вообще было ехать?

– А что дома делать?

– А что тут делать? Трясет!

– Жизнь трясет.

– А дома покой.

– Выходим, дорогая.

– Выходим, дорогой.

## А бабушки гуляли в Опочининском саду

Бабушки гуляли. Кругами, по садику, по дорожке. Внучки гуляли. Кругами, по газону, скачками. Параллельные миры, не сообщающиеся сосуды. Внучки не внучки, а олени. Олени скачут, скачут, скачут. Необъятен Опочининский садик, крепки его решетки. Не выскочат внучки на улицу, не собьются бабушки с пути.

Бабушки держат в руках свои авоськи и внучкины ранцы. Ранцы бы мешали скакать, скакать, скакать. Тяжелы детские обузы, но бабушкам нипочем. Руки привыкли к тяжести, руки забыли тяжесть, и бабушки гуляют. Не сядут на беленькую скамеечку, а все по кругу и все за беседой. Внучки ничего не видят, они олени. Бабушки ничего не видят, они уже не здесь. Для тех и других садик пуст. Круг придает направление бегу. Беседе.

«Надо звать их домой», говорят бабушки. «Сейчас нас позовут домой», говорят внучки. «Эх, неохота» думают внучки. «Эх, неохота» думают бабушки. Еще кружок? Еще кружок. Вьется беседа, несутся олени. Бабушки ни о чем не спрашивают, лишь бы не трогали. Внучки ни о чем не просят, лишь бы не трогали.

– Вы, наверное, голодные?

– Мы не голодные!

Неправда. Ну ладно.

Внучки: Ну, еще чуть-чуть. Ну, полчасака!

Бабушки: Ну что с ними делать? Пройдемтесь еще.

– Пройдемтесь еще.

Мария Харитоновна и Евдокия Никифоровна гуляют. Слыхали вы такие отчества? То-то. А нам повезло, нам привалило. Мы – последние в той еще, прямой ветви, ведущей оттуда, из другого мира, из другого века, к нам, в Опочининский садик, тот, что на углу Опочинина и Среднего проспекта Васильевского острова. Харитоновна, Никифоровна... эти отчества пахнут пирогами, пасхой, крахмальным бельем. В них смеется сочельник, облизывается масленица, отдыхает святая седмица. А за Харитоновнами да Никифоровнами уже встают и сами Харитоны и Никифоры, отцы. Добротные запахи, добротные люди. Да знаете ли вы и слово-то такое, добротный?

Любили они это слово, да дожили до того, что и сказать его стало и некому и не про что. Вот и говорили бабушки друг другу им одним ведомые слова, смаковали, хрустели, лакомились: благодарствуйте, помилуйте, будьте любезны...

Говорили они мерно, тихо, вдумчиво: городская барышня, модница, и летом в перчатках, и деревенская девушка, с ласковым волжским говором на «о» и характерным, исчезнувшим жестом, поправляющим платочек. Гуляют бабушки, склонив друг к другу седые честные головы, одна в неярком платочке, другая в голубом берете, одна в вечных «химических» кудельках, другая с толстым роговым гребнем на затылке. Сгинуло все. А все ведь казалось, что им конца не будет, вечным российским бабушкам: в платочках и в беретах, шляпках и панамках, в туфельках, валенках, тапочках, сапогах «прощай молодость»... Что как их не мори, не изводи, не безобразничай, все будут ими полны улицы, скверики, садики. Ан вот, все то и вышли! До единой.

И выяснилось, что мы никому не нужны. Они были последними, господа, кто согласен был любить нас, вас, их, все это неблагодарное свинство, бесплатно.

Нам бы тогда в ноги им валиться, а мы скачем. Мы олени, у нас глаза смотрят в разные стороны, нам недосуг. Взрывают копытца осенние листья, разлетаются аккуратно собранные кучи. Ой, что ж вы делаете? Ой, что же они делают?

- Надо домой.
- Надо домой.
- Четвертый час!
- Четвертый час?
- Да как же мы это, Мария Харитоновна?
- Да как же мы это, Евдокия Никифоровна?
- Да вот и не знаю.
- Да вот и не говорите.
- За разговором все, время-то и не видали.
- А дети со школы не кормленные.
- Анюта, все!
- Леля, все!
- Все.

## Татьяна Архиповна

И ведь не в первый раз мне приходилось рисовать кубы и пирамиды. Это помешательство началось с первого класса. В детском саду (ах как там было хорошо!) мы еще рисовали всякую всячину, ну там цветы, фигурки, радугу, а как попали в школу, так и пошли кубы и параллелепипеды. У моей первой учительницы было такое выражение лица, определить которое я смогла только очень много лет спустя, когда впервые увидела сталинский плакат «Не болтай! Болтун — находка для шпиона». В моей первой учительнице государство могло быть уверено: враг не пройдет. Цепкие и злые крошечные глазки смотрели зорко. И все мы были враги, находки для шпионов и нас надо было вовремя разоблачить и обезвредить, на будущее, заранее, навсегда. Но все были просто враги, так сказать, потенциальные, а было нас еще несколько, уже настоящих врагов, теперешних. Я полагаю, моя вражеская личина проступила уже в журнале, так как фамилия была уже не совсем благонадежной. Хотя был еще шанс, что я могла оказаться белорусской (и попадались же такие святые люди, спрашивали меня, а вы не белоруска?), или, на худой конец, полячкой, что тоже сильно не приветствовалось. Но когда фамилия отяготилась лицом, все со мной стало ясно. Плохо только, я об этом ничего не знала, и сказать мне было некому. Воспитывавшая меня русская бабушка не замечала, что возлюбленная внучка на нее так не похожа, радостно принимая коварные комплименты, касающиеся моих необычно густых черных ресниц и больших темных глаз. Был у нас один подготовленный мальчик, Миша Дуткевич, ему все заранее родители объяснили, и он знал, чего ждать от этой жизни. Я с ним в паре стояла на первой линейке, и мы проболтали всю линейку и «ничего не видели», как меня потом упрекала мама. А что там было видеть? А вот с Мишей следовало бы и дальше болтать побольше. Чудный был мальчик, умница, уехал, как и мы все, в Израиль, Канаду, Штаты? Тогда у всех детей были гладиолусы, а у меня и у Миши астры. Может, нас и в пару поставили по этому признаку? Тогда мне очень хотелось гладиолусов, и я стеснялась своих сиренево-розовых, каких-то мертвенно-

синюшных астр. Мама говорила, что не любит гладиолусы, а я ей не верила и думала, что мне купили астры просто потому, что они самые дешевые. И потом, у всех цветы были красиво завернуты, а у меня в мокрой газете и это было обиднее всего. Но я знала, что об этом нельзя говорить маме и Бусе, потому что они не виноваты.

Учительница была богатырских размеров, особенно меня поражали ее гигантские ноги-кегли в остроносых туфлях немислимого размера. Все в ней было острое и жалающее: нос, глаза, уши, острия туфель. У нее мы тоже раз в неделю рисовали серые ромбы и шары из папье-маше, только она не оценила скрытую гениальность моих водянистых натюрмортов и ставила мне тройки, так как двойки по рисованию не ставили. Однажды, на мое несчастье, в класс пришел мой отец, которого я знала так плохо, что при каждой встрече бабушка считала необходимым мне повторять что-то вроде «вот этот дядя высокий с бородой, это он, иди». Несмотря на все мамины старания, отцом я гордилась ужасно. Не то чтобы я его любила или он мне нравился, но в то короткое время, когда он обретал конкретное бытие, я именно этим и гордилась. Когда после урока рисования он узнал, что мне поставили за мой рисунок тройку, он взял и долго рассматривал мой листок. Потом он попросил других детей показать ему их рисунки. Отец отлично рисовал. В следующую секунду он уже волок меня к столу учительницы, собиравшей свои вещи (урок был последний). Выставив вперед мое жалкое произведение, отец потребовал объяснений, по какой причине мне одной поставлена была тройка, и чем мой рисунок хуже рисунков других детей. Она побелела от гнева, но сказала, что мой рисунок не соответствует стандарту. Стандарт лежал у нее в папке. Отец объяснил ей, что его дочка и дети вообще не соответствуют и не должны соответствовать никаким стандартам, что мой рисунок ничем не хуже чем у других, даже лучше, и что вообще она и права не имеет оценивать рисунки так как сама, судя по предъявленному стандарту, нисколько рисовать не умеет». Тройка превратилась в четверку, а мое дальнейшее пребывание в начальной школе — в ад. Воочию убедившись

в существовании сил международного сионизма, учительница взяла на себя благородную задачу по искоренению меня как личности. Но отцовская маленькая победа уже сделала свое дело, и последовавшие три года бесменного стояния в углу только укрепили во мне веру в мою исключительность. Ко мне навсегда прилипла гордая и мученическая репутация «воображули».



**Семен Резник**

## **Потерянная Россия**

**Лев Бердников. Щеголи и вертопрахи: герои русского галантного века. М., «Луч», 2008, 384 с.**

**Лев Бердников. Евреи в ливреях: Литературные портреты. М., «Человек», 2009, 352 с.**

**Лев Бердников. Шуты и остроловы: Герои былых времен, М., «Луч», 2009, 384 с.**



Лев Бердников – историк, литературовед, писатель. Эмигрировал из Советского Союза накануне его распада, живет в Лос-Анджелесе. Но мысли и чувства его остаются в России. Правда, не в той России, из которой он уехал двадцать лет назад, а куда более далекой. Умом и сердцем он пребывает в России, «которую мы потеряли», – по крылатому выражению известного кинематографиста.

Лев Бердников более десяти лет работал в Музее книги при Российской государственной библиотеке (бывшей библиотеке имени В.И. Ленина), защитил диссертацию о русской книжной культуре XVIII – начала XIX века. С этим и связан «период первоначального накопления» капитала, которым он, продолжая его пополнять, теперь щедро делится с читателями. В трех книгах Бердникова, проходит множество людских судеб и характеров, через них своеобразно преломляются особенности времени, в котором его героям пришлось жить и действовать, прослеживается возникновение, развитие и трансформация ряда весьма специфических культурных традиций. И, в конечном счете, вырисовывается неповторимый образ России, прекрасной и безобразной, лощеной и варварской, переменчивой и в чем-

то основном неизменной, иногда улыбающейся доброй улыбкой, но чаще обнажающей звериный оскал.

В числе героев повествования – выдающиеся деятели, которым Россия обязана тем лучшим, чем богата ее культура. Весьма привлекательна, например, фигура князя Василия Голицына, фаворита и фактического соправителя царицы Софьи, чьим биографическим очерком открывается книга «Щеголи и вертопрахи». Разносторонне образованный и лишенный большинства предрассудков своего времени, Голицын был одним из первых «щеголей» в России. Он знакомил страну не только с европейскими костюмами, но и с достижениями западного просвещения, стремился приобщить к нему своих соотечественников. Его по праву можно назвать одним из предшественников Петра, но окно в Европу он прорубал не топором, а личным примером и убеждением.

В той же книге не менее интересны очерки о Франце Лефорте, одном из наиболее влиятельных наставников Петра, о любовнице молодого царя Анне Монс и всем ее незаурядном семействе...

В книге около тридцати историко-биографических очерков и еще почти столько же в близкой ей по форме и по смыслу книге «Шуты и острословы». Перед читателями чередой проходят самые разные деятели сменяющих друг друга царствований и эпох, – как те, чье остроумие и «щегольство» способствовали позитивным переменам в российском обществе, так и те, чьи выходки отбрасывали страну назад. Любопытно, например, сопоставить роль двух светлейших князей Александров Меншиковых. Один из них, Александр Данилович, «был самым заметным, талантливым среди сподвижников Петра, его левой «сердечной» рукой – отважным воином, блестящим организатором, крепким хозяйственником; человеком предприимчивым, напористым, трудолюбивым, творчески активным», как характеризует его автор. А Александр Сергеевич Меншиков, правнук Александра Даниловича, слыл острословом, да столь невоздержанным на язык, что заработал репутацию опасного вольнодумца, за что в расцвете лет царь Александр Первый уволил его со всех

должностей. При Николае он снова пошел в году, царь давал ему все более ответственные поручения, которые он – одно за другим – проваливал. Венцом его карьеры стала Крымская война 1853-56 годов, которую он, в качестве дипломата, не сумел предотвратить, а затем, в качестве главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами в Крыму, позорно проиграл. Как показывает Лев Бердников, инициативу подчиненных он высокомерно подавлял, а сам ничего конструктивного предложить не мог, зато, перекладывая свою вину на других, оставался неистощимым на ядовитые остроты. Говорил, например, о военном министре князе В.А. Долгорукове: «Он имеет тройное отношение к пороху: он пороху не нюхал, пороху не выдумал и пороху не посылает в Севастополь».

Одно из центральных мест во всех трех книгах занимает крупная и противоречивая фигура Петра Первого, великого преобразователя и одного из самых жестоких тиранов. Видимо, нигде и никогда просвещение и прогресс не насаждались такими варварскими методами. А в их изобретении Петр был неутомим.

Всем хорошо известно о Полтавской битве, в которой он наголову разгромил шведов, хотя в решительный момент украинский гетман Мазепа переметнулся на сторону противника. Но многим ли известно, что в стремлении не только уничтожить, но заклеить и осрамить предателя Петр приказал, специально для него, отлить из десяти фунтов серебра орден Иуды, чтобы наградить им негодяя перед тем как подвергнуть его лютой казни. А когда этот план не удался (Мазепа ускользнул в Турцию и вскорости умер), Петр вручил единственный в своем роде орден ни в чем не повинному князю Юрию Шаховскому, одному из своих сатрапов, совмещавших серьезные государственные обязанности с ролью шута.

Читая книги Бердникова, убеждаешься, что князь Шаховской отнюдь не был исключением из правила: «царь преобразователь в своей повседневной жизни любил замешивать «коктейль» из серьезного и из глумливой шутки».

История сохранила сведения о многих людях из близкого окружения Петра, и чем дальше знакомишься с их судьбами, тем больше убеждаешься в том, что *глумление* было чуть ли не самой большой отрадой, а то и настоящей внутренней потребностью самодержца. Так он показывал себе и другим, сколь безгранична его власть над подданными.

Почти каждому «птенцу гнезда Петрова» приходилось в большей или меньшей мере играть шутовские роли. Показательна в этом отношении полная превратностей жизнь Никиты Моисеевича Зотова, который верой и правдой служил еще предшественникам Петра, что не избавило его от лютой опалы. Когда царь Федор Алексеевич неожиданно вытребовал его из ссылки, бедный Никита от страха чуть не лишился рассудка: он ждал самого худшего. Оказалось, однако, что царь сменил гнев на милость и решил приставить его к малолетнему своему братцу Петру – в качестве учителя и воспитателя. С того момента и до самой смерти Никита Зотов стал неразлучен с Петром. Он сопровождал Петра в заграничных поездках и военных походах, успешно выполнял самые разные, порой очень сложные поручения, будь то секретные дипломатические переговоры, организация работ по укреплению и расширению Шлиссельбургской крепости или выколачивание признательных показаний из «врагов трона» в пыточном застенке. А параллельно со всем этим ему приходилось юродствовать во Всешутейном и Всепьянящем Соборе, где устраивались дикие оргии и творилось откровенное богохульство. Никита Зотов был богобоязненным человеком, да еще и трезвенником, потому шутовские роли были для него особенно непереносимы. Но он был обязан участвовать в непотребствах, да так в них преуспел, что был возведен в ранг шутейного «князя-папы» и даже шутейного патриарха. Будучи уже 70-летним стариком и вдовцом, он запросился в отставку, намереваясь принять постриг и в тихом монастырском затворничестве вымалывать у Всевышнего прощения за свои бесчисленные грехи. Но Петр и этого ему не позволил, а повелел жениться, закатив шутовской свадебный пир на весь мир. А когда

«дядька» преставился, устроил ему балаганные похороны, еще более веселые, чем свадьба. До таких проказ государь император Петр Алексеевич был весьма охоч.

Не менее характерна судьба еще более знаменитого «птенца» из петровского гнезда, Петра Павловича Шафирова. Шафиров обладал обширными знаниями, большой энергией, немалым литературным талантом и невероятным тщеславием. Начав карьеру скромным переводчиком, он выдвинулся в число ведущих деятелей эпохи. А в 1711 году, во время неудачной военной авантюры, когда Петр со своей армией оказался в кольце многократно превосходящих турецких войск, Шафиров оказался спасителем императора и империи. Перед лицом неминуемого разгрома Петр направил его к турецкому паше для переговоров о капитуляции. Но Шафиров сумел выторговать такие условия мира, что Петру и его армии был обеспечен свободный выход из окружения, и при этом Россия отделалась небольшими территориальными уступками, в обмен на которые получила на довольно долгое время мир на южных границах (ради чего и был устроен тот злополучный поход). Шафирову дипломатическая победа обошлась очень дорого: он должен был остаться в турецком плену в качестве заложника, где провел два с половиной года в ужасных условиях, постоянно ожидая смерти. По возвращении из плена он был щедро вознагражден, удостоен баронского звания, высоких чинов и должностей. Но затем был обвинен в казнокрадстве и других преступлениях и приговорен к смертной казни, причем Петр громогласно заявлял, что никакой пощады, ввиду прошлых заслуг, ему не будет. Лишь в последний момент, на плахе, когда топор палача уже был занесен над его головой, смертная казнь была заменена ссылкой в Нижний Новгород, где он с семьей содержался под строгим караулом, на голодном пайке. Все имущество его было конфисковано. Только после смерти Петра он смог вернуться в столицу и снова занять государственные посты.

Как показывает Лев Бердников, Шафиров был большим забиякой. Занимая пост вице-канцлера, он постоянно ссорился с канцлером Головиным, коего

громогласно называл ничтожеством и даже построил себе роскошный дворец, чтобы перещеголять канцлера. Схлестнулся он и со светлейшим князем Меншиковым, что, по-видимому, и стало причиной его опалы. Но от Петра ему, как и Меншикову, и Зотову, и прочим «птенцам», приходилось сносить самые грубые надругательства. Бердников приводит эпизод, когда, во время одного из многочисленных пиршеств, царь поднес большую чарку водки дочери Шафирова, а она попыталась отказаться. «Я тебя выучу слушаться, жидовское отродье!», взревел царь и отхлестал девицу по щекам. Каково было отцу присутствовать при этой сцене и промолчать, история умалчивает.

Царь Петр, как и его предшественники (и преемники), евреев не жаловал, в пределы своих владений их не допускал. Но это не касалось крещеных евреев: по представлениям того времени, они утрачивали «каинovu печать» и дискриминации не подлежали. В окружении Петра насчитывался ряд выкрестов «еврейского происхождения»: обер-полицмейстер Петербурга Антон Дивьер, шут Ян Лакоста, видный дипломат Авраам Веселовский, который играл ведущую роль в поимке за границей царевича Алексея, но в последний момент, то ли по болезни, то ли по иным (м.б., моральным?) соображениям уклонился от участия в операции. Опасаясь гнева государя, он не вернулся в Россию, то есть стал невозвращенцем.

В книге «Евреи в ливреях»<sup>\*</sup> рассказано и о выкрестах, служивших российским государям до и после Петра. Почти в каждой очерке сообщаются подробности, показывающие, что об их еврейском происхождении забывали, когда они были в фаворе, но вспоминали, когда они впадали в немилость.

Название книги, как не трудно понять, навеяно известными строками Александра Галича: «Вы не шейте, евреи, ливреи, не ходить вам в камергерах, евреи...». Иные пуристы отмечали, что эти две строчки не стыкуются.

---

<sup>\*</sup> См также

<http://berkovich-zametki.com/2009/Zametki/Nomer19/Kagan1.php>

Ливрея – одежда слуги, лакея, камердинера, тогда как камергеры носили форменные мундиры. Но, если смотреть в корень, то их мундиры в России были тоже ливреями, ибо камергеры оставались лакеями, только высокопоставленными, о чем красноречиво говорят все три книги Льва Бердникова. Касается это не только «жидовского отродья» и не только петровской эпохи.

Один из очерков носит название «Оклеветанный эскулап» – о судьбе «лекаря Жидовина Мистро Леона из Венеции». Он прибыл в Московию из Италии вместе с группой художников и архитекторов по приглашению Софьи Палеолог – второй жены Великого князя Ивана Третьего. Вскоре заболел старший сын Великого князя (от первого брака) Иван Молодой, наследник престола. Мистро Леон определил у княжича подагру и взялся лечить ее известными ему средствами, но княжич вскоре умер (1490). За это неудачливому лекарю торжественно, при большом стечении публики, отрубили голову. Между тем, вина его состояла лишь в том, что, будучи чужестранцем, он не проник в тайны великокняжеского двора. Он не подозревал об интригах Софьи, жаждавшей, чтобы венец достался ее сыну Василию. Ей, по-видимому, удалось организовать медленное отравление Ивана Молодого змеиным (или каким-то другим) ядом, который ему незаметно добавляли в пищу, о чем наивный эскулап не подозревал. Еврейское происхождение врача облегчило задачу тех, кто решил свалить вину на него, но не оно стало решающим в его трагической участи. Как отмечает Бердников, цитируя Н.М. Карамзина, пятью годами раньше похожая участь постигла другого врача, немца Антона, когда умер его пациент – сын татарского князя Данияра.

Правда, изведя Ивана Молодого, Софья своего не добилась: Великий князь назначил наследником его сына (своего внука) Димитрия. Тогда Софья стала интриговать против матери Димитрия (вдовы Ивана Молодого) Елены.

Елена поддерживала группу просвещенных церковных и светских реформаторов, которых ретрограды давно уже обвиняли в «ереси жидовствующих», над чем они только смеялись, так как Великий князь покровительствовал

их начинаниям. Но Великий князь старел, а нападки на «еретиков» усиливались, и когда к ним присоединилась жена повелителя Софья, он стал колебаться и, незадолго до смерти, всех их «сдал». Официально осужденные на церковном Соборе, «жидовствующие» (среди них не было ни одного еврея) кончили жизнь на костре, на плахе или в заточении. Елена и Димитрий были сосланы в монастырь, где вскоре умерли или были умерщвлены. А наследником престола и затем Великим князем стал сын Софьи Палеолог Василий Иванович.

Интриги вокруг престола, сопровождавшиеся вероломством, раболепием, подсиживаниями, предательством, кровавыми столкновениями между враждующими кланами, не являются ведущей темой книг Льва Бердникова. Он, как уже отмечалось, повествует о культурных традициях, а не о политических переворотах и пертурбациях. Но одно с другим тесно связано, и потому политические разборки пунктиром проходят через все три книги.

Хотя система правления в России считалась монархической, в ней на протяжении столетий не было закона о престолонаследии, беспрекословное подчинение которому обеспечивает стабильность монархического режима. Такой закон – весьма несовершенный – появился только при Павле Первом, что, впрочем, не уберегло его от гибели. Традиция уважения и безусловного подчинения закону так и не укоренилась в России до самого конца, то есть до свержения самодержавия в феврале 1917 года. Достаточно вспомнить, что Николай Второй, которого генералитет армии заставил отречься от престола, в последний момент вписал в текст отречения, что передает верховную власть не сыну, а брату Михаилу, чем под корень подрубил последние надежды на сохранение престола. Однако среди тех, кто принимал отречение, не нашлось никого, кто указал бы на нелегитимность такого акта. Власть российских самодержцев традиционно основывалась не на законе, а на силе. Она добывалась силой и падала под воздействием силы. Это накладывало печать на все

общество, особенно высшее, состоявшее из тех, кто «жадною толпой стоял у трона».

Книги Льва Бердникова наглядно демонстрируют, что тогда как с течением времени различные культурные традиции углублялись, трансформировались, отмирали и возникали, политическая система власти оставалась почти неизменной. На смену свирепым правителям приходили более мягкие, на смену тупым и ограниченным держимордам – просвещенные, на смену воинственным – миролюбивые. Но система власти оставалась все той же. В ее основе лежали произвол, раболепие и вероломство, которыми затем в совершенстве овладели красно-коричневые наследники царизма. Из того, что представляла собой старая Россия, утрачено далеко не все. Кое-что сохранилось, и, к сожалению, не только самое лучшее.



## Вильям Баткин

### История одной главы

*...Разжигая печь и руки грея,  
Наново устраиваясь жить,  
Мать моя сказала: «Мы – евреи,  
Как ты смела это позабыть?..  
Маргарита Алигер, «Твоя победа»*



пространстве разбросанные, хотя, возможно, и с резонным смыслом, сменив среду и оболочку обитанья с подробностями роботного быта да и с тавром врожденным, здесь, в Израиле, наглотавшись досыта свободы, хотя порой и поперхнувшись ею, мы (я, по крайней мере) вдруг в себе в беззлобие обнаружили немеркнувшие лучики лучины, припрятанные на таможенном досмотре не в брезентовых баулах алии, а в тайниковых кожаных сумках.

Да, речь веду о радостных пристрастиях в стране той – безвозвратного Исхода, одна, но пламенная страсть – страницы, циклы, строки, словно кроны на дереве ветвистом и высоком русской поэзии, достойные столбцы и имена, одни – по праву в антологии вошли, другие – губительно забытые, хотя, надеждой тешу я себя, до срока, до поры – они о времени промозгло слово проронили и упустить их – грех...

Была такая компанейская игра, ваш слуга покорный ею увлекался крайне: в застолье щедром бросал проворно друзьям две-три строки поэта N, а в банке, на кону – новинки непременно, еще от типографской краски не остывшие собрания стихов, к примеру, Марины или Беллы, в то время бывшие предельным дефицитом; кто банк срывал, тот получал презент; выигрывал тот, кто точно продолжал затерянную, редкую строфу на память.

Не правда ли – азартная игра!

Мы с друзьями вбирали в круг увлеченности своей (да и приятелей с терпеньем приобщали) поэтов, созвучных нам, и круг придирчиво, ворчливо расширялся, а чтение чужих стихов, внезапно обнаруженных, но достойных – как праздник, как своя удача.

«...Скажи мне, какие стихи ты любишь, и я скажу тебе, кто ты...», – так Александр Кушнер, а ему не откажешь в праве, переиначил известный афоризм.



Уже в Израиле однажды довелось продолжить ту, преданную забвению игру – в иерусалимском издательстве я встретился с писателем одним, точнее – одной, очаровательной, вальяжной, молодой, а россыпи ее и зрелой и добротной русской прозы на зависть непостижимо высоки, для завязи беседы – лоск легких слов, и я нежданно для самого себя бросаю, словно пробный шар, шараду, шарм полузабытых строк поэзии военных лет...

О, этот томный взгляд презрительный прекрасных черных глаз, или привиделся, блеск улыбки беспощадной, или мне почудилось, и мигом – горстка строгих строк, продолживших безошибочно строфу, ту, мной ненароком брошенную. Откуда знать ей – прозаику из другого поколения, из времени иного – нам душу растревожившие строки из преданной забвению поэзии Маргариты Алигер?..

...Как школьница-подросток – по росту, по сложеню, и как подснежник нежный, еврейское дитя, в огне веснушек южных, с огромными глазами, взлохмаченные пряди каштановых волос, она – едва за двадцать, ворвалась, или вломилась, или врезалась закономерно и по праву в первые ряды русских советских поэтов, естественно, пусть ни у кого не вызывает сомнений, я говорю о лучших ее именах и образцах.

При внешнем благоденствии, заслуженном успехе и шумных публикациях в центральной прессе, и за пределами дерзкий бессчетных книг тираж, Маргарите Алигер досталась – не баловня, не в милости – а беспощадно жесткая судьба, совпавшая во временных и пространственных координатах с трагедией – предвоенной, военной, послевоенной всего народа – советского, российского еврейского.

В общей нещадной доле страны не обошло ее стороной и личное горе – смерть годовалого первенца, гибель в начале войны на фронте мужа – молодого композитора Кости Макарова, мама, затерявшаяся в эвакуационных эшелонах и обнаруженная в прикамском городке, и кровная родня, канувшая в пламени Катастрофы европейского еврейства и в сталинских лагерях, и новая встреча – обожгла недоброю любовью русского шального мужика, и смертей, едва ли не одновременно – старенькой мамы и друга близкого – Эмиля Казакевича – уже в шестидесятые...

Как она все выдержала, не пала духом, не сломалась насмерть – я знаю лишь один ответ, единственно возможный, достоверный – они спасли друг друга, в печальный час, но длившийся всю ее жизнь, критически, предельно напряженный, переломный, они пришли на выручку друг другу – поэзия и поэтесса.

...Оттуда, с той поры, от отрочества чуткого – моя любовь к стихам – и на всю жизнь, пожалуй, лишь с симоновскими «Жди меня» или «Убей его» сравнима по искренности, по накалу строк и по признанию в народе вся алигеровская лирика, в ней так естественно слились, как две реки, или по фазе совпали – и всенародное, и личное – ее

поэмы «Зоя» и «Твоя победа» и цокот щедрый ее любовных строк.

...Жди меня, страдание чужое,  
Стань родною мукою моей.  
Мне хотелось написать о Зое  
Так, чтоб задохнуться вместе с ней...  
Или:

...Я хочу быть твоею милой.  
Я хочу быть твоею силой,  
Свежим ветром, насущным хлебом,  
Над тобою летящим небом...

Тут подоспел сорок девятый год – и Голды горестный и гордый взгляд на преданно-восторженных евреев-москвичей в Рош а-Шана у здания хоральной синагоги, в теснине улицы Архипова, и Михоэлс, раздавленный в 48-м колесами грузовика в предместьях Минска, и дикое судилище над ЕАК, и ярлыки безродных космополитов – девятый вал антисемитизма катился черно и вольготно по городам и весям... Такое было время, мы в нем жили...



А что же Маргарита Алигер? Уже ходила в списках, в бесчисленных челночных разночтениях, летали строки той, восемнадцатой главы ее поэмы «Твоя победа» – в ней

жестко и сурово, и откровенно, и исповедально, как перед Богом, звучит вопрос нестарой женщины – и к дочери своей, известной поэтессе молодой, да и к нам:

...Мы – евреи,  
Как ты смела это позабыть?..

Хотя дочь и отвечает опечаленно и честно: «...да, я смела, понимаешь, смела...» – и мы, многие, положила руку на сердце, без утайки могли вслед за ней это повторить о себе, и твердили, ухватившись, словно за соломинку, за эту поэтическую реплику, но излишне быстро, мгновенно, скороговоркой, едва поспевая за материнским вопросом, в строчке последующей приходит ответ, словно оправдываясь – и перед мамой, и перед собой, и перед своим народом...

– Да, я смела, понимаешь, смела...

Дальнейшее течение главы, мы еще к нему вернемся в частности, точнее, не течение, а поток клокочущий, или ток, высоковольтное напряжение – подтверждало достоверно и безошибочно – Маргарита Алигер отродясь не забывала о своей принадлежности к своему народу великому, к его историческим корням и к трагическому настоящему – в те дни и годы террора это был вызов, протест, несогласие – гласное, печатное, хотя и цензурой процеженное, такое не прощали...

...Чью узрев невинность в приговоре  
Злого и неправого суда,  
Содрогнулась черная вода,  
Ахнуло и расступилось море,  
Для кого опресноки сухие  
Божье солнце щедро напекло.  
Сколько от Египта до России  
Верст, веков и судеб пролегло?  
Мама, мама, в вечности туманной,  
Страдным, непроторенным путем,  
Сколько до земли обетованной  
Ты брела под солнцем и дождем?..

Уже в Израиле, сызнова и изначально перечитав главу по двум изданиям, хотя первое когда-то знал на память, да испарились без призора рифмы, я выявил, немало изумившись, и авторскую правку текста во втором издании, и поединок – не на жизнь, а на смерть – допущенной к верхам, приласканной властями поэтессы с заплечными умельцами цензуры – за право слова правды о своем народе.

Нельзя не уточнить – поэма «Твоя победа» и глава писались по следам горячим – в сорок четвертом – сорок пятом, когда победа – да, переплаченная кровью, да, «мы за ценой не постоим» – через четверть века так утверждал Булат, – победа эта мерещилась Маргарите Алигер, ее приметывала она старательно и жадно собирала, и признанная светом, и призванная сердцем, она моталась по воюющей стране – и в осажденном стойком Ленинграде, и на фронтах, пятившихся к Волге, и в горестном исстрадавшемся тылу...

«...С пулей в сердце я живу на свете...», – выдохнет или выкрикнет она в декабре сорок первого, ко времени тому – вдова фронтовика, когда в утопленном снегами Чистополе, в татарском таломерзлом городке, у камелька на Каме, она отыщет маму, затерявшуюся в начале войны, отчаявшуюся, замкнувшуюся в мыслях своих, и там, в окраинном чужом домишке крохотном, при пламени ладанном лампы керосиновой, у чуточного утлого тепла чадающей металлической печки-временки и состоится ее главный разговор с мамой, на который спустя три года она откликнется поэмой «Твоя победа» и стрежневой восемнадцатой главой.

...Разжигая печь и руки грея,  
И не зная дальше, как ей быть,  
Мать моя сказала: «Мы – евреи,  
Как ты смела это позабыть?..»

Но слово за слово, тяжелый с мамой разговор вдруг обернулся в монолог поэта – страстный, раскаленный – и по исповедальности, и по нацеленности, по ритму напряженному, по образности речевой, а вопрос ребром – как ты смела это позабыть? – как импульс, побудительный толчок или добавка дрожжевая, на которой взошла и

выстроилась колоритная композиция ее поэмы, восемнадцатой главы.

...Это правда, мама, я забыла,  
Я никак представить не могла,  
Что глядеть на небо голубое  
Можно только исподволь, тайком,  
Потому что это нас с тобою  
Гонят на Треблинку босиком,  
Душат газом, в душегубках губят,  
Жгут, стреляют, вешают и рубят,  
Смешивают с грязью и песком.  
«Мы – народ во прахе распростертый.  
Мы – народ, поверженный врагом...»  
Почему? За что? Какого черта?  
Мой народ, я знаю о другом.  
Знаю я поэтов и ученых  
Разных стран, наречий и веков,  
По-ребячьи жизнью увлеченных,  
Благородных, грустных шутников,  
Щедрых, не жалеющих талантов,  
Не таящих лучших сил души.  
Знаю я врачей и музыкантов,  
Тружеников – малых и больших.  
И потомков храбрых Маккавеев,  
Кровных сыновей своих отцов,  
Тысячи воюющих евреев –  
Русских командиров и бойцов.  
Прославляю вас, во имя чести  
Племени, гонимого в веках,  
Мальчики, пропавшие без вести,  
Мальчики, убитые в боях.  
Поколение взрослых на свободе,  
В молодом отечестве своем,  
Мы забыли о своем народе,  
Но фашисты помнили о нем.  
Грянул бой. Прямее и суровой  
Поглядели мы на белый свет.  
Я не знаю, есть ли голос крови,  
Знаю только: есть у крови цвет...

А цензура, цепко скрипя зубами, помнила о ней. И если прежде, во времена военных лихолетий ее хранила, пылинки бережно сдувала неизменно «Зоя» – заслуженное, зоркое признание поэмы народом и властями параллельно, что редко крайне, то в сорок девятом, когда с цепей спустили услужливых упырей-антисемитов и Маргарите Алигер припомнили успех и грехи, и реквием по племени, гонимому в веках... и выжившего – мы тому свидетели...

Известно мне и по рассказам очевидцев, и по воспоминаньям поэтессы – 16 февраля 1949 года назначен ее творческий вечер, был такой печально-нарочитый метод избияния, а с утра – в центральной прессе разгромные статьи, все имена писателей, как на подбор, еврейские, с разоблачением скрытых псевдонимов, и в числе прочих – Маргарита Алигер... Ату ее!

Она читала напряженно-жестко, и чисто, и достойно. В клубе писателей на Герцена – зал переполнен, но тишина напряжена, как перед бурей надвигающейся, ощетинились наизготове недругов дружины, а друзья, лишь очи долу опустив, страшились обнаружить свои пристрастия...

Вдруг слова попросил Светлов... Мудр, как ребе, добр и острослов, к рифме причастившийся и к зелью, Михаил Аркадьевич Светлов подошел к трибуне, прикоснулся к ней легко, небрежно – прозвучали нужные слова, умные, спокойные, не робкого десятка – так в рукопашной прикрывают друга, так закрывают амбразуру... «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты...»

«Список Алигер», реестр друзей Маргариты Алигер, нет, не знакомцев добрых, не приятелей – друзей – высок да и завиден, лишь вслушаться: Михаил Аркадьевич Светлов и Корней Иванович Чуковский, Самуил Яковлевич Маршак и Илья Григорьевич Эренбург, Анна Андреевна Ахматова и Пабло Неруда... Именно об этих удивительных людях прошлого, уже истаявшего века Маргарита Иосифовна оставила точные и яркие зарисовки-воспоминания.

Свои воспоминанья о друзьях Маргарита Алигер оставила в единственной книге прозы «Странствия и встречи» («Художественная литература», 1975). У Маргариты Иосифовны есть маленькая поэма «Из записной

книжки», триптих своеобразный, каждая часть-главка которого начинается строкой: «...Когда-нибудь я напишу рассказ», «Когда-нибудь я повесть напишу», «Когда-нибудь я напишу роман»...

Увы, ей не сложилось написать ни рассказ, ни повесть, ни роман, но «Странствия и встречи» – такой высокой пробы проза поэтессы, что следует лишь поклониться ей. Ее воспоминанья о друзьях, их литературные портреты и точны, и своеобразны, и дороги для нас, любящих поэзию... Об Анне Андреевне Ахматовой уже написаны тома воспоминаний, и свыше по объему того, что нам оставила великая поэтесса русская, но в записках Алигер мы встретили ее другой – и будничной, и женственной, вне сиянья славы, в халатике домашнем.

Позволю себе привести один отрывок из той поры порывистых шестидесятых, когда А.А. Ахматова по приезде в Москву останавливалась, и надолго, в радушном доме Алигер.

«...Первый вечер с Анной Андреевной в нашем доме прошел весело и приятно – долго пили чай, смеялись, шутили. Разошлись мы довольно поздно, Анна Андреевна ушла к себе и легла, а мы с моей дочкой Машей еще долго мыли посуду и убирались. Потом и я легла. И вдруг зазвонил телефон. Телефон в час ночи – это могло означать только одно: кому-то худо, кто-то болен, нужна помощь, врач, совет... Маша кинулась к телефону, а я пошла за ней вслед, внутренне уже готовая ко всему.

– Это вы, Маргарита Осиповна? – спросил рыдающий женский голос, и пока я напряженно пыталась понять, чей же это голос, женщина торопливо и возбужденно заговорила. – Вы меня простите, пожалуйста. Вы меня не знаете, и я вас тоже никогда не видела. Но я знаю ваши стихи, и они мне часто помогали жить. Вот я и решила вам позвонить, поняв, что иначе не переживу ночь. Только вы одна можете помочь, сказать, как я должна поступить, что мне делать. Простите меня, Маргарита Осиповна, скажите, пожалуйста, если муж изменил, можно это пережить?

– Можно, можно, можно! – радостно завопила я.

Маша испуганно отшатнулась – она ведь не знала, в ответ на какой вопрос раздался мой счастливый вопль. А я была настолько обрадована, что никто нигде не умирает, что истинное горе моей полуночной confidentки показалось мне впервые в жизни совершенно несущественным и легко поправимым...

...Утром я спросила Анну Андреевну, не разбудил ли ее ночной звонок? Нет, она ничего не слышала. Тогда я подробно рассказала, как со страшным сердцебиением бежала к ночному телефону, и даже интонационно постаралась передать сбивчивый монолог моей собеседницы, закончившийся столь категоричным вопросом: «Если муж изменил, можно это пережить?»

– Можно, можно, можно! – точно так же, как я вчера, почти закричала Анна Андреевна.

И я даже пожалела, что не могу сообщить моей ночной собеседнице, что меня целиком поддерживает такой высший эксперт в вопросах любви и любовных страданий, как Анна Андреевна.

...Златоустой Анне –  
Всея Руси Искупительному глаголу –  
Ветер, голос мой донеси  
И вот этот мой вздох тяжелый...

Это уже Марина Цветаева – Анне Ахматовой, но в начале века, в 1916 году...

Но вернемся к восемнадцатой главе – к изданию 1970 года, во время страшное и памятное, в эпицентр брежневского застоя, тогда цензура жестоко и безжалостно выламывала руки, словно прессом, давила любое свободомыслие, особо – национальное, а еврейское – издревле под запретом. И дрогнула Маргарита Иосифовна – чтоб сохранить поэму «Твоя победа» с ее восемнадцатой главой – центральной, стержневой, не вымарала взрывные строки, а изменила, подчистила, по мне бы – лучше б от поэмы отказалась... Приведу лишь некоторые изменения.

Издание 1947 года:

Мы – народ, во прахе распростертый,

Мы – народ, поверженный врагом...  
Почему? За что? Какого черта?  
Мой народ, я знаю о другом...

Издание 1970 года:

Стерты в прах, во прахе распростерты.  
Это мы с тобой? Каким врагом?  
Почему? За что? Какого черта?  
Не хочу и помню о другом...

Вместо четких, отточенных поэтических формул М. Алигер, словно в спешке, убирает главное: «Мы – народ...», «Мой народ...», предлагает вялую, неравнозначную, холодную строку: «...не хочу и помню о другом...»

...И потомков храбрых Маккавеев,  
Кровных сыновей своих отцов,  
Тысячи воюющих евреев –  
Русских командиров и бойцов...  
(1947)

...Помню не потомков Маккавеев,  
В комсомоле выросших ребят,  
Тысячи воюющих евреев –  
Русских командиров и солдат...  
(1970)

Более всего меня потрясла измененная первая строка: «...помню не потомков Маккавеев...» – уверен, поэтесса дрогнула и под давлением цензуры, и под натиском потока примитивных рифмованных откликов-обвинений своих собратьев, типа: «...Вы вызываете к останкам Маккавеев, Мендельсона, Гейне...», или «...Хаймович умирал на Рейне, а Эйнштейн на Миссисипи – жив!» или «...Ваш елейный ропот не иссушит слез...»

Господи, как надо Тебя не страшиться, чтобы о стихах Алигер 1947 года написать: «елейный ропот»!

...Прославляю вас, во имя чести

Племени, гонимого в веках,  
Мальчики, пропавшие без вести,  
Мальчики, убитые в боях.  
(1947)

...Вы пошли со всем народом вместе,  
Под одной звездой, в одном строю,  
Мальчики, пропавшие без вести,  
Мальчики, убитые в бою.  
(1970)

«...Не суди судимого» – говорит русская поговорка, а уже в Израиле вычитал я у одного из наших великих еврейских пророков: «...не суди человека, пока не окажешься на его месте...» – мудрое, точное уточнение. Да я и не сужу – с горечью констатирую: нашу прекрасную поэтессу Маргариту Алигер тогда сломало и время, и цензура, и безудержный поклеп евреев-графоманов, вероятно, в их понимании – искренний...

Так сложилось – в 60-70-е годы, скажу так, меня прибило к журналу «Дружба народов» – достойному, читаемому, где мне случалось изредка публиковать свои переводы с украинского и белорусского, иногда по заданию Валентины Георгиевны Дмитриевой, заведующей отделом поэзии, высокой красивой русской женщины с чутким поэтическим слухом, внешне похожей на А.А. Ахматову. Более года переводил я сонеты Леонида Первомайского (Гуревича) – известного украинского поэта и прозаика, его роман «Дикий мед» – прозу поэта – читали с восторгом. Однажды позвонил Валентине Георгиевне, услышал:

– Ваш Первомайский понравился, засылаю...

Через некоторое время захожу в «Дружбу народов» – в узком, словно келья, кабинете заведующей – посетительница, пожилая, аккуратенькая, в костюм-тройке, над седыми кудряшками – модная шляпка. Не хотел мешать – вышел покурить.

– Что же вы изволили испариться, познакомились бы...

– А мне как-то пока бабушки не интересны! – отреагировал я с бравадой.

– Так «бабушка» эта – Маргарита Иосифовна Алигер, кстати, именно варианты ее перевода Первомайского редколлегия приняла, а ваш отвергла...

Шли годы, я всегда с восторгом перечитывал редкие публикации Маргариты Алигер, затем и они исчезли, словно забыли их напрочь, но преднамеренно. Внезапное известие о ее смерти воспринял опечаленно, словно потерю дорогого человека, таким она и была для меня, для многих. Ее нашли мертвой в овраге, на тропинке между писательскими дачами в Переделкино и ж/д станцией – торопилась на электричку, запыхалась, упала, подбежали прохожие – она уже не дышала.

Сожалею, не познакомился тогда в редакции «Дружбы народов», но встреча, еще в юности, с её поэзией, с ее лирикой, на редкость своеобразной и искренной, оставила глубокий след на всю жизнь...

Здесь, в Израиле, мысленно и печатно возвращаясь к еврейскому созвездию в русской поэзии, посчитал своим долгом или правом рассказать и о Маргарите Алигер, незабываемой нашей прекрасной поэтессе – именно она в годы войны всколыхнула наше ассимилированное сознание, гневно напомнила: «Мы – евреи, как мы смели это позабыть!»



# Игорь Ефимов

## Ясная Поляна

### Экранизация долгой семейной жизни

#### Необходимые предуведомления



этом сценарии практически нет ни одного слова, сочинённого автором. Все монологи, реплики, комментарии и диалоги взяты из писем, дневников, воспоминаний супругов Толстых, их детей и родственников, их друзей и знакомых, навещавших Ясную Поляну в годы 1860-1910, изредка – из прозы Л.Н. Толстого.

Существует вполне оправданное предубеждение против «копания в личной жизни» великих людей. Однако щепетильный читатель/зритель должен иметь в виду, что граф и графиня Толстые с самого начала своего супружества взяли за правило не иметь никаких тайн не только друг от друга, но и от широкого круга своих знакомых и современников. Они давали друг другу читать свои дневники и письма к другим лицам, при жизни открывали доступ к этим материалам и своим детям, и родственникам, и биографам. В начале 1900-х Софья Андреевна предприняла долгий труд по переписке начисто дневников своего мужа, чтобы ещё при его жизни сдать их в Исторический музей. Сам Лев Николаевич давал своим дочерям читать его дневники и делать из них выписки. В какой-то момент часть дневников была отдана для хранения и использования В.Г. Черткову. Всё это свидетельствует о том, что Толстые хотели быть услышанными. Они верили, что их душевный опыт поможет людям открыть какие-то важные тайны нашего бытия на Земле. Вглядываясь в их жизнь, мы не должны чувствовать себя припавшими к замочной скважине, а наоборот – приглашёнными в зрительный зал, где на сцене разыгрывается реальная драма их жизни, достигающая порой накала – и безысходности – греческих трагедий.

Многие друзья и близкие родственники супругов Толстых смутно ощущали надличную важность того, что происходило

между этими двумя, и пытались оставить нам свидетельства и зарисовки. Подробные дневники вели музыкант Гольденвейзер, домашний врач Маковицкий, секретарь Н.Н. Гусев, дочь Александра Львовна. Ближайший друг и наперсник, Владимир Григорьевич Чертков, копировал и сохранял чуть ли не каждое письмо, написанное Толстым, каждую запись на клочке бумаги. Почти все дети впоследствии написали и опубликовали воспоминания о жизни в Ясной Поляне. Наверное, с таким же волнением следили зрители за первыми пассажирами воздушного шара: уцелеют или разобьются? Могут ли двое сохранить свою любовь под испепеляющим светом полной искренности или обречены на катастрофу?

Поскольку каждая запись в дневнике одного из супругов предназначалась для прочтения другим, мы имеем право прочитать эти дневниковые записи как бесконечный диалог. Режиссёр волен выбрать свои сценические приёмы для переноса этого диалога на экран телевизора или театрально-сцену. Но автору представляется наиболее художественно оправданным такое построение мизансцены, при котором персонажи обращены чаще лицом не друг к другу, а к зрителю. Они могут даже присутствовать одновременно на разделённом надвое экране. Вообразим, что телевидение было изобретено на сто лет раньше: весьма вероятно, что в этом случае Толстые оставили бы нам не записи, сделанные пером, а телевизионные ленты со своими исповедями, которые бы оставалось только смонтировать в хронологической последовательности.

Также режиссёру предстоит решить важный вопрос: главные персонажи должны постареть по ходу действия на пятьдесят лет; искать ли помощи гримёров или использовать разных актёров для первых и последних актов? Возможно, это будет в значительной мере определяться бюджетом и сроками постановки, а здесь автор уже не властен и должен полностью довериться продюсерам. Возраст персонажей в каждой сцене легко определить по датам их жизни, приведённым в конце.

Если того требовали законы драматургии, в некоторых сценах строгая документальность и хронология событий были нарушены. Так, например, скачки башкирских конников были устроены Толстым в его Самарском имении не в 1873 году, а двумя годами позже. Сцена, в которой сын Лев лепит бюст отца, помечена 1901-м годом, хотя имеющиеся документальные свидетельства относят сеансы позирования к более позднему времени. И так далее.

При работе автор пользовался многими опубликованными источниками, большинство их упомянуто в библиографии, помещённой в конце. Бесценную помощь в добывании этих книг оказали мне Лев и Ирина Самаровы, в течение года они отыскивали и слали мне домой нужные издания. Также щедро делились сокровищами из своих домашних библиотек или перебрасывали мне «книги про Толстого» Михаил Беломлинский, Лев и Таня Гордон, Ирина Жежко, Галина Звягина, Виктор и Лиля Пан, Марк и Марина Подгурские, Владимир Порудоминский, Алик Рабинович, Семён Резник, Ирина Рейфман, Ирина и Эдуард Служежские, Виктор и Людмила Штерн, Гриша и Саша Эйдиновы. Отдельную и огромную благодарность автор должен выразить штату Пенсильвания. Электронное объединение каталогов всех пенсильванских библиотек позволило ему в скромном провинциальном городке получить лёгкий доступ к многомиллионному книжному собранию. Наши дети, конечно, уже пользуются всеми чудесами Интернета и Гугла без всякого удивления. Но мы – мы будем испытывать благодарность и изумление до конца дней своих.

*Игорь Ефимов*

## **Акт первый**

### **Марьяна**

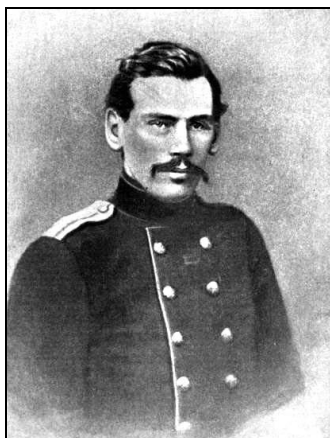
*Панорама Кавказских гор, закат. Дата в углу экрана – 1853. Военная палатка с откинутым пологом. Молодой Толстой, в офицерском мундире, сидит на табурете, чернильницу поставил на зарядный ящик. Пишет.*

ГОЛОС ТОЛСТОГО: Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщениия или страсти истребления себе подобных? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой, этим непосредственным выражением красоты и добра.

Война? Какое непонятное явление? Когда рассудок задаёт себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? – внутренний голос всегда отвечает «нет». Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения – справедливым.

*Горница в деревенском доме, с добротными бревенчатыми стенами. Занавески на окнах, герань в*

*горшках, свеча на столе. Толстой, в расстёгнутом мундире, спиной к зрителю, пишет в раскрытой тетради.*



Лев Николаевич Толстой

ГОЛОС ЛЬВА ТОЛСТОГО: Мне необходимо иметь женщину. Сладострастие не даёт мне минуты покоя... Хочу вступить опять в колею порядочной жизни – чтение, писание и порядок, и воздержание. Из-за девок, которых не имею, и креста, которого не получу, живу здесь и убиваю лучшие годы своей жизни. Глупо!.. Завтра пересилить свой стыд и решительно действовать насчёт Федосьи. Писать «Отрочество» утро и вечер...

Два раза имел Катерину. Дурно. Я очень опустил... Соломонида уехала совсем, а Федосья не соглашается под предлогом, что я уезжаю. У неё рожа разбита. Ровно три месяца праздности и жизни, которой я не могу быть доволен... В последний раз говорю себе: ежели пройдёт три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя. Помогите мне, Господи!..

*Та же горница, но за окном – день. Толстой у стола, с пером в руке, в рубашке. Мундир висит на спинке стула. Дата – 1854.*

Л.Н.: Я дурён собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребёнок. Упрекаю себя

за лень и в последний раз. Ежели завтра я ничего не сделаю, я застрелюсь. Ещё упрекаю за непростительную нерешительность с девками.

*В правом верхнем углу экрана загорается дата: 1855 – на фоне старинных фотографий Севастопольской обороны. Слышны звуки канонады.*



Оборона Севастополя. Фрагмент панорамы

ГОЛОС ТОЛСТОГО: Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от французской траншеи... И эти люди, христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед Тем, Кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе со страхом смерти, любовь к добру и к прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья?

Где в этой повести выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать? Кто злодей, кто герой её? Все хороши и все дурны.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.

*1856 – на фоне фотографии «Толстой с русскими писателями»; обложки журнала «Современник» и выходящих книг – «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы».*



Стоят: Л.Н. Толстой, Д.В. Григорович. Сидят:  
И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.В. Дружинин, А.Н. Островский

**Сноска за кадром** (в виде почтовой открытки с виньетками):

Я люблю в вас великую надежду русской литературы, для которой вы уже много сделали и для которой сделаете ещё больше, когда поймёте, что в нашем отечестве роль писателя – есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и принижённых.

*Николай Некрасов*

*1857 – виды городов, которые Толстой посетил во время первого зарубежного путешествия: Париж, Женева, Люцерн, Баден, Дрезден. Музыка Бетховена.*

*Вид из окна усадьбы Ясная Поляна, Толстой, в штатском, у стола с пером. Дата – 1858.*

Л.Н.: Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чичерина, Олсуфьева, Ребиндер – я во всех был влюблён... Я был в наиудобнейшем настроении духа для того, чтобы влюбиться... Катерина Львова – красивая, умная, честная и милая натура; я изо всех сил желал влюбиться, виделся с ней

много – и никакого!.. Что это, ради Бога? Что я за урод такой? Видно, у меня недостаёт чего-то...

Какой Троицын день был вчера! Какая обедня с вянущей черёмухой, седыми волосами и ярко-красным кумачом и горячее солнце. Видел мельком Аксинью. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу. Я дурак, скотина. Красный загар, глаза... Я влюблён, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Завтра все силы...

*Толстой, в расстёгнутом сюртуке быстро идёт по лесу. Впереди за стволами мелькает пёстрый сарафан, голые плечи Аксиньи. Настигает, целует...*

*Снова в комнате, у стола – пишет. Дата – 1860.*

Л.Н.: Аксинью продолжаю видеть исключительно... Мне даже страшно становится, как она мне близка... Уже не чувство оленя, а мужа к жене. Странно – стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщения и не могу. Её равнодушие трудовое, непреодолимое – больше всего возбуждает это чувство.

*Закрывает тетрадь. Крупным планом – обложка с надписью Дневникъ.*

#### **Сноска за кадром:**

Христианство поднесло Эроту чашу с ядом. Но он не умер, а только выродился в порок.

*Фридрих Ницше*

*Село Покровское, подмосковная дача семейства Берс, лето 1862. Толстой помогает выйти из кареты сёстрам Берс – Елизавете (19 лет), Софье (18 лет), Татьяне (16 лет). Все идут в дом.*

Л.Н.: (взволновано) Представьте, в моём доме в Ясной Поляне, в моё отсутствие, жандармы провели обыск. Они ввалились в дом около полуночи, тётенька и сестра Маша ложились спать. Полицейские чиновники потребовали ключи от шкапов и комодов, вина и еды. Они перерыли всё, что могли, но не нашли ничего, к чему можно было бы придраться. Слава Богу, горничная Дуняша догадалась схватить со стола мой портфель и унести его в сад, спрятать в канаве.

ТАНЯ БЕРС: А что было в портфеле?

Л.Н.: Тоже ничего особенного, но всё же: портрет Герцена, его письма ко мне, журнал «Колокол». Потом закинули рыболовную сеть в пруд, искали спрятанный печатный станок – каково! Они были уверены, что мой журнал «Ясная Поляна» печатается в тайной типографии, хотя на книжках ясно напечатано: «Типография Каткова».

ЛИЗА: Какая тупость!

Л.Н.: Мало того: один из чиновников открыл мой письменный стол, сломал замок, так как ключ от стола я всегда брал с собой, куда бы ни ехал. Они читали вслух мои самые сокровенные дневники и письма. Сестра Машенька присутствовала при этом.



София Андреевна Берс

СОНЯ: Вы до сих пор ведёте дневник?

Л.Н.: Конечно. Жандармы не могут понять, что этим обыском они опозорили моё имя, подрывают доверие крестьян и соседей... В России жить нельзя! Надо бежать отсюда за границу. Я сейчас приехал в Москву, чтобы лично передать государю письмо, где я пишу о происшедшем.

СОНЯ: Но если вы уедете за границу, будут говорить: «значит виноват, коли скрывается». Всякий рад злословить насчёт ближнего. Вы дадите врагам своим пищу для этого.

**Сноска за кадром:**

Прощай, немытая Россия, / страна рабов, страна господ, /  
и вы, мундиры голубые, / и ты, им преданный народ.

*Михаил Лермонтов*

*Толстой в гостиничном номере в Москве. Перед ним  
Дневникь.*

Л.Н.: Семья Берс мне особенно симпатична, и если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье... Провёл приятный день у Берсов, но на старшей, Лизе, не смею жениться... Она искушает меня, но этого не будет... Бедная Лиза!.. Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой. Вечером она долго не давала мне нот. Во мне всё кипело...

*Дача Берсов в Покровском. Соня и Таня со смехом  
носятся вверх-вниз по лестницам. Толстой подхватывает  
Таню, усаживает её себе на спину, изображает коня. Соня  
выбегает на улицу, садится в пустой кабриолет без лошади.*

С.А.: Когда я буду государыней, я буду разъезжать в таком кабриолете!..

Л.Н.: *(забегает перед кабриолетом, подхватывает  
оглобли)* А я буду катать мою государыню! *(Катит  
кабриолет по улице.)*

С.А.: Не надо, не надо, вам тяжело!

Л.Н.: *(Останавливается передохнуть,  
оборачивается к Соне)* Скажите, вы ведёте дневник?

С.А.: Давно, с одиннадцати лет. А два года назад написала длинную повесть.

Л.Н.: Дайте мне прочесть ваши дневники.

С.А.: Нет, не могу.

Л.Н.: Ну, тогда повесть.

С.А.: Хорошо...

Л.Н.: *(у стола, пишет в тетради)* Соня – ребёнок, а в повести что за энергия правды и простоты!.. У меня в голове путаница большая... Я боюсь себя; что ежели и это – желание любви, а не любовь? Я стараюсь глядеть только на её слабые стороны и всё-таки – оно!.. Дурак, не про тебя писано, старый чёрт, пиши критические статьи. Не суйся туда, где молодость, поэзия, красота, любовь... Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться... Уехать из Москвы не могу, не могу... До трёх часов не спал.

Как шестнадцатилетний мальчик мечтал и мучился... Я, который смеялся над страданиями влюблённых... Над чем посмеёшься, тому и послужишь... Господи, помоги мне... Нельзя больше страдать и быть счастливым... Каждый день я становлюсь безумнее... Боже мой, как я боюсь умереть... Счастье и такое, мне кажется, невозможно... Но надо, необходимо разрубить этот узел... Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится...

**Сноска за кадром:**

Вы не умеете жить легко. Вы хотите во всём полноту и ясность – и хотите всё это тотчас. Вы беспрестанно щупаете пульс своим отношениям с людьми и собственным ощущениям: всё это мешает гладкому и ровному течению дня.

*Иван Тургенев*

*Гостиная в московском доме Берсов в Кремле. Почти вся семья в сборе. Среди гостей – Афанасий Афанасьевич Фет (42 года) с женой. Толстой за руку подводит к нему Таню.*

Л.Н.: Дорогой Фетушка, позвольте представить вам нашу новую Виардо. Она только что разучила романс Варламова на ваши слова. Но на мои уговоры спеть не поддаётся. Попробуйте вы.

ФЕТ: Милая Татьяна Андреевна, неужели не захотите порадовать автора, потешить его тщеславие? Гостеприимство – дело святое.

ТАНЯ: Хорошо. Но предупреждаю, что в последнем куплете могу не вытянуть ноту. И это будет на вашей совести.

*Толстой садится к роялю. Таня поёт «На заре ты её не буди». Камера панорамирует по лицам присутствующих: сестра Лиза, Любовь Александровна Берс (36 лет), жена Фета, Мария Петровна (34 года). Фет не сводит глаз с Сони.*

*В соседней комнате горничная убирает игральные карты со стола, зажигает свечи. Мечтательно слушает пение. Когда романс кончается, раздаются крики «Браво! Бис! Бис!». Горничная выходит.*

*Вбегает Таня, оглядывается. Слышит шаги и прячется за ширму. Входят Соня и Толстой, садятся за ломберный стол, на котором шла карточная игра.*

Л.Н.: Софья Андреевна, вы можете прочесть то, что я напишу вам мелом на сукне, но только начальными буквами?

С.А.: Я попробую... *(следит за его рукой с мелком)*  
Вэ, эМ, И... Пэ...

Л.Н.: *(подсказывает)* Ваша мо...

С.А.: Молодость?.. и...

*Расшифровывают вдвоём: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья...»*

Л.Н.: Я загадал: если Таня возьмёт последнюю ноту, я вручу вам письмо... Вот оно... Я носил его в кармане два дня... Хочу, чтобы вы прочли его и дали мне ответ...

*Соня берёт письмо убегает из гостиной, спешит вниз по лестнице, запирается в своей комнате. Читает письмо.*

ПИСЬМО ТОЛСТОГО: «Софья Андреевна! Мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю *нынче всё скажу*, и ухожу с той же тоской, раскаяньем, страхом и счастьем в душе. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне неостанет духу сказать вам всё... Повесть ваша, где я выведен под именем Дублицкого, засела у меня в голове и убедила в том, что мне – Дублицкому – не пристало мечтать о счастье, что ваши отличные поэтические требования к любви я выполнить не смогу... Но я не могу уехать и не смею остаться. Вы, честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради бога не торопясь, скажите, что мне делать. Скажите как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать ДА. А то лучше скажите НЕТ, ежели есть в вас тень сомнения в себе... Мне страшно будет услышать НЕТ, но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, – это будет ужасней.

*В гостиной взволнованный Толстой расхаживает взад вперёд, потом уходит в столовую. Таня незаметно*

*выходит из-за ширмы, спешит вниз, за сестрой. У запертых дверей их общей комнаты – Лиза.*

ЛИЗА: *(стучит в дверь)* Соня! Отвори дверь, отвори сейчас же. Мне нужно видеть тебя... *(Соня появляется в дверях, в руках её – открытое письмо.)* Соня, что граф написал тебе? Говори!

С.А.: *(растеряно)* Он написал: «Хотите ли вы быть моей женой?».

ЛИЗА: *(на грани слёз)* Откажись! Откажись сейчас же!

*Появляется мать, Любовь Александровна Берс.*

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА: Что происходит? Лиза, успокойся, возьми себя в руки.

ТАНЯ: Лев Николаевич сделал Соне предложение...

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА: *(берёт за плечи плачущую Лизу, уводит её в свою комнату. На пороге оборачивается, говорит Соне через плечо)* Ну, что же ты? Мы с Левочкой знакомы с детства, я дружу с его сестрой. Он много старше тебя, но достойный, умный, талантливый. О себе и своих надеждах всё честно рассказывает, целый роман написал про «Семейное счастье». Твой ответ я знаю. Поди к нему наверх и скажи его...

*Соня спешит вверх по лестнице. Толстой выходит ей навстречу, берёт за руки.*

Л.Н.: Ну, что? Как вы решили?

С.А.: *(сияя)* Разумеется, да...

Л.Н.: Правда?! Боже, каким вы сделали меня счастливым!.. Только умоляю – давайте не откладывать свадьбу. Я так боюсь, что что-нибудь случится, помешает...

С.А.: Я не знаю... Нужны ведь какие-то хлопоты... приданое...

Л.Н.: Зачем приданое?.. Вы всегда так нарядны, красивы... А в Ясной Поляне нам не надо будет ездить на балы... О, как мы будем там счастливы!.. Я верю, верю в это...

**Сноска за кадром:**

Почему же влюбленный так беззаветно смотрит и не насмотрится на свою избранницу и готов для неё на всякую

жертву? Потому что к ней тяготеет бессмертная часть его существа; всего же иного желает только его смертное начало.

*Артур Шопенгауэр*

*Толстой поднимается по ступенькам на амвон в церкви. Священник у аналоя листает требник. Поклонившись Толстому, начинает читать молитву.*

СВЯЩЕННИК: (закончив молитву) Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь. Веруете ли вы во всё то, чему учит нас святая апостольская церковь?

Л.Н.: Я сомневался, я сомневаюсь во всём.

СВЯЩЕННИК: Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердный Господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете?

Л.Н.: Мой главный грех есть сомнение. Я во всём сомневаюсь и большею частью нахожусь в сомнении.

СВЯЩЕННИК: В чём же преимущественно вы сомневаетесь?

Л.Н.: Я во всём сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога.

СВЯЩЕННИК: Какие же могут быть сомнения в существовании Бога? Какое вы можете иметь сомнение о Творце, когда вы воззрите на творения его? Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облёк землю в красоту её? Как же без Творца?

Л.Н.: Я не знаю.

СВЯЩЕННИК: Не знаете? То как же вы сомневаетесь в том, что Бог сотворил всё?

Л.Н.: Я не понимаю ничего.

СВЯЩЕННИК: Молитесь Богу и просите Его. Даже святые отцы имели сомнения и просили Бога об утверждении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь Богу, просите Его... Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина, Андрея Берса? Прекрасная девица.

Л.Н.: Да. И мне объяснили, что для венчания необходимо говеть и получить свидетельство об исповеди.

СВЯЩЕННИК: Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Какое же воспитание вы можете дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к

неверию? Если вы любите своё чадо, то вы, как добрый отец, не одного богатства, роскоши, почестей будете желать своему детищу; вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины. Не так ли?

Л.Н.: Истина – это именно то, что я ищу всю жизнь.

СВЯЩЕННИК: Что же вы ответите невинному малютке, когда он спросит у вас: «Папаша, кто сотворил всё, что прельщает меня в этом мире, – землю, воды, солнце, цветы, травы?» Или когда дитя спросит: «Что ждёт меня в загробной жизни?» Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо.

Л.Н.: Может быть, к тому времени будет мне послано просветление.

СВЯЩЕННИК: Вы вступаете в пору жизни, когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтобы Он по своей благодати помог вам и помиловал. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит ти чадо...» Благословляю и отпускаю грехи ваши...

#### **Сноска за кадром:**

Не слушатели закона оправданы перед Богом, но исполнители закона оправданы будут... Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.

*Апостол Павел, К римлянам 2:13-15*

*Бракосочетание в церкви. Жених и невеста идут по проходу. Хор запекает «Гряди, голубица». Среди гостей – Фет, провожает невесту сияющим взглядом. У дверей церкви – карета, запряжённая шестёркой лошадей, с фореитором на козлах. Молодые усаживаются, карета отъезжает, родные машут вслед. Дата: 23 сентября, 1862.*

*В Ясной Поляне несколько дней спустя. Соня пишет письмо, Толстой смотрит через её плечо.*

С.А.: «Милая сестричка, голубчик Татьяна, что у вас, как и что? Здрaвы ли все? Веселы ли? Главное, правду пиши. Ещё не совсем огляделась, всё странно ещё, что в Ясной Поляне – я дома.

Сегодня уже устроили наверху за самоваром чай, как следует в семейном счастье. Про Лёвочку говорить не хочу,

страшно и совестно, что он меня так любит. Татьяна, ведь не за что? Как ты думаешь, он может меня разлюбить?

Мы много о тебе говорим. Ты – общая любимица. Татьяна, душечка, пришлите мне непременно коротенькие мои тёплые сапоги, мне без них беда. Да пудру я свою забыла, тут негде взять. Всё с приданным пришлите.

В первый раз важно подписываюсь: Сестра твоя, графиня Толстая».



Братья Толстые: Сергей, Николай, Дмитрий, Лев

Л.Н.: *(отнимает у неё перо, садится дописывать)*  
«Ежели ты потеряешь когда-нибудь это письмо, прелесть наша Танечка, то я тебе век не прощу. А сделай милость, прочти это письмо и пришли мне его назад. Ты вникни, как всё это хорошо и трогательно: и мысли о будущем, и любовь, и сапоги, и пудра.

Прощай, голубчик, дай Бог тебе такого же счастья, какое я испытываю, больше не бывает. Она нынче в чепце с малиновыми лентами – ничего. И как она утром играла в большую и в барыню – похоже и отлично. Прощай. По этому письму чувствую, как мне весело и легко тебе писать, я тебе буду писать много. Я тебя очень люблю, очень. Я знаю, что ты, как и Соня, любишь, чтоб тебя любили, оттого и пишу. Л. Толстой».

Л.Н.: «Любезный, дорогой друг и бабушка Александрин! Пишу из деревни, пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с моим братом и которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал,

что можно так любить и быть так счастливым. Когда буду спокойнее, напишу вам длинное письмо – не то, что спокойнее, – я теперь спокоен и ясен, как никогда не бывал в жизни, – но когда буду привычнее. Теперь у меня постоянно чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье. Вот она идёт, я её слышу, и так хорошо».

**Сноска за кадром:**

Честность и Доброта кричат нам в уши, как ревнивые тётки: «Или я, или она!»

*Неизвестный автор*

*Входит Софья Андреевна. Она печальна, задумчива.  
В руках у неё его Дневникъ.*

С.А.: Зачем, зачем ты дал мне это читать?

Л.Н.: Я хотел быть честным. Хотел, чтобы ты знала до свадьбы, за какого человека выходишь.

С.А.: Да, я начала читать сразу же. Помнишь, перед венчаньем я проплакала чуть не весь день. Говорила, что мне жалко расставаться с родными. Но на самом деле...

Л.Н. Я не выношу скрытности. Мне так важно, чтобы между нами не было тайн. Мой дневник всегда будет открыт для тебя. И я хочу, чтобы и ты мне показывала то, что ты пишешь для себя.

С.А.: Я могу рассказать тебе то, что записала вчера. Что ты очень хороший, а я боюсь показать тебе свою грусть, знаю я, как этой глупой тоской мужьям надоедают. Папа пишет мне: «Муж тебя страстно любит». А я отвечаю ему: любил страстно, да страсть-то проходит, ты просто увлёкся, а не любил. Как я не рассудила, что за это увлечение ты же поплатишься, потому что каково жить долго, всю жизнь, с женою, которую не любишь. За что же я тебя, такого милого, которого все любят, погубила эгоистически, вышла замуж? Ты ведь смотришь на меня и думаешь: хотел бы я её любить, да не могу больше.

Л.Н.: Я тебя люблю всё так же, если не сильнее. Но я с молодости живу под собственным безжалостным взглядом, всё проверяю свои чувства: нет ли фальши? О, какая насмешка в этом выражении: «медовый месяц»! Когда я слышу твои слова «он меня не любит», я чувствую себя

таким оскорблённым в своём чувстве, таким несчастным.  
(Плачет.)

С.А.: (*Идёт к нему, обнимает.*) Порой я боюсь говорить с тобой, боюсь смотреть на тебя. Чем больше ты мне мил и дорог, тем сильнее во мне сознание своей вины. Ты не сердись, смотришь на меня своим кротким, святым взглядом. А я умираю от счастья и от унижения. Мне даже легче, когда ты не со мной. Тогда я могу плакать и любить тебя, а когда ты рядом, меня мучает совесть, мучает твой милый взгляд и милое лицо твоё.

Л.Н.: А у меня наоборот: когда ты рядом, пишешь или за роялем, я думаю: невероятное счастье! Не может быть, чтоб это всё кончилось только жизнью. Но мне грустно, если у нас будет всё как у других. То есть сцены и размолвки и скандалы. Минутное чувство досады, уязвлённого самолюбия, гордости – пройдёт, а хоть маленький надрез от них остаётся навсегда на самом лучшем, что есть на свете, – на любви.

С.А.: Нет, я буду, буду беречь наше счастье, если я ещё не очень испортила его. Мне одно только страшно: что ты спохватишься, увидишь, какая я перед тобой ничтожная, какая жалкая и гадкая. Иногда я бываю в ударе капризничать, прежде такого не было. Но всё это нервы, пройдёт...

*Стоят обнявшись. Наплыв.*

Софья Андреевна у рояля, разучивает сонату Шуберта. Лев Николаевич входит с книгой в руках.

Л.Н.: Вот, прислали из Москвы новейшую книгу профессора Бока. Представляешь, по ней выходит, что у него уже ногти есть!

С.А.: У профессора?

Л.Н.: У нашего ребёнка. А через десять дней он должен начать кувыркаться.

С.А.: Посмотрим, посмотрим...

Л.Н.: Ты прости меня за вчерашнее. Конечно, пошей новое платье, коли тебе хочется. Слезы, объяснения, потом замазка поцелуями – я плохо с этим справляюсь. Потом мне было тяжело и грустно, я уехал, чтобы забыть и развлечься. Но лучший признак, что я люблю тебя: я не сердился.

Верно, незаметно много накопело на душе. Всё время боюсь, что ты меня разлюбишь. Одно, что меня может спасти – ежели ты не полюбишь никого другого, и я не буду виноват в этом.

С.А.: Иногда мне кажется, что тебе весело мучить меня. Тебе хочется, чтобы и я прошла такую жизнь и испытала столько же дурного, сколько ты, для того чтобы поняла лучше хорошее. Тебе инстинктивно досадно, что мне счастье легко даётся. Но я постараюсь больше не плакать – хотя бы из самолюбия. Чтобы ты не видел, как я порой мучаюсь, чтобы думал, будто мне всегда легко.

**Сноска за кадром:**

Я сколько ни любил бы вас, / привыкнув – разлюблю тотчас.

*Александр Пушкин*

*За окном – новый, зимний пейзаж. С.А. сидит за столом одна. Входят две деревенские женщины с тряпками и вёдрами, кланяются барыне, начинают мыть пол. Одна из женщин – Аксинья. На минуту её глаза встречаются с глазами С.А. Обе женщины пытливо взглядываются друг в друга.*

*Вечером, в спальне.*

С.А.: Ну, вот мы с ней и встретились. Я сразу поняла, что это та самая. Про которую ты писал: «Влюблён как никогда». С таким удовольствием смотрела на кинжал на стене, на ружья. Готова была хватить её или себя – от ревности. И просто баба, толстая, белая – ужасно. Один удар – и всё. Пока нет ребёнка. Я стала просто как сумасшедшая. И дальше? Пойду через деревню, и в любой момент могу её увидеть снова?

Л.Н.: С этим покончено, клянусь. Нельзя ворошить прошлое.

С.А.: А в настоящем? Ты всё своё время отдаёшь школе для крестьянских детей, своему журналу, все твои мысли о том, как помогать народу. А я? Мой мирок так мал, тесен, если в нём нет тебя. И соединить наши мирки нельзя. Ты так умён, деятелен, и потом – это ужасное длинное прошлое. Когда я читаю или переписываю твои сочинения, везде, где любовь, где женщины, мне гадко, тяжело, я бы

всё, всё сожгла. И не жаль бы мне было твоих трудов, потому что от ревности я делаюсь страшная эгоистка. Если б я могла тебя убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то сделала бы с удовольствием.



Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»

Л.Н.: Но ты же знала, знала, каков я. Даже изобразила меня в своей повести. Все мои ошибки мне ясны, я сожалею о них, но люблю тебя так, что порой пугаюсь своего чувства. И то, что я по мере сил помогаю крестьянам...

С.А.: Сказать тебе правду? Порой ты мне гадок со своим народом! Я чувствую, что или я и семья, или народ, с твоей горячей любовью к нему. Это эгоизм? Пускай. Я живу только для тебя, для нас. Сегодня убежала тихонько одна из дома и чуть не хохотала от радости. Потому что, пока я одна, в лесу, никто нас не разделяет, ты мой безраздельно. А если для тебя я только жена, а не человек, если я кукла, так я жить не могу и не хочу.

Л.Н.: Да, меня радовало хозяйство и хлопоты по журналу, но всё это было увлечением юности, которое я не могу продолжать выросши большой. А всё ты. Ты не знаешь и не поймёшь, как ты преобразовываешь меня без сравнения больше, чем я тебя. Только не сознательно. Сознательно и ты и я – бессильны.

С.А.: Всегда, с юности, я мечтала о человеке, которого я буду любить, как о совершенно новом, целом, чистом человеке... Мне так милы были все эти мечты... Теперь я должна признать их глупыми, отречься от них, а я не могу. Всё твоё прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним... Неужели мы станем каждый сам по себе, и я начну создавать себе свой печальный мир, а ты свой – недоверчивый, деловой. Да, порой я не верю в твою любовь. Ты целуешь меня, а я думаю: «не в первый раз ему увлекаться». И так оскорбительно, больно станет за своё чувство, которым ты не довольствуешься, а которое мне так дорого, потому что оно первое и последнее. Я тоже увлекалась, но – воображением, а ты – женщинами, живыми, хорошенькими, с чертами характера, лица и души, которые ты любил, которыми любовался, как и мной пока любишься.

Л.Н.: Нет, тебя я люблю до чувства полного уничтожения перед тобой. Не чувствую себя достойным тебя. И меня тоже мучит ревность. Но знаешь, к кому? К воображаемому человеку, который бы стоил тебя. Я – не стою.

С.А.: Нам обоим нужно сменить обстановку, рассеяться. Я с нетерпением жду поездку в Москву на Рождество. Как я соскучилась по всем своим!

**Сноска за кадром:**

Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти.

*Фёдор Достоевский*

*Дом Берсов в Москве (Кремль). Соня и Таня сидят в своей детской комнате рядом на кровати, держатся за руки, секретничают. На окне – рождественские украшения. 1862.*



Берс Елизавета, Софья, Татьяна

С.А.: Вот видишь, он опять уехал один, меня не взял. Наверное, стесняется меня. Видела, как он возмутился, когда я примеряла новую шляпу для визитов? Обозвал её Вавилонской башней, требовал, чтобы я ездила в меховой шапке.

ТАНЯ: У меня ведь такая же шляпа, и я намеренно зацепилась ею за потолок кареты, так что она съехала с головы. *(Обе смеются.)* А к Аксакову он поехал искать материалы для романа про декабристов, я знаю. Помнишь, на рождестве у Бибиковых он весь вечер беседовал с дочерью знаменитого декабриста Муравьёва.

С.А.: И ещё у Аксаковых бывает его старая любовь, эта Оболенская. Который час? Видишь, почти двенадцать, а его всё нет.

ТАНЯ: Соня, ты такая стала ревнивица. Раньше этого не было. Наоборот, все тебя ревновали.

С.А.: А теперь я в положении и стала такая уродина, что уже никто на меня и не смотрит.

ТАНЯ: Ха! Я видела, как за обедом на тебя заглядывался Фет. Глаз не мог оторвать.

С.А.: Я знаю, Лёвочка – богатая натура, он поэтический, умный, а меня сердит, что всё его занимает с мрачной стороны. Иногда мне ужасно хочется высвободиться из-под его влияния, не заботиться о нём, да не могу. Оттого это влияние тяжело, что я думаю его мыслями, смотрю его взглядами. Напрягаюсь, а напрасно: им не стану, себя потеряю. Мне бывает больно глядеть на него, слушать его, быть с ним. Так, наверное, бывает неловко бесу со святым.

ТАНЯ: Наш отец так был огорчён Лёвочкиной статьёй про университеты. Той, где он писал, что университеты готовят не таких людей, которые нужны человечеству, а таких, которые нужны испорченному обществу, – раздражённых, больных либералов. У отца такие светлые воспоминания остались о студенческих годах. А Лёвочка сам курса не сумел кончить – может быть, поэтому сердится? Помнишь, как он описал это в «Юности»? На лекции не ходил, по чужим конспектам не готовился и пошёл на экзамен, надеясь на чудо. Или на то, что профессор поставит ему проходной бал за то, что он одет по моде.

С.А.: Знаешь, мне на днях приснился пренеприятный сон. Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходили откуда-то одна за другой, последняя вышла Лёвочкина бывшая любовь, Акси́нья Базыкина, в чёрном шёлковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала её ребёнка и стала рвать его на клочки. И ноги, и голову – всё оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришёл Лёвочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего – это была кукла. Я посмотрела – и в самом деле: вместо тела, всё вата и лайка. И так мне досадно стало. Я часто мучаюсь, когда думаю о ней, даже здесь в Москве. Который час? *(Часы бьют один раз)* Нет, я этого не вынесу. Завтра же уеду домой.

ТАНЯ: Полно, Сонечка, придумывать глупости. Приляг и отдохни лучше. Он скоро придёт.

С.А.: У меня иногда бывает глупое, но бессознательное желание испытывать свою власть над ним. То есть просто желание, чтобы он меня слушался. Но он всегда меня в этом осадит. Однажды сказал: «Ты что-то очень рассмелилась». В Ясной у нас всё тишина да безлюдье, каково мне это после родного дома, полного шума и веселья. Со временем я тоже заведу там весёлый шумный дом и начну жить, радуясь на молодость детей, на гостей и друзей.

*Слышно, как хлопает входная дверь. Входит Толстой. Соня заливается слезами. Толстой бросается к ней, начинает целовать руки.*

Л.Н.: Душенька, милая, успокойся, прости меня! Я у Аксакова встретил декабриста Завалишина. Он так много интересного рассказал мне, я просто потерял счёт времени. Ну, прости, не плачь, не расстраивайся понапрасну. Покажи сестре пример, как надо всё прощать мужу.

**Сноска за кадром:**

Ни с тобой, ни без тебя жить невозможно, / как писал несчастнейший из римлян.

*Анатолий Найман*

*Яснополянский дом, апрель 1863. Софья Андреевна – в гостиной, у окна, беременная, вышивает детскую распашонку. Радостный Толстой вводит захавшего в гости Фета.*

Л.Н.: Соня, Соня, посмотри, кто к нам пожаловал!

ФЕТ: Графиня! (*Целует ей руку.*) Не мог не сделать крюка по дороге в Тулу, чтобы лично восславить автора «Казаков». Сколько раз я обнимал его заочно при чтении и сколько раз смеялся над его неблаговолением к этой повести. Но он меня так настроил своей пренебрежительностью к этому произведению, что я начал читать с намерением найти в нём всё гадким от А до Зет. Однако кроме наслаждения полнотой жизни – художественной – ничего не обрёл.

С.А.: Вот и я ему то же самое говорила, когда переписывала. Но Левочка может быть к себе несправедлив ещё хуже, чем к другим.

ФЕТ: Может быть, вы, Лев Николаевич, и напишете что-нибудь другое прелестное, но «Казачи» останутся шедевром. Одна барыня из Москвы пишет мне, что это неплохо, но не возвышает дух, и видно, как будто автор хочет нас сделать буйволами. Матушка! Тем-то и хорошо, что автор ничего не хочет. Так же мало подобные барыни понимают Оленина. Да это и не их дело. Эх, как хорошо! И Ерошка, и Лукашка, и Марьянка. Её отношение к Лукашке и к Оленину – верх художественной правды. Когда Оленин, полный надежд, приходит к ней, она говорит только: «У, постылый». Как это всё свято, верно.



Афанасий Фет

Л.Н.: Я думаю, что недостатков в повести много, но всё же написано, что называется, «с сукровицей».

С.А.: А отцу моему как раз Марьяна не понравилась. Где это место в его письме? А, вот: «Видно, мало времени автор пробыл в станице, не успел отдельно изучить какую-нибудь Марьяну, да и стоит ли она того, чтобы изучать её с нравственной стороны? Я думаю, они все на один лад. Их нервная система совершенно соответственна их мускулам и так же закрыта для нежных и благородных чувств, как и их

горы». Отец не знает, что Марьяну как раз автор изучал очень внимательно и со всех сторон.

ФЕТ: Не могу согласиться с его оценкой. Поставьте Устенку и Марьянку в наши условия воспитания – одна выйдет непотребной девкой, а другая солдафоном. Но у себя в слободе они – богини! Богини белых зубов – а это не безделица. Но я другого боюсь: что коммунисты объявят вас, Лев Николаевич, своим главой. А напрасно! Лукашка не потому хорош, что желает чужого во имя подлого трусливо-ленивого чувства зависти, а потому что ему лишнего не нужно. Он не семинарист с запахом лампадки и риторическими доводами под черепочком, а вполне джентльмен. Он делает всё так, как делал его отец и дед. «Казаки» должны явиться на всех языках. Это дыхание леса с фазанами, и как Лукашка целится с бурки в абрека: «Во имя Отца и Сына и Святого духа!». Как лежит мертвец, и колени развалились. Но чего я не могу понять: как при своём таланте вы, после «Казаков», решили написать «Поликушку»? Вам нечего радоваться, что вы мастерски справились с тем или иным сюжетом. Зачем вы в угоду художнического искания нового начинаете искать его там, где претит?

С.А.: Вот тебе на! А по-моему эта повесть совершенно замечательная. Я, переписывая, несколько раз должна была отложить её от волнения.

ФЕТ: Плесень народа не может – не должна – иметь своего повествователя. А наши бывшие дворовые – именно плесень. Они не имеют права на перо первоклассного писателя. Мужики – другое дело – они хоть варвары, но люди. Дворовые никому не понятны в одежде претензии на людей. И каков же результат? Вы бились всеми силами стать на божески недоступную точку зрения, хотели быть отрешённым судьёй, а стали как будто в отсталые ряды народных адвокатов. Это мне больно!

С.А.: Вы помните роман Гюго «Отверженные»? Там доброта епископа превращает бывшего каторжника в достойного человека. Мне кажется, «Поликушка» – о том же: как возрождается – преображается – забытое существо, к которому отнеслись с добротой и доверием.

ФЕТ: Ах, Софья Андреевна, мне бы такую заступницу, как вы! Никто из посторонних не ценит вас так, как я. Про «Поликушку» готов сказать, что это глубокий широкий след богатыря, но след, повернувший в трясины. А про вас: что вы самая кроткая и прелестная женщина – точно вечерняя звезда между ветвями плакучей берёзы.

Л.Н.: Вот голос поэта! А знаете ли вы, добрейший Афанасий Афанасьевич, что даже в своём нынешнем положении Соня у меня – единственный помощник: одна ведёт контору и кассу. У нас теперь и пчёлы, и овцы, и новый яблочный сад, и винокурня. Управляющего у меня нет, есть только помощники по полевым работам и постройкам. Да и зачем они нужны, эти управляющие? Только добавляют хлопот.

ФЕТ: Если вы верите, что управиться с девятью сотнями десятин может один человек с помощью четырнадцатилетнего Кирюшки, мне вас не переспорить. Дай Бог, чтобы вот эта нежная рука исправила и всадила в ваш мозг тот единственно слабый у вас винт, который был всегда шаток и не позволял этому отличному человеку гулять по свету весело. Но лучше скажите мне, что вы думаете о польских делах?

Л.Н.: Кажется, восстание перекинулось и в Литву тоже. Снова шляхетская гордость мутит воду, как в 1830-м. Не пришлось бы нам с вами опять снимать меч с заржавевшего гвоздя?

ФЕТ: На сегодняшний день это главный червяк, гложащий мне душу! Самый мерзкий червяк по имени поляк. Готов хоть сию минуту тащить с гвоздя саблю и рубить ляха до поту лица. Всё уступали им, потакали наши либералы, и вот – допрыгались.

С.А.: Какое счастье, что Левочка уже в отставке и его не пошлют в огонь под Варшаву. Бог спас в Севастополе, но не всё же быть такой удаче.

Л.Н.: Знаю, что переводы Горация движутся у вас хорошо. Однако нет ли новых своих? Не порадуете ли?

ФЕТ: Последнее время как-то не идут. Но вот одно недавно написалось:

Месяц зеркальный плывёт по лазурной пустыне,

Травы степные унизаны влагой вечерней,  
Речи отрывистой, сердце опять суеверней,  
Тонкие тени бегут укрываться в ложбине.

В этой ночи, как в желаниях, всё беспредельно,  
Крылья растут у каких-то воздушных стремлений,  
Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно,  
Свет унося, покидая неверные тени.

\*\*\*

Л.Н.: *(лицом обращён к зрителю)* 27 июня ночью мы оба были особенно взволнованы... У неё болел живот, она металась, мы думали только, что это – последствия ягод. Утром ей стало хуже, в 5 часов мы проснулись... Она была разгорячена, в халате и вскрикивала, потом проходило, и она улыбалась и говорила: «ничего». Я послал за повивальной бабкой, больше для того, чтобы сделать, что можно, но не верил. Я был взволнован и спокоен, занят мелочами, как бывает перед сражением или в минуты близкой смерти. Мне досадно было на себя, что я мало чувствую... Днём начались схватки... Милая, как она была серьёзно, честно, трогательно и сильно хороша. Она была в халате распахнутом, кофточка с прошивками, чёрные волосы спутаны – разгорячённое шероховато-красное лицо, горящие большие глаза... «Роды начались», сказала она тихо, торжественно и с нескрываемой радостью, какая бывает у бенефицианта, когда занавес поднялся. Она всё ходила, она хлопотала около шкапов, приготавливала себе, приседала, и глаза всё горели спокойно и торжественно. Было ещё несколько схваток, и всякий раз я держал её и чувствовал, как тело её дрожало, вытягивалось и ужималось; и впечатление её тела на меня было совсем, совсем другое, чем прежде – и до и во время замужества. В промежутках я бегал, хлопотал уставлять диван, на котором я родился, в её комнату и другое, и во мне было всё то же чувство равнодушия, укоризны за него и раздражения.

*Софья Андреевна с новорожденным. Рядом – деревенская кормилица. С.А. достаёт грудь, пытается кормить. Но, видимо, грудница безнадежно сильна – она кричит от боли. Отдаёт ребёнка кормилице, та выходит из*

*комнаты. Лев Николаевич входит ей навстречу, останавливается в дверях, смотрит на жену с укоризной.*

С.А.: Как ты несправедлив ко мне! Уродство – не кормить собственного ребёнка, разве я спорю? Но что делать против физической невозможности? Сколько я могу себя мучить?

Л.Н.: Я перечитывал твой дневник. И мне показалось, что затаённая злоба на меня там дышит на каждой странице из-под слов нежности.

С.А.: Может быть, я озлобилась от этих мучений. А тебе разве не хочется стереть меня с лица земли за то, что я не исполняю свой долг, не кормлю мальчика грудью? Пока я так страдаю, ты пишешь себе за столом, а потом приходишь сюда с лицом полным укоризны.

Л.Н.: Я не знаю, чего бы я не сделал для нашего счастья, малейший проблеск понимания и чувства – и я снова весь счастлив и верю, что ты понимаешь всё, как и я. Но ты как-то умеешь принять эту позу болезненной и капризной самоуверенности и одновременно – покорности своей мнимо несчастной судьбе. Меня мучает то, что поэзия любви утекает под нажимом пелёнок, детской присыпки, ночного горшка, а ты поворачиваешь всё так, будто ты жертва моего эгоизма и переменчивых фантазий.

С.А.: Ты же признавался, что физическая сторона любви для тебя играет огромную роль. А я в последние месяцы беременности никак не могла тебе в этом помочь, да и сейчас всё не приду в себя. И что за слабость, что ты не можешь на это короткое время моего выздоровления потерпеть? Я же терплю и терплю в десять раз больше. Правду говорят, что тогда узнаешь, как любит муж, когда жена беременна. Ты вчера ездил на пчельник, мне так хотелось поехать с тобой, побыть вместе, но голова разболелась, началось сильнейшее сердцебиение – и кому я такая нужна? Я чувствую, что я тебе несносна такая, поэтому у меня одна цель: оставить тебя в покое и сколько можно вычеркнуться из твоей жизни.

Л.Н.: Не ты мне в тягость, а я сам. Где я – тот я, которого я сам знал и любил, ждал с испугом и радостью, как он выйдет в один день вдруг весь – наружу и вверх? До

женитьбы я был игрок и пьяница. Но за прошедшие десять месяцев я впал в запой хозяйством и в этом запое стал маленьким и ничтожным, вверг себя в пошлость жизни, ненавистную мне с юности. Чего мне надо? Жить счастливо, то есть быть любимым тобой и собой, а я ненавижу себя за это время. Даже когда пишу в дневнике, спрашиваю себя: а не фальшь ли? Не для неё ли, которая читает из-за плеча, я всё это пишу? Когда я приревновал тебя к ничтожному Эрленвейну, я потом спросил себя: почему тебе кажется это несправедливым? Разве сам ты за эти месяцы не стал самым ничтожным, слабым, бессмысленным и пошлым человеком?

С.А.: Я так хотела бы во всём быть согласной с тобой. Но разве не должны мы выслушивать и мнения других людей? Мой отец – придворный врач с огромным опытом. Хочешь знать, что он написал нам в последнем письме? *(Достаёт письмо отца, читает)* «Письмо твоё, любезная Соня, раздирающее душу, я не мог прочесть двух раз – довольно было одного, чтобы расстроить себе все нервы. Ты считаешь себя совершенно несчастной матерью, потому что была вынуждена взять кормилицу, а муж утешает жену свою тем, что обещает не ходить в детскую, потому что ему противна теперешняя её обстановка. Я вижу, что вы оба с ума сошли... Неужели тебе неизвестно, любезный муж, как вредно и пагубно действуют на организм душевные скорби? Перестаньте дурить и делать из мухи слона. Экая беда, что не удалось кормить своей грудью ребёнка!.. Будь уверен, мой друг, Лев Николаевич, что твоя натура никогда не преобразуется в мужичью, равно и натура жены твоей не вынесет того, что может вынести какая-нибудь Марьяна».

**Сноска за кадром:**

Во время Севастопольской обороны поручик Толстой служил в артиллерии. Особенность этого рода войск состоит в том, что артиллерист не видит тех, кого он убивает.

*Неизвестный автор*

*Аллея, ведущая к Яснополянской усадьбе. Приближается карета, в ней Таня, её старинный поклонник Александр Кузминский (20 лет), его друг Анатолий Шостак*

*(22 года), брат Толстого – Сергей Николаевич (37 лет).  
Слышен смех, весёлые возгласы.*

С.А.: *(лицом к зрителю)* Дом полон молодёжи, но они меня не развеселили, а встревожили, и даже скучнее стало. Вчера они ездили кататься, а Лёва сказал: «Мы с тобой старички, дома останемся». Но сам вскоре ушёл, я осталась одна, и на меня напала тоска. Я даже чувствую в себе злость и готова упрекать его за то, что у меня нет экипажа, чтобы кататься, что он обо мне мало заботится. Мне кажется, что я ему в тягость, что я для него глупа (старая моя песнь), что я даже пошла. Я – удовлетворение, я – нянька, я – привычная мебель, я – женщина. Падаю духом ужасно. Машинально ищу поддержки, как ребёнок мой ищет груди. Лёва убийственный. Хозяйство вести не может, не на то создан. Мечется, ему мало всего, что есть. Говорит, что идёт на пчельник, а откуда я знаю, что не на свидание с Аксиньей? Как собака, я привыкла к его ласкам – а он охладел. Ему всего покойнее оставить меня одну на диване с книгой и не хлопотать ни о чём, что меня касается. Говорит: «Если не в духе – пиши дневник». И сам так же поступает. Вот и получают наши дневники – точно пруды полные слёз.

Отношения наши ужасны, он до того стал неприятен, что я целый день избегаю его. Сегодня стала читать его недавние записи. Он признаётся, что в хорошую, поэтическую минуту понял, какими тягостными были последние девять месяцев его жизни, едва ли не самыми худшими из всех. А десятый и говорить нечего. Сколько раз в душе он подумал: «Зачем я женился», и сколько раз вслух сказал: «Где я такой, какой я был?». Но я хоть прошедшее наше благословляю. Любила я его очень и благодарна ему за всё.

Л.Н.: *(лицом к зрителю)* Соня, прости меня, я теперь только знаю, что я виноват и как я виноват. Бывают дни, когда живёшь как будто не своей волей, а подчиняешься какому-то внешнему непреодолимому закону. Такой я был эти дни насчёт тебя, и кто же – я?! А я думал всегда, что у меня много недостатков и есть одна десятая часть чувства и великодушия. Я был груб и жесток – и к кому же? К одному существу, которое дало мне лучшее счастье жизни и которое

одно любит меня. Соня, я знаю, что это не забывается и не прощается; но я больше тебя знаю и понимаю всю подлость свою, Соня, голубчик, я виноват, я гадок, только во мне есть отличный человек, который иногда спит. Ты его люби и не укоряй, Соня.

С.А.: (*лицом к зрителю*) Да, это правда – пришёл и своей рукой вписал в мой дневник все эти нежные слова прощенья и любви.

А через день рассердился на что-то и своей же рукой всё вычеркнул.

**Сноска за кадром:**

О, как убийственно мы любим, / как в буйной слепоте страстей / мы то всего вернее губим, / что сердцу нашему милей.

*Фёдор Тютчев*

*Конец первого акта*

**Акт второй**

**Наташа**

*Запряжённая открытая карета-линейка стоит перед Яснополянской усадьбой. Толстые и их гости собираются на пикник. В линейку усаживаются Толстой, его тётушка Татьяна Александровна Ергольская, брат Сергей Николаевич, Александр Кузминский. В стороне, около осёдланных лошадей, Анатолий Шостак и Таня Берс шепчутся о чём-то. Таня заразительно смеётся. Кузминский смотрит на них с горечью, Сергей Николаевич – с недоумением. Софья Андреевна стоит на крыльце с ребёнком на руках. Повар приносит корзину с провизией и бутылками, устанавливает её на козлах, рядом с кучером. Дата в углу экрана: лето, 1863.*

С.А.: Лёвочка, вы поедете через Кабацкую гору. Вас так много набралось, боюсь, лошади не поднимут вас. Лучше перейти гору пешком.

Л.Н.: Хорошо-хорошо, не тревожься.

Маленькая кавалькада трогается в путь. Линейка уезжает вперёд, Анатолий и Таня следуют за ней верхами, тихо беседуя.

АНАТОЛЬ: Как хорошо в деревне после Петербурга и как красивы эти поля.

ТАНЯ: Как, и вы замечаете красоты природы и любуетесь ими?

АНАТОЛЬ: Замечаю её постольку, поскольку она даёт мне наслаждения. Вот теперь я еду с вами – то есть с тобой, – и природа даёт мне наслаждение.

ТАНЯ: Вы знаете, я никак не могу перейти на «ты». Мне кажется это каким-то банальным, пошлым. Если хотите, говорите мне «ты» – вы старше меня.

АНАТОЛЬ: Как хорошо ты сидишь на лошади и как тебе идёт амазонка. Ты училась в манеже?

ТАНЯ: Нет, моим учителем был Лев Николаевич.

АНАТОЛЬ: А я брал уроки в манеже. Ты знаешь, у твоего седла ослабла подпруга. Необходимо подтянуть. Давай остановимся здесь в леске ненадолго.

Они въезжают в молодой лес со старыми пнями. Линейка уехала вперёд, её не видно. Анатолий слезает с лошади, привязывает её к дереву. Потом помогает слезть Тане, привязывает и её лошадь тоже.

ТАНЯ: Зачем вы привязали её? Ведь подпругу можно подтянуть и так. Наши будут волноваться, что мы так отстали.

АНАТОЛЬ: *(подходит к ней, берёт её за руки)* Какая тишина, как хорошо здесь. Зачем куда-то спешить? Мы никогда не бываем одни в Ясной. Мне даже часто кажется, что за нами следят нарочно. Это так неприятно.

ТАНЯ: Боже, кому придёт в голову следить за нами?

АНАТОЛЬ: Саша Кузминский всё ещё влюблён в тебя, это видно. Как красиво ты стоишь в зелени. *(Снимает с её руки перчатку с крагой, начинает целовать ладонь.)* Таня, ты не хочешь понять, как я люблю тебя, как я давно хочу сказать тебе это и не могу. *(Обнимает её.)*

ТАНЯ: *(безвольно поддаётся его ласкам)* Не надо, мы не должны...

АНАТОЛЬ: Всё, всё влечёт меня к тебе... Ты так мила, очаровательна... Я люблю тебя с тех пор, как мы встретились этой зимой в Петербурге...

ТАНЯ: А мне казалось, что вы совсем не обращали на меня внимания, танцевали с петербургскими красавицами...

АНАТОЛЬ: *(целует её в шею, в щёки)* О, если бы ты хоть немного полюбила меня... Как только у меня будут средства, я был бы счастлив просить твоей руки у родителей...

*Оставляем на волю – и вкус – режиссёра то, как далеко Таня позволит Анатолю зайти в его ласках. Но, в конце концов, они седлают лошадей и пускаются вдогонку за остальными. Когда достигают места пикника, все уже сидят за накрытым столом. Опоздавших встречают вопросительными и осуждающими взглядами. Но в это время среди изб деревни появляется группа разодетых баб и девок, которые ведут хоровод вокруг двух солдат из полкового оркестра – один с флейтой, другой с гармошкой. Кто-то из приехавших начинает подпевать: «Не шей ты мне матушка красный сарафан, / Не входи, родимая, попусту в изъян». Таня присоединяется к танцующим, кто-то из баб подаёт ей платок. Музыканты вдруг переходят на «Камаринскую». Камера одного за другим показывает крупным планом лица глядящих на Таню мужчин: Анатолий Шостак, Александр Кузминский, Сергей Николаевич, Лев Николаевич.*

**Сноска за кадром:**

Лицо её выражало восторженную решительность, и вдруг, подбоченясь одной рукой и подняв другую, она лёгкими шагами поплыла навстречу музыке... Кто-то бросил ей платок. Подхватив его на лету, она, уже не заботясь об окружающих, плясала так, как будто она никогда ничего другого не делала.

*Варвара Нагорнова-Толстая*

*Утро следующего дня в Ясной Поляне. В кабинете Толстого, за столом, трое: Лев Николаевич, Софья Андреевна и тётушка Татьяна Александровна. Таня, с другой стороны стола, на стуле, перед судилищем.*

Л.Н.: Таня, почему вы с Анатодем так отстали вчера?

ТАНЯ: У моей лошади ослабла подпруга, надо было подтянуть.

Л.Н.: Подтянуть подпругу можно за пять минут. Но вас не было целый час или больше.

С.А.: И ведь это не в первый раз. Ты постоянно уединяешься с Анатолом, это все заметили.

Л.Н.: Таня, ты молода и не знаешь людей. Береги себя, тебе в твоей жизни придётся ещё много бороться против соблазна – не попускай себя. Это попускание кладёт неизгладимые следы на душу и сердце.

ТАНЯ: Да что вы все ко мне пристали? Я уже выросла из того возраста, когда нужна гувернантка.

Л.Н.: Твой отец писал мне в письме: «Я потерял всякую веру в Татьянку, она показала себя в Петербурге... Прошу тебя серьёзно, мой добрый друг Лев Николаевич, принять её в руки; тебя послушает она скорее всего, почитай ей мораль. Ей скоро 17 лет, пора оставить ребячество... Весёлость в девице всегда приятна и уместна, но ветреность и верченность не красят её».

ТАНЯ: Я не сделала ничего дурного. Анатолий любит меня так, как никто меня ещё не любил... А вы все нападаете на него за это!..

С.А.: Почему же он не сделает тебе предложение, если любит тебя?

ТАНЯ: Потому что у него нет состояния. Ему нужно сначала стать на ноги, обрести самостоятельность.

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА: Ну, сколько народу в нашем кругу женились и без гроша, надеясь на приданое.

ТАНЯ: Анатолий не такой! Он понимает меня как никто, он откликается на мои чувства, на малейшую перемену настроения.

Л.Н.: В Петербургском свете я много встречал таких молодых людей. Они умеют внушить женщине, что сила любви даёт им особые права, что любовь есть высшее наслаждение. Они остроумны, блестящи, самоуверенны. Но в глубине души это всё для них охота за любовными победами. Анатолий не стоит тебя, он опасен для таких девушек.

С.А.: И Саша Кузминский так переживает, что больно смотреть.

ТАНЯ: Мне это очень жаль, у меня к нему самые тёплые чувства – но дружеские. Он ни слова не говорил мне и ни в чём не упрекал.

С.А.: Потому что он благородный. Он молча удалился от тебя. Он скоро уезжает к матери, а потом к себе в имение.

Л.Н.: Я считаю, что Анатолю больше не следует оставаться у нас. Мы скажем ему, что после рождения ребёнка и взятия кормилицы, у нас слишком много хлопот, чтобы иметь так много гостей.

ТАНЯ: Ах, боже мой, что это, за что? Соня, если бы только вы не мешали... Он лучше всех вас!.. Он хороший, он любит меня, а вы нападаете на него за это. Вы все ненавидите меня, презираете! *(Вскакивает, убегает в слезах)*

*К дверям дома подают лёгкую брочку. Анатолю, с саквояжем в руках, выходит на крыльцо. Поднимает глаза к окнам. В одном из них заплаканная Таня молча смотрит ему вслед.*

**Сноска за кадром:**

Ах, очи, очи голубые / вы сокрушили молодца. / Зачем, зачем, о люди злые / вы их разрознили сердца?

*Фёдор Глинка*

*Софья Андреевна в кабинете мужа. Перед ней пачки бумаг. Она что-то подсчитывает на счётах, вписывает в бухгалтерскую книгу. Входит опечаленный Толстой. Дата – сентябрь, 1863.*

Л.Н.: Представляешь, вернулся наш посредник, уверяет, что на московских рынках не хотят брать ни наши окорока, ни наших поросят. Окорока, говорят, плохо выделаны и недостаточно посолены. А поросята цветом красны и все смяты.

С.А.: Это всё Исидор твой орудует. Говорили тебе: не нанимай пьяницу, загубит свинарник. Ты для развода покупаешь поросят за границей, а он их нарочно голодом морит.

Л.Н.: Как это – «нарочно»?

С.А.: Моя горничная, Душка, слышала, как он хвастался перед дворовыми: «Обидел меня барин, из

старшин в скотники поставил. Ну, я ему покормлю его свиной, рад не будет».

Л.Н.: Мне хотелось помочь человеку, он ведь совсем опустился от пьянства.

С.А.: Ты Лёвочка, начитался Гюго, и веришь, что все люди любят работать, что добротой и лаской любого каторжника можно преобразить. А вот твой Исидор труд презирает, и ничем ты его не переделаешь.

Л.Н.: И масло тоже вернулось: по краям кадок много зелёной плесени, а внутри горькое.

С.А.: Ты Таню не видел сегодня? После отъезда Анатоля мне как-то спокойнее стало, а всё же сердце болит за неё. Но это хорошо, что мы его выпроводили. Типичный петербургский молодчик, каких ты не жалуешь.

Л.Н.: Сам по себе он ещё ничего, но мне на брата Сергея больно было смотреть. Твоя сестричка всем способна голову вскружить, всех заманит своим пением, как сирена.

С.А.: Как – и Сергей тоже? Я думала, один Кузминский страдал.

Л.Н.: Неужели ты не замечала? Серёжа деликатный, никогда не пытался открыто ухаживать. Но глаза всё выдают.

С.А.: Помилуй, а как же его цыганка? Он с ней уже пятнадцать лет, детей народил...

Л.Н.: Сердцу не прикажешь. И сегодня с утра забрал Таню, уехали прокатиться в Бабурино. Ей с ним хорошо, покойно, я это вижу. Поэтому и не хочу мешать. Уж лучше Сергей, чем какой-нибудь новый Анатолий, который умчит её на тройке – только мы их и видели.

*Дорога идёт через поле. Таня и Сергей Николаевич Толстой едут в лёгкой коляске. С.Н. правит.*

ТАНЯ: Сергей Николаевич, дайте мне править – я умею.

С.Н.: *(передает ей вожжи)* Вы скучаете без Анатоля?

ТАНЯ: Нет, но меня сердит, что Лёвочка и Соня так осрамили его, попросив уехать. Это нехорошо, очень нехорошо.

С.Н.: Вряд ли Лёвочка так ни за что решился бы обидеть человека. Верно, Анатолий сам был виноват.

ТАНЯ: Подумаешь, вина! Задержались, потому что подругу нужно было подтянуть. Это я во всём виновата, что не следила за временем.



Татьяна Андреевна Берс

С.Н.: Вы не можете быть виноватой в шестнадцать лет.

ТАНЯ: Мне скоро будет уже семнадцать. А вам нравится природа в Ясной?

С.Н.: Очень. Жалко, что река далековато. У меня в Пирогово тоже есть река, я люблю жить у воды.

ТАНЯ: У нас в Покровском, под Москвой, много прелестных мест. Там есть лес, мы называли его Швейцарией. В нём было и страшно, и хорошо. Птицы, вылетая из кустов, пугали меня. Но больше всего я боялась грома и молнии. Мужчины этого чувства не понимают, они такие храбрые.

С.Н.: Нет, я всё понимаю, всё, что только вас касается. Но не всем дано это счастье – знать и понимать вас. *(Смотрит на неё многозначительно)*.

ТАНЯ: *(смущённо)* Смотрите, небо темнеет. Не началась бы гроза. А в Пирогово вы живёте совсем один?

С.Н.: Половину года я живу в Туле. С сестрой Машей и её детьми мы подолгу живём за границей. Но в Пирогово никогда не скучаю.

ТАНЯ: Что же вы одни делаете?

С.Н.: Много дел по хозяйству. И всегда есть книги. Я на старости лет выучился по-английски, теперь читаю английские романы. Очень нравится Диккенс.

ТАНЯ: Ну, и наверное, охота?

С.Н.: Конечно. В наших лесах всё ещё много лис. Попадаются и волки. Свою гостиную я украсил чучелами охотничьих трофеев.

ТАНЯ: А наша Соня в прошлом году выехала на охоту с лорнетом. Так было смешно! Она увидела зайца в последний момент и спугнула его. Лёвочка сердился, а она была рада, что заяц удрал.

С.Н.: (*смотрит на темнеющее небо*) А знаете, что Лёвочка описывает вас в своём новом романе?

ТАНЯ: Как? Не может быть?! Ради бога, скажите ему, чтобы он историю с Анатолом не описывал. Папа будет сердиться. Лёвочка всё выпрашивал меня про нашу поездку в Петербург зимой. Я хотя и не говорила ему всего, но ведь он насквозь всё видит. Я думала, что он из участия меня расспрашивает. Это нехорошо с его стороны.

С.Н.: Лёвочка ничего не напишет, что бы могло вредить вам, я в этом уверен. Да дурное и не пристанет к вам.

Раздаётся удар грома, вспышка молнии. Таня, выпустив вожжи, испуганно кидается в объятия Сергею Николаевичу, прячет лицо у него на груди. Он подхватывает одной рукой вожжи, другой неловко обнимает её. Потом оба смущённо смотрят друг на друга.

С.Н.: Да, погода, похоже, испортит нам поездку. Давайте возвращаться. А то Лёвочка и Соня будут беспокоиться.

**Сноска за кадром:**

Душа ждала – кого-нибудь... И дождалась! / Открылись очи. Она решила – это он!

*Александр Пушкин*

Комната Тани и тётушки в Ясной Поляне. Таня перед зеркалом примеряет бальное платье. Соня помогает ей.

С.А.: На бал по поводу приезда наследника съедется вся губерния, всех сможешь увидеть, познакомиться.

ТАНЯ: А тебе разве не хочется поехать?

С.А.: Конечно, хочется. Мне ведь всего ещё девятнадцать лет.

ТАНЯ: Так в чём же дело?

С.А.: Во-первых, здоровье не позволяет. Вдруг опять нападёт головокружение, обморок – какой стыд! Во-вторых, Лёвочка никогда не разрешил бы мне надеть бальное платье с таким открытым воротом. Это прямо немислимо. Сколько раз он осуждал замужних женщин, которые «оголяются», как он выражается.

ТАНЯ: Да, я знаю его воззрения. Может быть, он и прав.

С.А.: Мы ведь живём очень замкнуто, ты могла заметить. К нам почти никто не ездит, и мы ни у кого не бываем. Лёвочка распугал всех соседей. После реформы 1861 года он стал посредником, помогал решать земельные споры между помещиками и крестьянами. И всегда решал в пользу крестьян. Помещики его просто возненавидели. Уверена, что кто-то из них и написал донос, после которого у него в Ясной был сделан обыск жандармами.

ТАНЯ: И на его школу для крестьянских детей, я слышала, многие смотрели как на опасную причуду.

С.А.: Повернись немного. *(Подкалывает булавками подол платья.)* У Лёвочки ведь на всё свои идеи. И в школе он так поставил преподавание, чтобы детей не обременять ни уроками, ни дисциплиной. Хочешь читать на уроке – читай, хочешь слушать учителя – слушай, хочешь уйти домой – уходи. Он всегда хочет, чтобы всем было хорошо, и верит, что этого возможно достигнуть. Но в школе горстка лентяев и драчунов начала срывать уроки, подбивать других прогуливать, не давала заниматься старательным. Учителя тоже недолго выдерживали такую методу, поэтому и разъезжались.

ТАНЯ: Говорят, покойный брат Лёвочки, Николай Николаевич, тоже был очень добрый и совершенно замечательный человек.

С.А.: Да, хотя я его не встречала, он умер от чахотки ещё до нашей женитьбы. А вот брат Дмитрий, который умер совсем молодым, имел, говорят, характер угрюмый. Был очень верующий, с молодых лет соблюдал посты, ходил в церковь, притом не в модную, а в тюремную. Знакомился с духовенством, любил беседовать со священниками и монахами. Друзей имел не из общества, а сходилась с бедняками. Лёвочка про него говорит, что он был нравственно высок, вспыльчив до злобы, но удивительно скромн и строг к себе.

ТАНЯ: Слава богу, в Сергее Николаевиче, нет таких жёстких черт. Хотя к себе он тоже бывает строг чрезмерно.

С.А.: Все заметили, как часто Серёжа стал приезжать в Ясную. Да и у тебя на лице всё написано. Как заслышишь бубенцы, так бежишь к дверям.

ТАНЯ: Ты меня осуждаешь? Или жалеешь Сашу Кузминского?

С.А.: Нет, конечно, не осуждаю. Мы очень любим Серёжу. Но он старше тебя на двадцать лет. Кроме того, есть постановление Православного Синода, запрещающее женитьбу двух братьев на двух сёстрах.

ТАНЯ: Неужели нельзя никак обойти это запрещение?

С.А.: Не знаю, не знаю. *(Оглядывает свою работу)* Вот так будет хорошо. Тебе это платье гораздо больше идёт, чем мне. Знаешь, иногда у меня является дикая мысль: что Лёвочке было бы лучше на тебе жениться.

ТАНЯ: Ах, не болтай глупостей! Твой муж так тебя любит, делится самыми сокровенными чувствами в дневнике.

С.А.: Ты знаешь: он вдруг перестал заносить новые записи в дневник.

ТАНЯ: Это потому, что он так увлечён писанием нового романа про декабристов.

С.А.: О, нет. Повести и романы ему никогда не мешали вести дневник.

ТАНЯ: А что тогда?

С.А.: Лёвочка очень не любит врать. Раз не пишет – значит, у него завелась какая-то тайна. Которой он не хочет – не может – со мной делиться.

**Сноска за кадром:**

Очень возможно, что великолепии жизни уготовано для каждого, но оно завешено, лежит в глубине, невидимо, очень далеко... Если позвать его истинным словом, оно придёт. В этом сущность волшебства: оно не созидает, а зовёт.

*Франц Кафка*

*Бал в Тульском дворянском собрании. Дата – октябрь, 1863. Все взоры устремлены на наследника, который вальсирует по очереди с местными дамами. Лев и Сергей Толстые, во фраках и белых манишках, беседуют, поглядывая на танцующих. Таня стоит одна у колонны, вид несчастный и заброшенный.*

Л.Н.: *(тихо, брату)* Видишь там пару толстяков с дочкой? Прошли мимо меня два раза, не повернув головы. Это Михайловские, из нашего Крапивинского уезда. До сих пор не могут мне простить, что я пару лет назад решил дело в пользу крестьян. Крестьяне потравили у них заливные луга, и они требовали с них компенсацию по 20 рублей серебром за десятину. А я доказывал, что и пяти рублей будет довольно.

С.Н.: Ты уж очень всегда за крестьян, Лёвочка. Я бы не хотел тебя иметь мировым посредником в своём уезде.

Л.Н.: Посмотри на бедную Таню: всё одна и одна. Хоть бы ты пошёл потанцевать с нею.

С.Н.: Ты же знаешь, что творится у меня в сердце по отношению к этой девушке. Каждое утро я рвусь приехать к вам в гости и каждое утро говорю себе: «Да какое ты имеешь право разрушать жизнь и судьбу этого прелестного создания?». Так и живу с разорванной душой.

Л.Н.: Да, я тебя понимаю и сочувствую всем сердцем. Но что же делать? *(Мимо проходит блестящий офицер, князь Оболенский.)* Князь, князь! Можно вас на минуту? Я бы очень хотел представить вас своей свояченице. Она прелестно танцует и вообще, полна очарования.

Князь любезно улыбается, кивает. Толстой ведёт его к Тане. Та вспыхивает радостью, принимает приглашение. Пара уносится в вальсе.

Из толпы гостей появляется Фет, обнимает Толстого.

ФЕТ: Как я рад вас видеть! Наконец-то высунули нос из своего Яснополянского убежища. А где же графиня?

Л.Н.: Она не смогла поехать. Недомогание, четырёхмесячный малыш...

ФЕТ: Вот досада! А я так надеялся снова увидеть эту очаровательную женщину.

Л.Н.: Ну, а вы-то как, Афанасий Афанасьевич? Как хозяйство, охота? О чём поют музы?

ФЕТ: Всё слава богу. И даже из Польши вести поступают всё лучше и лучше. Генерал Муравьёв, наконец-то, взял дело под контроль, уже сформировал из резервных батальонов шесть дивизий. Русские бьют ляхов в каждом бою. Повесить несколько смутьянов – и остальные сразу поджимают хвост.

Л.Н.: Нет, как хотите, а я остаюсь при своём. После того, как увидел гильотинирование в Париже, моё отвращение к смертной казни стало бесповоротным.

ФЕТ: Вы это скажите бунтовщикам, которые уже повесили больше сотни наших. Что меня возмутило: что Герцен напечатал статью в поддержку смутьянов. В руки больше не возьму его «Колокол». Он забыл, что Пушкин писал французам и англичанам в ответ на их нападки на Россию во время польского восстания 1830 года: «Оставьте старый спор славян между собою!».

Танцующие пары проносятся мимо. Счастливая Таня переходит от одного партнёра к другому. Потом две девушки отводят её в сторону. Пошептавшись о чём-то, все трое, взявшись за руки, направляются к наследнику.

ОДНА ИЗ ДЕВУШЕК: Ваше высочество, если бы вам предложили выбор, какой из цветов вы предпочли: лилию, орхидею или розу?

НАСЛЕДНИК: *(изображает глубокое раздумье, затем восклицает)* Орхидею!

*«Лилия» и «роза» отступают, орхидея-Таня начинает мазурку с наследником.*

ФЕТ: Ваша свояченица тоже прелесть, как и её сестра, но совсем в другом роде. Год назад я навещал Берсов в Москве, и она дала мне список вопросов, которые должны раскрывать характер человека. Всех вопросов не помню, но один застрял в памяти: «Можно ли любить несколько раз в жизни?».

Л.Н.: И что вы ответили?

ФЕТ: Вне всякого сомнения.

Л.Н.: Мне кажется, Таня так поверила вам, что в этом году влюбилась уже в третий раз.

Тульская квартира Сергея Николаевича. Братья Толстые ещё во фраках, но уже сняли галстуки. Сидят у стола, с которого старый слуга убирает остатки ужина. Таня у окна, вглядывается в лунную ночь, в заснеженные улицы, в заиндедевские деревья.

ТАНЯ: Нет, я не смогу заснуть в такую ночь! Посмотрите, какая красота на улице!

Л.Н.: А я засну так, что вы все проснётесь от моего храпа. Весь этот тульский бомонд с оголившимися дамами только вогнал меня в тоску и скуку.

ТАНЯ: *(взбирается на стул, потом на подоконник; стоит, раскинув руки крестом)* Так бы взяла и полетела – прямо на луну.

Л.Н.: Серёжа, проследи, чтобы она и вправду не вылетела в окно. Тульские ведьмы подхватят её и унесут, а мне отвечать перед Соней и родителями. *(Уходит)*

С.Н.: *(подходит к окну)* Правда, Таня, вы можете упасть с подоконника.

ТАНЯ: Не упаду, а полечу под потолок. И никто меня не поймает. Всё, прыгаю!

С.Н.: Нет, прыгать нельзя, вы ушибётесь. Давайте, я помогу вам слезть. Наступите на стул... Вот так... *(Помогает ей слезть, стоит, не выпуская её рук.)* Таня, прошлым летом я был у вас в Москве, когда Лёвочка ухаживал за Соней. Вы заснули на диванчике, а мы с ним стояли рядом и любовались вами. Знаете, что я сказал ему тогда?

ТАНЯ: *(заражается его волнением)* Нет, не знаю. Что же?

С.Н.: Я сказал: «Подожди жениться, мы будем венчаться в один день, на двух родных сёстрах».

ТАНЯ: Но я тогда была совсем ребёнком.

С.Н.: *(их лица приближаются друг к другу)* Да. А теперь вы женщина. Женщина, которую я люблю больше всего на свете. И прошу вас: хотите стать моей женой?

ТАНЯ: Да. Да, да, да... Хотя почему-то мне очень страшно. Радостно и страшно.

С.Н.: И мне тоже. Потому что есть обстоятельства, стоящие на пути нашего счастья. Понадобится время, чтобы преодолеть их. Согласитесь ли вы оставить нашу помолвку в тайне, а свадьбу отложить на год?

ТАНЯ: На год?! Но почему так долго?

С.Н.: *(целует ей руки)* Вы так молоды, вам ещё нет семнадцати лет. С моей стороны было бы преступлением жениться, не давая вам времени обдумать и испытать своё чувство.

ТАНЯ: Меня испытывать не надо. В своей любви к вам я уверена.

С.Н.: Я должен устроить свои дела, это тоже займёт много времени. Понадобится также хлопотать перед архиепископом, чтобы получить разрешение на нашу женитьбу. Двум братьям не положено жениться на двух сёстрах.

ТАНЯ: Но почему нужно хранить в тайне помолвку?

С.Н.: Мы, конечно, скажем Лёвочке, Соне, вашим родителям. Кстати, с Лёвочкой я уже говорил, и он одобрил мои планы.

ТАНЯ: Если Лёвочка одобрил, это значит для меня очень много. Но всё же, почему так долго?

С.Н.: Если удастся всё устроить быстрее, я буду только счастлив. А после свадьбы мы сразу поедem за границу. Вы ведь ещё не бывали в Европе? Как я мечтаю показать вам все свои любимые города: Вену, Баден-Баден, Женеву, Париж...

**Сноска за кадром:**

И нет обид судьбы и сердца жгучей муки, / а жизни нет конца и цели нет иной, / как только верить в ласкающие звуки, / тебя любить, обнять и плакать над тобой.

*Афанасий Фет*

*Декабрь 1863 года. Толстой в своём кабинете в Ясной Поляне. Входит Софья Андреевна, прижимая к груди пачку исписанных листов, – радостная, взволнованная.*

С.А.: Ах, Лёвочка, как ты меня разволновал! Словно унёс в Петербург и дал самой побывать на светском рауте у фрейлины Шерер. Столько лиц сразу – и каждого видишь как живого. И князя Василия, и Элен, и княгиню Болконскую, и её мужа, и Пьера Безухова, и заезжего французского виконта. «1805 год» будет твоим лучшим романом – я уверена. И как я предвкушаю это удовольствие – переписывать его страницу за страницей.

Л.Н.: *(Он тронут и польщён её искренним восторгом)* А мне всё казалось, что начало нужно ещё править и править.

С.А.: Я бы не изменила ни слова, но, конечно, тебе виднее. А это сравнение разговоров в салоне с ткацкими станками, которые хозяйка то замедляет, то ускоряет, чтобы разговорная машина крутилась гладко, – как это точно, хотя и безжалостно.

Л.Н.: Неужели ты не нашла ничего для критики?

С.А.: Одна вещь... Это не критика, но скорее вопрос. Конечно, мы знаем, что в высшем свете все говорят по-французски. Но ты решил так и оставить все диалоги без перевода?

Л.Н.: Конечно. А в чём дело?

С.А.: Не следует ли подумать о тех читателях, которые не знают французского? Их становится всё больше и больше. Ты рассказывал, что такие были даже среди твоих товарищей в университете. Можно просто указать, что разговор шёл на французском, и дальше дать русский перевод.

Л.Н.: Я как-то об этом не думал. Надо будет посоветоваться с будущим издателем. Во всяком случае, «Русский вестник» до сих пор печатает другие произведения без перевода.

С.А.: Князю Андрею ты дал фамилию своего деда, изменив лишь первую букву, – Болконский вместо Волконский. Не может ли кто-нибудь из твоей родни выразить протест по этому поводу?

Л.Н.: Пусть их. В историческом романе будет множество и реальных исторических лиц – я не могу оглядываться на возможные обиды.

С.А.: Пьера Безухова ты описываешь с явной симпатией, но при этом сделал его бонапартистом.

Л.Н.: Вся европейская молодёжь в те годы была увлечена Наполеоном. Но моим персонажам предстоит сильно менять свои взгляды по ходу романа – я это предчувствую.

С.А.: Когда поедем в Москву, ты не захочешь прочесть первые главы моим домашним? Я уверена, они получат огромное удовольствие.

Л.Н.: Только если успею подправить их как следует. Ты получила письма от них? Как мамà, как Таня?

С.А.: Таня очень тоскует, мне кажется. Она не может понять чувств Сергея, не может понять причин отсрочки. И я чувствую себя предательницей, что не предупредила её, не рассказала обо всех обстоятельствах.

Л.Н.: Мы должны дать Сергею время самому созреть до такого важного решения, самому выбрать свой жизненный путь.

#### **Сноска за кадром:**

Неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, трус, мол, я или нет? Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? Где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена, но она была бы хороша как узор на фоне, а фона-то и нет.

*Иван Тургенев*

*Январь 1864. Квартира Берсов в Москве. Таня слоняется по комнатам с кошкой на руках. Заходит к старой няне. Та сидит, раскладывает пасьянс.*

ТАНЯ: Няня, погадай на картах и скажи мне, кто от меня родится.

НЯНЯ: Зачем карты. Я без них скажу тебе: от тебя родятся кузнечики, блохи, стрекозы. Всё, что умеет прыгать и летать.

ТАНЯ: Сколько у тебя бутылочек скопилось на полке. Это всё твои лекарства? Вот это от чего?

НЯНЯ: Нет, это не лекарство. Квасцы, ими хорошо любые пятна выводить. Но ты лучше не трогай. Если капнет на руку, всю кожу сожжёт. А то ещё одна дура в нашей деревне глотнула их, чтобы отравиться.

ТАНЯ: Из-за чего?

НЯНЯ: Обычное дело: полюбила женатого и семейного, он жену и детей бросил, а потом всё же вернулся к ним. Вот она и отравилась. Но, я думаю, если бы и остался с ней, Бог разлучнице счастья бы не дал.

*Таня бредёт дальше, заходит в комнату к матери.*

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА: Что ты ходишь, как бесприютная? Что тебе надо?

ТАНЯ: Его мне надо... Сейчас, сию минуту мне его надо... За что ж я так пропадаю?..

Л.А.: Садись, посиди со мной...

ТАНЯ: Не смотрите на меня, мама, не смотрите, я сейчас заплачу.

Л.А.: Сядь, успокойся...

ТАНЯ: Дайте мне его, мама, дайте скорее... Ведь я старею, и завтра во мне уже не будет того, что есть сегодня...

Л.А.: Нет, я больше не могу этого выносить. Соня и Лёвочка не велели мне говорить, но они не видят, что с тобой творится.

ТАНЯ: Не велели говорить – о чём?

Л.А.: О причинах, из-за которых Сергей Николаевич отсрочил свадьбу.

ТАНЯ: Он говорил, что ему необходимо навести порядок в делах, по хозяйству...

Л.А.: Это – лишь малая часть. Главная причина, что он вот уже пятнадцать лет как женат.

ТАНЯ: Женат? Как это может быть? На ком?

Л.А.: Её зовут Мария Михайловна Шишкина. Она цыганка, он взял её совсем молодой, из табора. За эти годы они прижили троих детей. Помнишь, он иногда приезжал со славным десятилетним мальчиком Гришей? Говорил, что он сирота, незаконный. На самом деле это его сын.

ТАНЯ: Боже мой, а я играла с этим мальчиком в салки, мы так веселились...

Л.А.: Конечно, они не венчаны по закону. Но Сергей Николаевич человек порядочный, он не может бросить свою семью без средств. Лёвочка говорит, что ему нужно время, чтобы расстаться с Марией Михайловной, подготовить её обеспечить материально...



Сергей Николаевич Толстой

ТАНЯ: А я-то, дура... И Соня, и Лёвочка знали всё это и не предупредили меня? Как они могли?

Л.А.: Может быть, Сергей и сумел бы порвать с ней. Но так уж случилось, что несколько недель назад она снова родила. Четвёртый ребёнок... И после родов она болеет довольно тяжело...

ТАНЯ: Значит, кто же я во всей этой истории? Обманутая невеста – раз. Злая разлучница – два... А разлучнице Бог счастья не даёт...

Л.А.: Перестань! Ты-то уж ни в чём не виновата, тебя нарочно держали в неведении...

ТАНЯ: Да уж, это новость так новость, скажу я вам... Настоящий Мадагаскар... Ма-да-гас-кар...

*Таня выходит из комнаты матери, бредёт по квартире. Снова заходит к няне, но та уже ушла куда-то. Таня бездумно подходит к полке с бутылочками, достаёт квасцы. Отвинчивает пробку, смотрит жидкость на свет. Потом решительно подносит ко рту и делает несколько глотков.*

*В это время раздаётся звонок у входной двери. Слышны громкие голоса, входит Александр Кузминский.*

КУЗМИНСКИЙ: Простите, что нагрянул без предупреждения. Еду в Петербург из Киева, проездом заехал в Ясную и к вам.

ТАНЯ: *(слабым голосом)* Как я рада тебя видеть. Что в Ясной? Все здоровы?

КУЗМИНСКИЙ: Да, и братья Толстые дня через четыре собираются сюда, в Москву. А ты что – больна?

ТАНЯ: Мне нездоровится, но это пройдёт. Пойдём наверх, я велю подать кофе.

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА: *(выходит на лестницу)* Саша, как я рада. Надолго к нам?

КУЗМИНСКИЙ: До завтрашнего дня. Пойду переоденусь с дороги. *(Уходит)*

Л.А.: Таня, ты что-то побледнела. Здорова ли ты?

ТАНЯ: Мама, Толстые и Сергей Николаевич через несколько дней приедут в Москву.

Л.А.: Да, я знаю. И ты окончательно переговоришь с ним?

ТАНЯ: Я хочу его увидеть, мама... *(Держась за грудь, опускается на пол.)* Мама, меня надо спасти... Я отравилась...

Л.А.: *(смотрит на неё не понимая. Потом, потеряв голос от страха, начинает звать почти беззвучно)* Андрей... Андрей... Скорее...

#### **Сноска за кадром:**

Мы меняемся день ото дня / И, на шаг от себя отойдя, / Зеркала протираем несмело, / И, стеклянной касаясь черты, / Уходящие ловим черты... / Только ты неизменна, измена.

*Наталья Горбаневская*

*Четыре месяца спустя. Пассажирский поезд готовится к отправке из Москвы. Любовь Александровна и*

*Лиза провожают Таню, помогают войти в вагон. На ней бархатный жакет, шляпа с пёрышками, но она всё ещё бледна после перенесённой болезни, время от времени кашляет в платок.*

*Поезд едет на юг, за окном плывут вспаханные поля, зеленеющие деревья, цветущая сирень.*

*Ясная Поляна. Толстые с радостными возгласами вводят в дом только что приехавшую Таню. Самовар уже на столе, горничная начинает разливать чай.*



Берс Любовь Александровна

Л.Н.: Ах, как мы будем тебя откармливать после московской зимы! У нас теперь всё своё: мёд, сливки, булочки. Летом начнётся малина, яблоки из собственного сада. А на обед сегодня вальдшнепы, которых я вчера настрелял к твоему приезду.

С.А.: *(подносит Тане ребёнка)* Серёжа, поцелуй тётю Таню! Не у всякого мальчика есть такая красивая тётя!

ТАНЯ: Все московские вам кланяются, все здоровы, мечтают тоже навестить вас попозже летом. А как вы? Выглядите оба отлично, я так рада. А как Сергей Николаевич? Я послала ему отказ, хочу, чтобы он чувствовал себя свободным. Он ответил письмом на четырёх

страницах. Пишет «вы подали нищему миллион, а теперь хотите отнять его» и всё в таком духе. Верить ему я уже не могу. Но мне хотелось бы остаться с ним в дружеских отношениях.

С.А.: После того, как он с тобой так поступил? Я ничего не имею против Маши, Марии Михайловны, она хорошая женщина, но он, он!.. Он обязан был принять решение, прежде чем начал ухаживать за тобой, давать тебе надежду.

Л.Н.: Серёжа сейчас очень несчастен, положение его просто ужасно. Трудно читать в душе другого человека, и чем больше о нём знаешь, тем труднее. Он и сам не знает, как ему быть. Он сказал однажды: «Надо всё кончить так или иначе, женившись на Маше или на Тане». Я же ему сказал на это: «Пока ты жил с ней, не венчаясь, у тебя было чувство открытой двери спасения. Ежели же ты женишься, дверь закроется, и ты возненавидишь её».

С.А.: Лёвочка его жалеет по-братски, а у меня всё выгорело к нему. Не надо говорить нежности и строить планы на будущее, если у тебя нет духу сделать выбор. Кругом подлец. И всем скажу это, и пусть дети мои это знают, и не поступают, как он.

Л.Н.: Таня, мне кажется, для тебя главное сейчас не давать воли своему горю, не попускать себя. Ты можешь остаться той же милой, энергичной и слегка необузданной натурой, не поддающейся судьбе даже в несчастье. Что для вас обоих лучше, то знает Бог, и ему надо молиться. Чем труднее становится выбор в жизни для человека, тем больше надо владеть собой.

С.А.: То, что ты, Лёвочка, говоришь, звучит так, будто ты это выучил в книге «Зеркало добродетели».

ТАНЯ: Но всё же, знаете ли вы что-то о планах Сергея Николаевича? Собирался он навестить вас этим летом?

Л.Н.: Он хотел, но мать Марии Михайловны устроила жуткую сцену. Сказала, что если он это сделает, она будет жаловаться, объявит всем, что он живёт с её дочерью незаконно, что его заставят на ней жениться, что она пойдёт и объявит архиерею, что он хочет тайно

жениться на сестре жены брата и чтобы церковь это запретила. Она способна на всё. Готова придти в Ясную пешком и устроить здесь гадкую сцену.

ТАНЯ: Господи, за что мне всё это?

Л.Н.: Что бы ни случилось, кроме твоего горя, у тебя есть столько людей, которые тебя любят (я первый!), и ты не перестанешь жить и любить их в ответ, и потом тебе будет стыдно вспоминать твой упадок, когда всё останется позади.

С.А.: За что ей должно быть стыдно?! Во всё это время она вела себя замечательно хорошо и благородно. Она его очень любила, а он обманывал, что любил. Цыганка была дороже. Озлоблению моему к нему нет границ. Я даже готова мстить ему.

ТАНЯ: Не надо никому мстить, мы скоро забудем обо всём этом. Я так счастлива снова быть с вами, с самыми родными мне людьми.

С.А.: Да, и скоро нас будет ещё больше. У меня есть ещё одна новость, но не знаю, обрадует ли она Лёвочку. Если Бог даст милость, осенью у нас будет новый ребёнок.

Л.Н.: Правда!? Конечно, конечно я очень рад слышать это! Как ты могла сомневаться? *(Обнимает её)*

С.А.: Не знаю. С маленьким Серёжей ты был так холоден, до сих пор избегаешь брать его на руки.

Л.Н.: Это от страха. Похоже на то, как я не могу держать в руках живую птичку – со мной делается что-то вроде судорог. Так же боюсь брать на руки маленьких детей. Но это не мешает мне очень-очень любить их.

ТАНЯ: Если будет девочка, назовите её Таней, хорошо? *(Начинает кашлять, подносит платок ко рту.)*

С.А.: *(отнимает у неё платок, видит на нём кровь)* Боже мой, что это?!

ТАНЯ: Ничего, ничего. Папа и другие врачи проверяли – чахотки у меня нет. Просто последствия зимней болезни.

Л.Н.: Свежий воздух всё залечит! Завтра же поедем с тобой на охоту.

*Сцены летней охоты.*

*Толстой и Таня едут рядом верхом, две собаки крутятся вокруг лошадиных копыт.*

*Стая перепелов опустилась на вспаханное поле. Толстой с ружьём крадётя вдоль опушки леса. Но как только его голова появляется над кустом, стая взлетает. Таня подпрыгивает на месте от возбуждения и досады.*

*Толстой показывает Тане, как нужно стрелять птицу в лёт. Она ведёт стволом по воздуху, он, держа её за плечо одной рукой, другой подправляет положение локтя.*

*Выстрел, перепел падает, собаки несутся к нему.*

**Сноска за кадром:**

Не нарушайте ж, я молю, / вы сна души моей / и слово страшное люблю / не повторяйте ей.

*Антон Дельвиг*

*Усадьба в Ясной Поляне, осень 1864. Софья Андреевна, беременная, мастерит за столом куклу-негра из коленкора. Слышен звук бубенцов, коляска останавливается у дверей. Входит запыхлённый Фет.*

ФЕТ: Вот вам незванный гость, который хуже не только татарина, но даже поляка.

С.А.: Боже, как я рада вас видеть. И как Лёвочка будет жалеть, что вы его не застали!

ФЕТ: Где же наш граф? Опять уехал лечиться кумысом?

С.А.: Нет, на этот раз в Москву. Поехал провожать сестру Таню. Она прожила у нас всё лето. Бывали и другие гости. А вы с Марией Петровной так и не выбрались.

ФЕТ: Хотели, видит Бог, очень хотели. Бывало уже совсем соберёмся, да непременно что-нибудь накатит-налетит. Весь июль-август ушёл на споры с соседом из-за мельницы, пришлось даже посредника вызывать. Сколько воды из пруда мне, а сколько соседу – попробуй тут разреши. А Лев Николаевич что? Всё пишет новый роман?

С.А.: Да, он очень увлечён. И настроение хорошее. Дошёл до Тильзитского мира.

ФЕТ: Значит, все эти улучшения, которые я заметил при въезде, исключительно дело ваших прелестных ручек?

С.А.: Ах, какие там улучшения!

ФЕТ: Да помилуйте! Сорная трава на лужайках выкошена, лопух и репейник у стены повыдран, пруд

расчищен, дорожки посыпаны песком, скамейки починены и покрашены.

С.А.: И на всё это Лёвочка говорил только одно: «И к чему все эти новшества? Жили раньше без них и не тужили». Вот и игрушки новые запрещает покупать детям, говорит – баловство. Так что я сама мастерю. Нельзя же детям без кукол.

ФЕТ: Да уж, таких консерваторов поискать. А что, эта бочка с прокисшим кумысом и торчащим веслом всё ещё стоит? Не могу без ужаса вспоминать, как он меня потчевал этой гадостью.

С.А.: Так воняла, что я уговорила его унести её в сарай. Он вообще к запахам мало чувствителен. Не может понять, как это я чуть не падаю в обморок от запаха навоза в коровнике.

ФЕТ: Вам в вашем положении необходимо беречь себя.

С.А.: Я уж стараюсь. Но летом был один ужасный случай, когда наша коляска перевернулась.

ФЕТ: Как так?

С.А.: Возвращались из Бабурина на линейке в темноте. Но дорога не длинная, знакомая – что может случиться? И вдруг наехали на что-то высокое, да так, что Таня выпустила вожжи и слетела с козел. Лошади, почуяв свободу, понеслись в конюшню. Лёвочка тоже вылетел, бежал рядом с линейкой и всё кричал: «Соня, не прыгай! Соня, не прыгай!» Но у самой конюшни, на повороте, и меня выбросило. Слава Богу, все остались целы.

ФЕТ: Так что же это было?

С.А.: Кто-то из рабочих насыпал на дорогу кучу хвороста и забыл убрать.

ФЕТ: Вызвали урядника? Провели следствие? Ведь это мог быть злоумышленник, каких сейчас столько развелось, а не просто раззява.

С.А.: Что вы! Лёвочка никогда не пойдёт жаловаться полиции на крестьянина. Они, в его глазах, всегда правы и ни в чём не могут быть виноваты. Потому что это мы, своим угнетением, загнали их в бедность и невежество.

ФЕТ: Ох, знаю, знаю, эти его идеи. Одна надежда, что со временем поумнеет.

С.А.: Я стараюсь не перечить ему ни в чём. Он и так меня часто избегает, всё больше времени с Таней проводил. Им хорошо и легко друг с другом. Знаю, ревность – мой самый сильный порок. Но согласитесь, может ведь наступить конец терпению. Таня уже так втирается в жизнь Лёвочки. Все прогулки вместе – верхом в Тулу, в Никольское, в лес, в Бабурино – пешком. У меня боль в груди и в голове от всего этого. Днями пропадают на охоте вдвоём. Мне приходит в голову чёрт знает что. Вот и в Москву вместе. Как будто одна она бы заблудилась.

ФЕТ: В чужую жизнь не заглянешь, как в колодец. Хочу только, чтобы вы знали: есть у вас человек, бесконечно вас ценящий и никогда не изменяющий своему чувству.

С.А.: Знаю, дорогой Афанасий Афанасьевич, и ценю это необычайно.

ФЕТ: Помните, год назад мы сидели здесь на веранде, и Лев Николаевич приложил к вашим ушам двух светляков – как серьги. Мне это вспомнилось, и вдруг написались стихи. Могу я прочесть их вам?

С.А.: О, прошу вас!

ФЕТ: *(читает)*

Я повторял: «Когда я буду  
Богат, богат!  
К твоим серьгам по изумруду –  
Какой наряд!»

Тобой любуюсь ежедневно,  
Я ждал, – но ты –  
Всю зиму ты встречала гневно  
Мои мечты.

И только этот вечер майский  
Я так живу,  
Как будто сон овеял райский  
Нас наяву.

В моей руке – какое чудо! –

Твоя рука,  
И на траве два изумруда –  
Два светляка.

*На чтении стихов возникает другая сцена: снова железнодорожный вокзал в Москве. Таня провожает Толстого домой, в Ясную Поляну. Опять, от воли и вкуса режиссёра будет зависеть, какую меру взаимной нежности эти двое решатся показать на людях. В окне вагона плывёт пейзаж – теперь уже осенний, со скошенными полями, стогами сена, первыми мазками желтизны на деревьях.*

**Сноска за кадром:**

Если б только призрак несвершённой доли / не стучался в душу, как живой мертвец.

*Владимир Соловьёв*

*Осень 1864. Толстой, на серой лошади, выезжает на охоту с двумя собаками. На лице – блуждающая улыбка, мечтательность. Вдруг из придорожной канавы выпрыгивает заяц и пускается наутёк по жнивью. Ни минуты не задумываясь, Толстой даёт шпоры лошади и несётся вслед. Собаки обгоняют его с надрывным лаем. Калейдоскопически – крупно – на экране сменяются глаза: человек, лошадь, заяц! Человек, лошадь, заяц! Затем – внезапный удар, лошадь падает, не заметив – не перепрыгнув – канавы, Толстой летит через её голову, выставив руки вперёд. Лошадь, освободившись от всадника, несётся прочь.*

*Тишина. Медленно плывут облака по небу.*

*Толстой, поддерживая сломанную руку, с трудом бредёт по жнивью. Собаки, подвывая, крутятся у ног. Опускается на обочину. На лице его – слёзы. Вдали показывается крестьянская подвода. Подъезжает, останавливается. Двое мужиков слезают с неё, помогают раненому взобраться на расстеленное сено. Трогаются дальше.*

*Комната в доме Берсов в Москве, ноябрь 1864. Толстой, обнажённый по пояс, сидит в кресле. Два врача готовят его к операции. Один из врачей – Андрей*

*Евстафьевич Берс, глава семейства. Таня тоже здесь, держит поднос с марлевыми тампонами.*

Л.Н.: Вот Танюша, ты покинула меня – мой верный стремянной – уехала в свою Москву – я и изувечился.

ТАНЯ: Да, я всё ждала: когда же я окажусь виноватой и в этом тоже.

Л.Н.: А что: могла бы ты полюбить однорукого? Вообще – калеку. Выйти за него замуж?

ТАНЯ: Всё ведь зависит от того, как мужчина переносит своё увечье. Вспомни адмирала Нельсона, вспомни Кутузова. Никто уже и не замечал, что у них нет одного глаза.

БЕРС: Никаких калек мы в этом доме не потерпим. Это тульские врачи вам нагадили, допустили, что срослось неправильно. Сейчас мы их работу исправим: сломаем заново и сложим, как следует. Лёвушка, наденьте маску: мы начинаем давать хлороформ.

Л.Н.: Не подействует. На Кавказе мне давали однажды – никакого эффекта.

БЕРС: Наш подействует. За десять лет медицина шагнула вперёд – ого!

Врачи склоняются над пациентом, лицо его исчезает под маской. Вдруг он начинает вырываться, вскакивает.

Л.Н.: Друзья мои, жить так больше нельзя!.. Я думаю... Я решил... *(Падает обратно в кресло без чувств.)*

*Врачи, пошептавшись, берутся вдвоём за больную руку и сильно сгибают её. Раздаётся громкий треск неправильно сросшейся кости. Таня роняет поднос, закрывает лицо руками. Врачи бережно и уверенно укладывают руку в правильной позиции, начинают накладывать гипс. Таня приходит в себя, начинает вытирать пот со лба Толстого, слюну – с губ.*

*Три дня спустя. У Толстого правая рука на перевязи. Он рассказывает по комнате, диктует Тане.*

Л.Н.: «...Боль в руке становилась всё мучительнее. Лица родных, домашних плыли перед внутренним взором его памяти...» Нет, вычеркни последнюю фразу! «Внутренний взор памяти» – пошлость какая!.. Напиши: «Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные

круги... Это они, эти солдаты, раненые и нераненые, – это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече». Написала?

ТАНЯ: Да. Так гораздо лучше... Николай Ростов – он ведь списан с брата Саши, так? Ты даже его словечки любимые вставляешь там и сям. А мама, конечно, узнает себя в графине Ростовой. А Лиза – в сестре Вере. Даже моя кукла Мими попала на страницы романа. Но будет кто-нибудь, списанный с самой Сони?

Л.Н.: Не знаю. Ещё не решил.

ТАНЯ: Не забудь: ты ещё хотел обязательно написать сегодня Соне письмо.

Л.Н.: Ах, да, конечно. Возьми чистый лист. Пиши. «Сердечный друг, Соня. Хотя ты и невысокого мнения обо мне, поверь, что операции и хлороформа я не боялся. Чего боялся: остаться без руки. Немного для себя, но, право, больше для тебя. Так и представлял, как все начнут жалеть тебя: у неё муж калека. Вот и Таня мне созналась, что никогда бы не вышла замуж за инвалида...»

ТАНЯ: Зачем ты пишешь про меня? Да ещё такую неправду. Никогда я ничего подобного не говорила.

Л.Н.: Да? Значит, это мне причудилось под хлороформом. Но мне многое чудится последнее время. Чудится, например, что ты стала со мной менее искренна, чем бывала.

ТАНЯ: Неправда. Я делюсь с тобой всеми своими чувствами. Но иногда мне стыдно тебе признаться в чём-нибудь мелком и недостойном: я так боюсь твоего неодобрения. А знаешь, с кем мне совсем легко, кому я в письмах пишу регулярно про всю нашу жизнь в Москве и в Ясной? Ты никогда не поверишь: бывшему жениху Сони, у которого ты её отбил: Поливанову.

Л.Н.: Правда? Я ведь с него написал Бориса Друбецкого.

ТАНЯ: Вот и сделал карикатуру. Наверное, из ревности к прошлому. Но говоря об искренности: я начинаю бояться её, глядя на вас с Соней. Мне кажется, вы часто огорчаете или даже мучаете друг друга без нужды, пытаетесь освещать безжалостным светом каждый душевный порыв.

Есть ведь вещи, которые невозможно выразить словами. Дурные чувства нахлынут и потом исчезнут. А закреплённые в словах останутся надолго. Ты сам сказал однажды, и я передала это Поливанову в письме: «Всё, что разумно, то бессильно; всё, что безумно, то творчески производительно».

Л.Н.: *(усмехаясь)* Ох, язык наш – враг наш! Скажешь что-нибудь для красного словца, а через год тебя твоими же словами – по затылку.

**Сноска за кадром:**

Лиза – это Вера. Сони нет. Это он описывает тётеньку Татьяну Александровну Ергольскую, с её косой. Наташу – он прямо говорит мне: «Я тебя всю записываю».

*Татьяна Берс*

*Весна, 1865. Софья Андреевна гуляет по аллее вокруг пруда в Ясной Поляне. В коляске – двухлетний Серёжа. Слышен топот копыт, появляется всадник. Это Александр Кузминский. Он видит гуляющих, останавливает коня, идёт к ним, ведя его в поводу.*

КУЗМИНСКИЙ: *(целует С.А. в щёку)* Ты одна? А где все остальные?

С.А.: Лёва с Таней уехали в Никольское, вернуться к вечеру. А ты? Какими судьбами?

КУЗМИНСКИЙ: Я проездом: получил новое назначение – помощником прокурора в Киеве. Но решил сделать крюка и заехать к вам, чтобы сообщить ужасную новость: получено известие из Америки – убит президент Линкольн.

С.А.: Боже мой! Лёвочка так восхищался им, он так сочувствовал борьбе за освобождение негров.

КУЗМИНСКИЙ: Одновременно другой злоумышленник напал на их министра иностранных дел, который лежал дома больной. Ворвался с кинжалом и изранил несколько человек. Неизвестно, выживут ли. А Линкольна убили выстрелом из пистолета в театре.

С.А.: Но что известно о военных действиях? Кончится ли когда-нибудь их гражданская война?

КУЗМИНСКИЙ: Похоже, что война как раз закончилась, Линкольн не дожил нескольких дней до

победы. Смотри, у них объявили об освобождении негров в том же году, в котором у нас отменили крепостное право. У нас ведь многие боялись, что это может тоже привести к гражданской войне. Я даже гордился, что этого не случилось, что реформы проводились так разумно и осторожно. Польское восстание, конечно, ни в какое сравнение не идёт с американской войной по кровопролитности. И вот теперь – это убийство. Оно, конечно, показывает, какие страсти, какую ненависть могут будить общественные перемены.

С.А.: Лёвочка часто говорит о том, что мы своим барством и угнетением сеем зёрна ненависти в народе.

КУЗМИНСКИЙ: Как его настроение? Как рука?

С.А.: Рука совсем зажила, они с Таней уже ездили на охоту.

КУЗМИНСКИЙ: В Петербурге и Москве роман «1805 год» имеет огромный успех, журнал «Русский вестник» раскупают тысячами. Катков не успеваешь допечатывать тираж.

С.А.: Обязательно расскажи ему это, он стал очень чувствителен к мнениям читателей. Недавно сказал одному знакомому молодому офицеру: «Ты, небось, хочешь стать генералом от инфантерии? А я хочу стать генералом от литературы».

КУЗМИНСКИЙ: Как Таня?

С.А.: Наши друзья Дьяковы зовут её ехать с ними за границу. Но у неё, боюсь, снова загорелись какие-то надежды на возрождение отношений с Сергеем Николаевичем.

КУЗМИНСКИЙ: Как печально. Вы с Лёвочкой так напали на моего друга Анатоля, но он, по крайней мере, не был женат.

С.А.: Неужели ты его оправдываешь?

КУЗМИНСКИЙ: В Петербурге он мне говорил, что ужасно огорчён возникшим недружелюбием между ним и всеми яснополянскими. Он честно рассказал родным о случившемся. Должен тебе признаться, что многие приняли его сторону, обвиняли Таню в чрезмерном кокетстве, которое все заметили во время её визита. Конечно, спрос

больше с мужчины двадцати двух лет, чем с шестнадцатилетней девушки. Но всё же – что есть, то есть.

С.А.: Когда она приедет, не говори ей этого, хорошо?

КУЗМИНСКИЙ: Боюсь, что ждать до вечера я не смогу. Мне надо спешить в Киев. Да и что я могу сказать ей, если у неё на уме снова Сергей Николаевич?

С.А.: Не расстраивайся. Ты молод, красив, хорошо устроен. У тебя, я слышала, был роман с графиней Бержинской. Танино сердце переменчиво, но о тебе она говорит всегда только хорошее. Её чувство к тебе может загореться снова. Но хватит ли у тебя сил укрощать такую норовистую лошадку?

КУЗМИНСКИЙ: Не знаю. Но всё равно, спасибо на добром слове. Кланяйся своим, сообщи им про американские ужасы. Я напишу сразу с нового места. Прощай.

Садится на коня, уезжает. Соня достаёт из коляски проснувшегося Серёжу, ставит его на тропинку, ведёт за руку. Навстречу ей идут деревенские бабы, занимавшиеся уборкой усадьбы. Среди них – Аксинья. Она тоже ведёт за руку мальчика лет трёх. Камера крупно показывает лица обоих детей. Они выглядят как братья-погодки.

**Сноска за кадром:**

Христианский идеал был известен американским рабовладельцам и русским крепостникам. Никакой новой идеи по этой части они узнать не могли. Но в 1861 году они испытали новый факт. То, чего идея не могла сделать в течение тысячелетий, она сделала в несколько лет, когда воплотилась в публичной силе и сделалась общим делом.

*Владимир Соловьёв*

*Ясная Поляна, июль 1867. Таня смотрит из окна своей комнаты на подъехавший кабриолет. Из него выходит Александр Кузминский, входит в дом, поднимается по лестнице. Таня взволнованно встаёт ему навстречу.*

ТАНЯ: Пять лет назад Лёвочка всучил свой дневник Соне накануне венчания, хотя она его совсем не просила об этом. Ты же требовал, настаивал, чтобы я дала тебе прочесть мой до нашей свадьбы. Ну, что, жалеешь теперь? Ты не появлялся три недели, я уже думала, что решил больше не видеть меня.

КУЗМИНСКИЙ: Сознаюсь, я сам не ждал, что чтение подействует на меня так удручающе. В Москве я долго не мог успокоиться. Я задавал себе вопросы: в состоянии ли я буду забыть всё это, не будет ли твоя любовь к Сергею Николаевичу всегда стоять между нами, как злой призрак? Не будет ли она всегда служить мне обвинением и вызывать охлаждение к тебе? Буду ли я в состоянии примириться с этим и простить тебя?

ТАНЯ: Простить?! Да я никогда не буду себя чувствовать виноватой перед тобой! Никогда никакого прощения я не попрошу у тебя. Моё прошлое принадлежит только мне одной и никому больше. Я никому не позволю властвовать над моей душой и сердцем! Конечно, мой будущий муж имеет право требовать от меня целомудрия и любви, тогда как вы, бывши женихами, этого не даёте нам. Ты был в связи с графиней Бержинской, ты сам мне говорил это, и чуть было не женился на ней. И я не упрекаю тебя.

КУЗМИНСКИЙ: Да, но разве я так сильно любил её? Я легко расстался с ней.

ТАНЯ: Этого я не знаю.

КУЗМИНСКИЙ: Скажи мне, что побуждает тебя выйти за меня? Ты судишь, может быть, как все барышни, что надо же выйти замуж. Или же у тебя расчёт какой?

ТАНЯ: Расчёт? В чём? Нет, это не в моём характере – действовать по расчёту.

КУЗМИНСКИЙ: Разбирая себя, я вынес впечатление, что я слишком уже боюсь и буду бояться, что кто-нибудь из посторонних, из твоего прошлого, не дотронулся бы до моей новой жизни с тобой.

ТАНЯ: Кто бы это мог быть?

КУЗМИНСКИЙ: Хотя бы Толстые.

ТАНЯ: Ты говоришь «Толстые», а подразумеваешь одного лишь Льва Николаевича. Я знаю это.

КУЗМИНСКИЙ: Ты описываешь вашу совместную поездку в Москву... Упоминаешь там, что у кареты сломалось колесо, из-за чего вы задержались на полтора часа. И проезжавший мимо мужик отдал вам колесо от своей подводы, после чего вы продолжали путь.

ТАНЯ: Да, так оно и было. Почему ты вспомнил?

КУЗМИНСКИЙ: Потому что колесом с подводы нельзя заменить колесо кареты. Оно не налезет на втулку, да и по высоте гораздо ниже. С Анатодем вы подтягивали в лесу подпругу целый час, со Львом Николаевичем полтора часа меняли колесо кареты...

ТАНЯ: Опять эти нелепые подозрения! Ты боишься влияния Лёвочки, тогда как ты должен радоваться ему. Я должна благословлять судьбу, что она послала мне счастье жить около такого человека. Всем, что есть во мне хорошего и святого, я только обязана ему, и больше никому. Как я могу жить без Ясной Поляны? Без их любви? Без его советов? Нет! Нет! Этого я никому никогда не отдам!

КУЗМИНСКИЙ: Зачем ты так огорчаешься? Я не хотел тебя обидеть, пойми и меня. Ведь это чувство у меня невольное. Таня, так жить больше нельзя. Неужели ты не видишь, как я мучаюсь?

ТАНЯ: *(плачет)* Как часто я плачу последнее время. И всё от тебя.

КУЗМИНСКИЙ: *(обнимает её)* Мы так долго испытывали друг друга. Не может быть, чтобы какому-то обману осталось место между нами.

ТАНЯ: Надо жить просто, не сочинять себе жизнь, как ты, потому что тогда непременно наткнёшься на созданную собой же неприятность. Что значит, что твоя жизнь будет складываться под чужим влиянием? Она будет складываться не под влиянием кого-либо, а по обстоятельствам, так же, как и моя. Не хандри и не сомневайся, будем жить спокойно, у нас всё впереди для нашего обоюдного счастья. Зачем мы портим его?

**Сноска за кадром:**

Мужество быть есть мужество принимать себя как принятого Богом, вопреки явной своей неприемлемости.

*Поль Тиллих*

*Толстой у себя в кабинете. Софья Андреевна входит радостно взволнованная, ставит перед ним поднос с чашкой кофе и ватрушкой.*

С.А.: Ну вот, всё завершилось благополучно!

Л.Н.: Что именно?

С.А.: Таня объяснилась с Сашей, и они решили, наконец, пожениться. Теперь только нужно найти священника, который согласится обвенчать кузена с кузиной. Но ты какой-то мрачный. Разве ты не рад?

Л.Н.: Ты давеча играла с детьми, сидя на полу. Я попросил тебя встать, но ты не послушалась.

С.А.: Попросил? Ты приказал, как солдату, как денщику! Но я уже забыла об этом. А ты до сих пор помнишь?

Л.Н.: Если жена при детях оказывает мужу неуважение, какими эти дети могут вырасти?

С.А.: Хорошо, я обещаю впредь слушаться с первого слова. Но что ты скажешь про Таню и Сашу? Поможешь им найти священника?

Л.Н.: Я сейчас не хочу говорить об этом. И думаю, тебе лучше пойти к себе. Мне нужно сосредоточиться на работе.

С.А.: Лёвочка, я не понимаю... Ты всегда принимал такое горячее участие в судьбе Тани, а теперь вдруг...

Л.Н.: Уйди, пожалуйста... *(Вдруг хватает поднос с завтраком и швыряет его на пол.)* Уйди, уйди!..

*Срывает со стены барометр и тоже разбивает его ударом об пол. Ошеломлённая Софья Андреевна пятится от него, выходит из кабинета и попадает в объятия испуганной Тани. Начинает плакать.*

С.А.: а что?.. Что я такого сделала?.. Чем опять не угодила?..

*Таня утешает её, уводит в глубь дома.*

**Сноска за кадром:**

Царит весны таинственная сила / с звездами на челе. / Ты нежная! Ты счастье мне сулила / на суетной земле.

*Афанасий Фет*

*Конец второго акта  
(продолжение следует)*

2010



# Виктор Гопман

## Развеселые цыгане

### Книга странствий

*Ты еврей и я еврей,  
Оба мы – цыгане.  
Игорь Иртеньев  
Цыганка с картами,  
Дорога дальняя...  
Очень народная песня*

\*\*\*



арточная игра – дело прекрасное. Садись за ломберный столик – и вперед, без особых раздумий. Надо только правила помнить и следить за вышедшими картами. В остальном же – на каждый случай свои приемы и законы. При самой крайности, если вовсе нет хода – ходи с бубей и не бойся: кривая вывезет. Впрочем, сходных результатов можно добиться и за письменным столом. Особенно если следовать заповеди Стерна, который утверждал, что его способ письма – самый что ни на есть благочестивый. Я пишу лишь первую фразу, – говаривал этот язвительнейший человек, – и полностью полагаюсь на Господа Бога относительно следующей.

Но вернемся к картам. Одно дело, если зайти в бубну, а другое – если объявить семь бубей. Ведь не зря же народ утверждает: «Кто играет семь бубен, тот бывает... удивлен» – именно так звучит это меткое замечание в изящной аранжировке Ильи Семеновича Варшавского, корабела, писателя и тонкого знатока различных вещей. А удивительное – оно, как известно, рядом. Оглянулся – а то и оглянуться не успел, как оно уже рядом. Подкралось незаметно, хотя потом уже, после всего и в конце концов,

некоторые пытаются утверждать, что *она* видно было издалека.

Но вернемся к Лоренсу Стерну (1713-1768), удостоившему восхищенного пушкинского восклицания «несносный наблюдатель», великому литературному хулигану, который оборвал свое «Путешествие» даже не на середине страницы, как Гоголь своего «Иван Федорыча», но просто-таки на середине фразы. «А дальше?» – растерянно спрашивает читатель, настолько ошарашенный заключительным многоточием, что уже не в состоянии задавать более существенных вопросов. Ведь книга, именуемая «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», прямо и нахально обрывается, едва герой пересекает Ла-Манш и успевает сделать буквально считанные шаги по французской земле.

И все-таки это – путешествие. Как, кстати, и история Ивана Федоровича Шпоньки, который тоже путешествует. Пусть не по морю-океану, а по степи, в кибитке. Кормчим у него, между прочим, лицо еврейской национальности. Вообще-то Николай Васильевич Гоголь-Яновский чего-то поднапугал со своими странствующими героями. Мало того, что птица-тройка везет Павла Ивановича Чичикова, который вовсе даже и не герой – хоть нашего, хоть какого иного времени (и уже которое поколение литературоведов на уши встает в попытках если не оправдать, так хотя бы обосновать этот феномен). А тут еще нате вам: ни в чем таком не замеченный и отличающийся примерным благонаравием отставной поручик Российской регулярной армии Иван Федоров Шпонька для своего двухнедельного путешествия от Могилева до Гадяча выбирает себе в водители фрегатов (или, по-сухопутному, в кучера) человека вышеобозначенной национальности. И куда же завезет его такой навигатор? А впрочем – ничего страшного, и прецеденты имеются: вон Изабелла Католичка, королева Кастилии, вкупе с супругом своим Фердинандом Арагонским, уж на что они были тверды в вере, аж до фанатизма (и это не авторская оценка, а утверждение авторитетнейших источников), но при этом, нимало не усомнившись, возложили руководство одной из величайших

в мировой истории экспедиций (навек прославившей, кстати, их царствование) на Христофора Колумба, о чьей национальности никто даже и не спорит, ввиду полной ее бесспорности.

Так отправимся же и мы в путь, о благосклонный читатель! Приглашаю всех следовать за мною – повсюду, куда бы ни бросила судьбина и счастье куда б ни повело. Или завело.

\*\*\*

Начну с автобиографических подробностей, поскольку это существенно для плавности повествования. Время моего рождения – военное (речь идет, разумеется, о второй мировой), потому место рождения – Сибирь (точнее – Иркутск), где семья находилась в эвакуации. Таким образом, еще в совершенно юном возрасте мне довелось пересечь по железной дороге два континента: сначала из Сибири в Среднюю Азию, а потом вернуться из хлебного города Ташкента в полуголодную послевоенную Москву. Естественно, никаких воспоминаний – даже и смутных – от этой дороги не осталось, но сладострастная отравка дальних странствий, проникнув в неокрепший младенческий организм, угнездилась там прочно, и уж, видать, до самой смерти.

Значит, начать рассказ следует с той поездки, о которой теплятся хоть какие-то воспоминания. А слово «теплятся» здесь не лишнее и не случайное, потому что первая моя запомнившаяся поездка приходится на зимнее время. Вот мы стоим на заснеженном перроне – именно что на перроне, высоких платформ в Подмосковье еще нет и в помине, они появятся позже, вместе с электричками. А мы стоим и ждем пригородного поезда. Который на паровой тяге. Давно это было, в первой половине прошлого, то есть, двадцатого века. Ну, положим, ближе к концу этой первой половины. Вот в клубах пара мимо нас проплывает паровоз, медленно вращаются его огромные красные колеса. Мы карабкаемся по вагонной лесенке, всего-то три ступеньки (или четыре?), но в зимнем пальто, в валенках с галошами это непросто, мать меня подпихивает, и вот я в тамбуре. Мы проходим в вагон. Народу пока еще немного, потому что

наша станция – первая после конечной. Конечная – Дмитров, а наша – Яхрома, где мы тогда жили, в квартире деда, управляющего городской аптекой. Занимаем место поближе к печке, которая не то, чтобы теплится, а вполне раскалена. Круглая такая печка, типа буржуйки, и проводница топит ее угольком. Тем же, что и питается везущий нас паровоз. Топливо-то для печки можно было бы и подешевле найти, те же, к примеру, торфяные брикеты, но проще на конечной станции насыпать ведро угля. Уж не знаю, из паровозного тендера или еще откуда – видимо, из тендера, поскольку вряд ли кто станет заводить отдельный запас топлива для печек, пусть лопают то же, что и все. То есть, уголек, который мелкий, но его много.

Садимся на жесткую вагонную лавочку. Мать развязывает мне шарф, я сам расстегиваю пальто и снимаю шапку. Но не пальто – потому что, несмотря на печку, в вагоне пока прохладно. Вот проедем еще с полчаса, народу наберется как следует, надышат, и тогда... А к Москве уже совсем тепло станет, и мать велит снять пальто, чтобы не запариться. Тем более что, выйдя из уютного железнодорожного вагона, мы пересядем в вагон трамвайный, где, естественно, никакой печки, и окна заросли инеем. И в той холодрыге нам еще езды минут сорок. От Савеловского вокзала до конечной, или до «круга», как тогда говорилось. До «Завода Войкова» (в кавычках – потому что название остановки). А там – перейти Ленинградское шоссе, и вот цель нашего путешествия: дом, где живет мой дядя и, стало быть, материн брат. Дом по тогдашним понятиям шикарный, в том числе и потому, что там имеется лифт. Значит, предстоит еще одна поездка, заключительная, на третий этаж. Итак, на протяжении считанных часов – целых три вида транспорта: сначала на паровой тяге, потом на электрической и, наконец, вертикальный транспорт. То есть, лифт. Ничего другого из этой категории – ни самолета с вертикальным взлетом и посадкой, ни вертолета – тогда еще не существовало (по крайней мере, в серийном производстве), хотя в этом дядькином доме как раз и жил создатель таких винтокрылых машин, конструктор Миль.

И вообще дом заселен преимущественно работниками авиапромышленности – учтем, что это была эпоха ведомственного жилья. Наискосок, по другую сторону Ленинградского шоссе, кстати, имелся другой ведомственный дом, более внушительный – потому хотя бы, что принадлежал специфическому ведомству – ГБ (как бы в те годы ни именовалась, формально и официально, эта организация, одним из любимых занятий которой была регулярная смена своей вывески: ВЧК-НКВД-ГПУ-МГБ, далее везде). Среди окрестных жителей он был известен как Серый дом (по цвету стен). Долгое время это был не просто самый большой дом в округе – он к тому же выполнял функцию торгового центра: в цокольном этаже размещалось несколько продовольственных магазинов, булочная и еще что-то (вроде бы радиоателье или ателье индпошива – а может, и то, и другое). Перед праздниками окрестное население направлялось именно туда для осуществления особо значительных покупок, по списку: шпроты, буженина или языковая колбаса, «белая головка» – самая дорогая и вроде бы высококачественная водка тех времен, в высокой и стройной бутылке, горлышко которой залито белым сургучом, вино «Массандра», бисквитный торт с кремовыми розочками противоестественных цветов – бежевыми, бледно-голубыми, фисташковыми, а также украшение праздничного стола, шоколадный набор «Олень» – красная, как бы лакированная прямоугольная коробочка, которая, помимо конфет как таковых, содержит еще и средство для их культурного употребления, а именно, металлические щипчики – дабы дорогие гости не лазали лапами в ее отороченное бумажными кружевами нутро... (Стандартный диалог двух домохозяек: «Где брали?» – «В Сером...»). Жили в этом доме, по всей видимости, обер-офицеры, то есть служаки умеренного уровня – такой вывод можно сделать потому хотя бы, что после глубинных и плодотворных реформ в системе государственной безопасности, начиная с пятидесят третьего года (как любили говаривать, «после разгрома банды Берия»), обитатели Серого дома стройными рядами шли в дворники и разнорабочие на расположенном рядом с трамвайным

кругом чугунолитейном заводе имени Войкова – то есть, их просто «увольняли из органов», в отличие от старших товарищей, которых пускали на распыл.

\*\*\*

Но вернемся к нашему повествованию. Итак, на протяжении полудня мною были испробованы поезд, трамвай и лифт – то есть, транспорт на паровой и электрической тяге. Какие еще виды тяги имеются? Ну, реактивная – только в описываемое время реактивные самолеты пока не стали всеобщим пассажирским достоянием, оставаясь монополией военной авиации. Время, собственно говоря, послевоенное, конец сороковых, и во всероссийских масштабах преобладает конная тяга. А транспорт, соответственно, именуется гужевым. От слова «гуж» – веревочная или ременная петля, скрепляющая оглоблю с дугой. Все эти малопонятные слова обозначают предметы, в совокупности своей составляющие упряжь и используемые, как явствует из самого названия, для запряжки лошадей или иных тягловых животных – как-то, волов, ишаков, ослов... Которые запрягаются в телеги, арбы, тарантасы, кибитки, брички и прочие как четырехколесные, так и двухколесные повозки.

Если говорить о гужевом виде транспорта, то здесь у меня опыт самый минимальный. Разве что в невинном возрасте, на четырехместной колясочке в зоопарке: пони бегают по кругу... Впрочем, как же! А в колхозе-совхозе, во время принудительных сельхозработ – вот там доводилось ездить на настоящей телеге, влекомой настоящей лошастью, причем не с целью развлечения, а для перевозки грузов (то есть, это лошадь перевозила, а мы, научные сотрудники, грузили мешки с картошкой на телегу и потом разгружали в указанном возникшей месте).

Так вот, эта телега, груженная картофелем или какими иными корнеплодами, – она, несомненно, относилась к категории грузового транспорта. Более того, она и называлась-то иначе: подвода. Повозка для перевозки грузов, кладь. Из тех, что, двигаясь одна за другой, составляют обоз. Две подводы – это еще просто две подводы, а вот три – уже обоз. В полном соответствии с

латинской мудростью: “Tres faciunt collegium” – то есть «Трое составляют коллегия». Имеется в виду положение римского права, согласно которому три человека – достаточное число для формирования юридически правомочного органа. Но, как справедливо заметил некий немецкий юрист позапрошлого, то есть девятнадцатого, века, «немногие из норм римского права получили такое распространение вне юридического круга, как эта». Кто бы сомневался – уж не совграждане, во всяком случае. Мы, воспитанные на традициях тройственных союзов, мы, сколько раз в своей многотрудной жизни совершавшие невозможное и противоречащее строжайшим правилам математики действие – деля успешно и без остатка число 500 на три части.

Телега, впрочем, использовалась и как пассажирский транспорт, о чем свидетельствовал хотя бы Пушкин: «С утра садимся мы в телегу; // Мы рады голову сломать // И, презирая лень и негу, // Кричим: пошел!...». – ну, а заканчивает Александр Сергеевич строку рифмой точной, хотя и совершенно непечатной.

Вернемся, однако, к затронутому выше вопросу насчет помощи города селу. Замечательная это была штука. До сих пор я так и не пойму, чем руководствовались начальствующие товарищи, насаждая подобную практику, и что было тут определяющим фактором: садизм (возможно, на подкорковом уровне) или чистой воды кретинизм, явный и ничем не прикрытый? Ведь вся эта деятельность, безусловно, попадала под классическое определение Гоголя: «во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы». Считалось, что рабочий класс, при посильном участии гнилой интеллигенции, направляется на село, дабы в критические периоды сельскохозяйственного года спасти положение дел, подставив свое могучее плечо, в рамках смычки города и деревни. Потому что, дескать, мужичок пьет без просыпу и в таком состоянии не может собрать урожай. Можно подумать, что городские не пили. То есть, они и в домашней обстановке мимо рта не проносили, а уж оторвавшись от семьи и почувствовав себя вольными пташками... И питье

было, и всяческое веселье – разумеется, преимущественно в рамках своего коллектива, поскольку на сельхозработы отправлялись (чуть было не сказал: выслались) лица обоего пола. Впрочем, наиболее отчаянные и охочие до экзотики ребята рисковали даже посещать местный дворец культуры или клуб – разница между этими танцплощадками заключалась лишь в названии, а название находилось в строгой зависимости от масштабов населенного пункта, который ребята осчастливливали своей помощью. Но вне зависимости от этих масштабов конечный результат бывал сходным, поскольку аборигены среднерусской полосы обычно относились к пришельцам примерно так же, как аборигены южной морей – к Джеймсу Куку на самой заключительной стадии его третьей кругосветной экспедиции. Правда, два с половиной столетия, отделяющие это прискорбное событие от наших дней, оказали в целом благоприятное влияние на моральные свойства человечества, и потому дело ограничивалось лишь нанесением сравнительно легких телесных повреждений – а о съедении целиком и речи не заходило.

Но слово «сализм» упоминается выше вовсе не в контексте ночных драк на квази-романтической почве (тут-то как раз уместнее было бы говорить о мазохизме, ибо как иначе определить состояние души младшего научного сотрудника, сознательно идущего на силовой конфликт с трактористом или комбайнером), а потому, что людей городских и непривычных к условиям более чем спартанским, вынуждали ворочать трехпудовые мешки, да к тому же спать в холоде и сырости, что не могло не отразиться на их хиловатом здоровье. Отметим также, что первый призыв («На сенокос!») звучал в летнее время, и на него обычно откликались люди сравнительно молодые, ехавшие именно что отдохнуть и отвлечься от сероватых городских будней; потом же, ближе к октябрю, когда раздавался клич «На картошку!», оказывалось, что дееспособная научная общественность в большинстве своем уже выполнила годовую норму (так сказать, вылетела свои сельскохозяйственные часы), и приходилось силком выпихивать в поля граждан более продвинутых возрастов,

склонных к ишиасу, люмбаго, прострелам и прочим ревматическим прелестям.

\*\*\*

А теперь оторвемся от земли и вознесемся в воздух. На самолете я впервые полетел в Сухум (впоследствии едва ли ни более известный под своей анаграммой Мухус, предложенной его уроженцем Фазилем Искандером; впрочем, в железнодорожном и авиационном расписании официально именуемый – Сухуми). В те времена основной рабочей машиной гражданского воздушного флота был Ту-104 – на нем и полетели. Честно говоря, я ничего хорошего не ждал от этого полета, потому что у меня паршивый вестибуляр, и в юные годы меня укачивало даже в трамвае. А тут еще и все эти эпизоды из художественной литературы, описывающие муки, которым подвергаются пассажиры, включая воздушные ямы и прочие радости, с неизбежностью ведущие к использованию такого специфического авиационного приспособления, как пакет из плотной темно-зеленой бумаги, уклончиво называемый по-русски «гигиеническим», а по-английски без ненужных эвфемизмов “barf bag” (что иначе как «блевательница» и не переведешь). Но ситуация сложилась вполне безвыходная: всего лишь две недели отпуска, и было бы глупо практически треть этого срока провести в поезде. Поэтому жена сказала: «Летим!» Ну, приехали во Внуково, а там информационное табло злорадно сообщает, что рейс задерживается «по метеоусловиям трассы». Такая была стандартная и любимая отговорка Аэрофлота – единственной в те времена авиакомпании (слово «перевозчик» вошло в народный обиход много позднее – если я не ошибаюсь, в восьмидесятые годы, накануне Московской олимпиады).

Но все же через пару часов мы благополучно вылетели. Тогда перед взлетом стюардессы раздавали карамельки (которые так и назывались – «Взлетная»), чтобы пассажиры сосали их и ни о чем неприятном не думали. Шутка. В действительности, как только человек принимался сосать эту конфетку, у него, на манер павловской собачки, начиналось обильное слюноотделение, и он делать частые

глотательные движения, благодаря чему не закладывало уши. В старые времена вообще с авиацией было сопряжено много чего хорошего. В частности, даже на протяжении таких коротких рейсов (в пределах полутора часов) выдавался бутерброд с сыром и стакан сока. В дальнейшем гастрономические радости стали отменять, хотя и постепенно: сначала на двухчасовых рейсах, потом на трехчасовых... Наконец, кормежка осталась только начиная, если я не ошибаюсь, с четырех часов полетного времени – это расстояние от Москвы до Ташкента. Во всяком случае, во время рейса Москва-Баку, длившегося около трех часов, пассажиру ничего не светило. А это все-таки не Москва-Питер: только набрали высоту, как гражданам пассажирам уже сообщается, что самолет начинает снижаться и через двадцать минут совершит посадку в аэропорту «Пулково». Вообще как-то глупо было летать по этому маршруту – фактически никакой экономии времени: по сути дела час лету, плюс регистрация-посадка, то есть еще минимум час, плюс еще добираться сначала до аэропорта, а по прилете до города – вот и весь день кошке под хвост. А в поезд сел около полуночи и утречком уже в месте назначения. К тому же оба вокзала расположены в самом центре соответствующих пунктов назначения, а далее ныряешь в метро и – всего за пятак, в любую сторону твоей души.

Но вернемся в Ту-104, выполняющий рейс Москва-Сухуми. Взлет я перенес без проблем (не сразу, правда, осознав, что кончился разбег и начался собственно полет), а дальнейшее можно излагать языком репортажа о космических стартах: «Пять минут – полет нормальный... Десять минут – полет нормальный...» И так далее. И вообще не могу удержаться – расскажу любимый анекдот на эту тему. Говорится твердым голосом Левитана: «Сегодня в Советском Союзе произведен запуск космического корабля, пилотируемого майором Рабиновичем Хаимом Абрамовичем. Все системы корабля функционируют в штатном режиме. Майор Рабинович **ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ** чувствует себя нормально!» Вот и лейтенант запаса Гопман чувствует, что чувствует себя нормально. Летим мы себе, летим, и вдруг нам объявляют, что в «аэропорту прибытия»

туман, и нас направляют на посадку в Тбилиси. Сели, вышли погулять. И встречаем знакомых ребят, которых мы как-то не заметили во Внуково. А один из них говорит: «Еле-еле выдержал эту посадку, чуть не опозорился. Вообще для меня посадки – смерть. А ведь еще одну придется перетерпеть, в Сухуме...» И вот тут я немножко загордился, потому что, честно сказать, вообще никаких ощущений не испытал. На что жена сказала: «Вот и прекрасно. Будешь летать!»

Так и началась моя летная биография. Для начала, стало быть, два взлета и две посадки в одном рейсе (вроде как счастливое яйцо с двумя желтками). Ну, и далее, по Визбору: то взлет, то посадка... Или – в соответствии с любимым профессиональным тостом лиц, причастных к авиации: «Чтобы количество посадок соответствовало количеству взлетов!» Теперь в моем послужном списке имеются и трансатлантические полеты, и трансконтинентальные (из Москвы в Сибирь и на Сахалин), и вообще из всех континентов только Австралия осталась неосвоенной. Ну, и Антарктида. Правда, опытные люди говорят, что подлинное ощущение отрыва от земли и парения может дать лишь маленький (а желателно – еще и открытый) самолет; я же летал только на больших машинах, где вообще-то чувствуешь себя как в автобусе. Даже если сидишь у иллюминатора, все равно земные пейзажи проплывают под тобою лениво и неспешно; ну, а при полете в облаках ты вроде бы зависаешь в одной точке – разве что в поле зрения попадает движущаяся, пусть и медленно, тень от вашего крыла. Если же тебе досталось место в середине среднего из трех рядов широкофюзеляжного самолета, то полет вообще воспринимается чисто умозрительно, и о том, что вы поднялись на соответствующую (и немалую) высоту, ты узнаешь, лишь когда выключают табло «Застегнуть ремни». Впрочем, то же самое и на земле: крутя педали велосипеда, ты действительно мчишься вперед, и ветер свистит в ушах – а точнее, «гремит и становится ветром разорванный в куски воздух» (это фраза из того самого отрывка о птице-тройке, который все мы должны были учить наизусть в классе вроде бы восьмом). Развалившись

же в мягком кресле междугороднего автобуса, ты не мчишься, а просто передвигаешься из пункта А в пункт Б.

Расскажу теперь о том, как сбылась моя едва ли ни самая заветная мечта: побывать в пилотской во время полета. Можно себе представить, когда это было, в какие давние блаженные времена. Проводили мы тогда ооновский семинар, и в числе прочих участников был большой американский начальник, с которым мы душевно беседовали в свободное время, в том числе и в автобусе, по пути из гостиницы во Внуково, и между делом он мне сказал, что у него имеется свой самолет и, соответственно, пилотская лицензия. Я мгновенно прикинул план действий, и, когда мы уже были уже в воздухе, сказал одному из ребят, вышедших из кабины (по всей видимости, бортмеханику), что, дескать, на борту имеется американский заместитель министра (вообще-то он всего лишь заведовал отделом в федеральном ведомстве, но кто у нас считает!), который сам водит самолет, и что он хотел бы, если можно, посмотреть... «Сейчас спрошу у командира», – отозвался этот малый. И действительно, минут через десять он подошел ко мне со словами: «Ну, где твой министр?» (видимо, решивши еще на порядок повысить должность американца – так, на всякий случай). И мы пошли в пилотскую. Почему-то первое, на что я обратил внимание: командир, сидевший в своем левом кресле, был в потертой кожаной куртке (все остальные – в форменных пиджаках). Может, ему так удобнее работать, подумал я. Может, перед тем, как сесть за штурвал, он переодевается – вроде бы в спецовку. Мы все перезнакомились, американец ответил на специальные вопросы о своем самолете (размеры, вес, дальность полета, требования к аэродрому, сколько жрет горючего), объяснил, что ему по службе частенько приходится навещать свои филиалы, расположенные в разных штатах, и потому самолет – самый удобный вид транспорта для таких целей, и никакой тут экстравагантности. Странновато было все это слушать в те годы, когда и легковая машина в личной собственности советского человека была достаточной редкостью. Впрочем, не менее странно читать в наши жуткие денечки о таких патриархальных временах, когда

тебя спокойно могли впустить в кокпит. Да еще с иностранцем. И никаких таких опасений.

Сама идея захвата самолетов возникла лет пять спустя после моего посещения пилотской, а до СССР она добралась с пятилетним опозданием – как, впрочем, и многие иные зарубежные идеи, вне зависимости от их качественных или моральных свойств. Вплотную с этим уродливым явлением последней трети XX века я столкнулся, будучи в Тбилиси. Там тогда произошел один из первых памятных захватов самолета – или попытка захвата, я сейчас уж не помню. Помню только, что в этом участвовала большая компания, приехавшая в аэропорт как бы после свадьбы. Вроде бы молодожены собирались куда-то, как бы в медовый месяц, в сопровождении друзей, и вот они... Ну, не помню деталей, да и речь не об этом, потому что рассказываю сейчас не о ком-то постороннем, а о самом себе. А я улетаю оттуда дня через три после этих драматических событий (нас было пятеро: трое чиновников МОТ, сопровождающий и я), и меня – вместе с остальными, разумеется – впервые в жизни досматривали с пристрастием – вплоть до того, как помнится, что заставили достать электробритву из футляра. Зачем – непонятно. Шли мы, разумеется, через интуристовский зал, и, к нашему изумлению, с нами прошли еще две пары местных граждан вполне грузинской национальности. Вот их досматривающие товарищи вовсе не досматривали, а, напротив, почтительно приветствовали. Никто из нас, разумеется, и не думал возникать по поводу обыска в такой более чем очевидной ситуации, но тот факт, что некие друзья-приятели местной администрации были пропущены просто так, сильно удивил наших зарубежных гостей.

\*\*\*

А теперь из воздушной стихии, олицетворяющей пространство, скорость и изменчивость, перенесемся в другую стихию – водную, которая в самых различных мифологических системах является первоосновой всего сущего. Или, попросту говоря, перейдем к водному транспорту, который может быть морским или речным – но вот несправедливость, не бывает озерным. Впрочем, это не

единственная несправедливость терминологического характера, поскольку океанские суда хотя и существуют как таковые, но все равно относятся к категории морского транспорта. Озерной же бывает только рыба.

Хотя существовала еще и Озерная школа, идейное содружество английских поэтов конца XVIII – начала XIX века Вордсворта, Кольриджа и Саути, воспевавших патриархальные идеалы, одновременно с тем идеализируя средневековую мистику, за что они подвергались справедливой критике своих современников, поэтов-романтиков лорда Байрона и Шелли (жене последнего, Мэри, принадлежит авторство книги под названием «Франкенштейн», которая вот уже почти два столетия успешно наводит страх на все читающее человечество). А поэты Озерной школы, кстати, в лучшем виде описывали морские странствия. «И бриз играл, и вал вставал, // И плыл наш вольный сброд // Вперед, в предел безмолвных вод, // Непроходимых широт» (Сэмюэл Тейлор Кольридж, «Сказание о старом мореходе»). Или: «Прекрасен вечер, и попутный ветер // Звучит меж вервий, и корабль надежный // Бежит, шумя, меж волн...» (Роберт Саути – хотя более интересен отрывок тем, что перевел его Пушкин). Впрочем, и Байкал, будучи озером по географической номенклатуре, в русской поэзии именуется, как известно: «Славное море – священный Байкал» (Давыдов – только не Денис, а его сибирский однофамилец, Дмитрий).

\*\*\*

Если не считать прогулок на речных трамвайчиках, то первое свое достаточно длительное плавание я совершил по Волге. Будучи командированным радиостанцией «Юность» в город Балаково, освещать некий съезд... нет, наверное, все-таки слет ударников-строителей. В Балаково тогда как раз была комсомольская ударная стройка – сооружалась Саратовская ГЭС. Почему гидроэлектростанции дали такое название, если до Саратова еще плыть и плыть – этого я объяснить не смогу. Может, потому что в Балаково родился Чапаев, и потому никакой дополнительной славы (в виде Балаковской ГЭС) городу уже не требовалось. Но суть не в этом, а в том, что поезда в

Балаково не ходили, и добираться надо было до Саратова, с Павелецкого вокзала, а потом водой. Кстати, этой поездкой я замкнул свой круг московских вокзалов, потому что до тех пор Павелецкий оставался единственным, откуда я еще ни разу не отъезжал. По прибытии в город Саратов я отправился на пристань (троллейбусом через весь город), где с неудовольствием обнаружил, что в Балаково предстоит плыть «Ракетой», на подводных крыльях. Стало быть, интереса никакого: сидишь себе в закрытом помещении – ни ветра, ни чаек, ни запаха воды. То есть, собственно, это не просто запах воды, а сложный аромат большой водной артерии, в формировании которого участвуют на равных и сама река, и плывущие по ней суда, да и прибрежная жизнь вносит свою посильную лепту. Но выбора не было, и пришлось добираться речным автобусом. Отстояв прежде нормальную, вполне сухопутную с виду очередь в кассу за билетом. Единственная экзотика, которой при этом удалось насладиться – расписание на волжских пристанях. Фанерный лист примерно два на три метра разделен по вертикали на два столбца, озаглавленные: «Вверх» и, соответственно, «Вниз». В смысле, вверх по течению, к Нижнему, к истокам, либо вниз, к Астрахани, к тому самому Каспийскому морю, куда по определению и впадает река Волга. Вроде как на подмосковных платформах расписание электричек – «В Москву» и «Из Москвы».

Зато обратно я плыл на настоящем колесном пароходе. Правда, особого удовольствия и от этого плаванья получить не удалось. Промотавшись весь последний день по всяким делам, я, едва взойдя на борт, бросил вещички в каюту и немедля отправился в ресторан. Прикинув про себя: «Хорошо бы сесть к окну и в промежутках между переменах блюд любоваться видами волжских берегов, неспешно проплывающих мимо...» Но это я, разумеется, размечтался. Свободные места были в весьма ограниченном количестве и лишь в самом центре зала. Хмурая официантка заявила с порога: «Пиво отпускается только тем, кто заказывает горячее!» Я немедленно признался, что вообще-то пришел пообедать, а все остальное – как ее милости будет угодно. Такая покорность была воспринята благосклонно, и

официантка сказала почти человеческим голосом: «Есть рыба вареная и котлеты. Но я их вам не рекомендую. Хотите – велю пожарить ромштекс?» Я с энтузиазмом согласился. И прождал минут сорок, не меньше, пока она принесла мне какую-то еду и честно заслуженную бутылку «Жигулевского». Короче: когда я вышел на палубу, более-менее сытый и отчасти умиротворенный, то солнышко уже скрылось, и проплывавшие вдоль борта виды, при всей их потенциальной красоте, различить было невозможно. И я отправился спать. Так что первое плавание на волжском пароходе особыми впечатлениями меня не обогатило.

Хотя – следует подчеркнуть особо – это был пароход в самом прямом и буквальном смысле слова, то есть с паровым двигателем. Который, как и паровоз, принадлежал к классу древних животных, уже уступавших место на эволюционной лестнице теплоходу и тепловозу, которых – в свою очередь и довольно скоро – потеснили электровозы и дизель-электроходы. Впрочем, моряк и по сей день предпочитает называть свое место работы пароходом, вне зависимости от того, судно это (согласно номенклатуре торгово-пассажирского флота) или вовсе даже плавединица (как уклончиво именуется в ВМФ все – от малого тральщика до атомного подводного ракетоносца).

\*\*\*

Второе мое плавание по Волге было значительно более впечатляющим, и уж особенно его концовка. Но – по порядку. Летом 91 года мы с женой отправились в круиз Москва–Астрахань–Москва, на шикарном корабле немецкой постройки. Ясное дело, что это был не пароход, а как минимум теплоход. Комфортабельные каюты, приличная кормежка и обширная экскурсионная программа в каждом порту стоянки. К тому же Волга оставалась для меня отчасти белым пятном на карте, несмотря на мои многолетние активные поездки по всей стране, от Мукачева (или все-таки Паланга западнее?) до Иркутска и от Архангельска до Ашхабада. За все эти годы только в Волгоград доводилось мне сопровождать своих англо-говорящих подопечных. А тут и древняя Кострома, и еще более древний Ярославль, и монументально-классический Нижний, и – пожалуй, самое

сильное впечатление круиза – Самара, город, фантастические нувошные здания которого так и смотрят тебе в самую душу причудливыми овалами своих окон. Словом, прекрасно проводимый отпуск – к тому же и давно заслуженный, поскольку до этого я два года пластался без вдоха-продыха, находясь на достойном, но куда как хлопотном посту заведующего международным отделом некоего совместного предприятия.

И все было замечательно, вплоть до 19 августа, когда мы согласно расписанию круиза прибыли на последнюю стоянку маршрута, в Кострому. В понедельник это было, если кто не помнит. Утречком мы включили радио (судовую радиоточку, транслировавшую первую программу), прогноз погоды послушать. И тут же окунулись в текст заявления путчистов. Или их обращения к народу – неважно. Важно то, что спустя несколько минут можно было уже оценить подтекст. Из которого явствовало, что церемониться этот самый ГКЧП не намерен. Особенно меня резанул пассаж, в котором говорилось, что стране грозит голод, и потому необходимы экстренные меры по спасению урожая. И как гражданин «самой читающей – между строк – страны», я сразу представил себе ситуацию: в помощь труженикам сельского хозяйства будут оперативно направлены соответствующие контингенты как рабочих, так и служащих, включая отдельно взятых военнослужащих. То есть под самым что ни на есть благовидным предлогом – спасение страны от надвигающейся голодной смерти – путчисты намерены немедленно загнать всех, кого следует (а точнее – всех, кто ведет, или вел, или поведет себя не так, как следует) в сельскую местность, а оттуда наиболее отличившихся можно уже будет, поближе к зиме, плавно переправить в стационарные лагеря.

Едва наш кораблик пристроился у костромского причала, как мы кинулись на берег, в поисках междугороднего телефона-автомата. Снимаем трубку – работает! Набираем 095, то есть московский код, набираем номер. Гудки слышны – значит, связь не отключена. Правда, дозвониться не удастся ни по одному номеру, ни по другому, а только по третьему. И нам отвечают: «Все точно,

танки на улицах...» И тут связь прерывается – то есть, революционная бдительность не совсем втоптана в грязь. Стали мы пробовать дальше и вскоре исчерпали свой ограниченный запас пятиалтынных (если кто забыл – они выполняли функции стандартных жетонов в системе междугородней телефонной связи). Кинулись пополнить запас – глухо. С этими пятнашками вечные были проблемы по всей стране даже в мирные времена, и поэтому перед отъездом из дому я обычно заходил на Главпочтамт или на Центральный телеграф, чтобы намять такого добра побольше. А тут вроде бы это и не к чему: жена под боком, а ребенок вовсе даже в Австралии, так что и звонить-то особенно некому.

Прямо скажем, все последующее мы рассматривали с учетом этого обстоятельства: раз не отрубили связь, раз можно (чисто технически) связаться с Москвой – значит, не такие уж крутые эти ребята. И еще один момент: в числе главных у них вроде бы Гена Янаев, которого (в бытность его секретарем ВЦСПС по международным делам) я не раз переводил, как в кабинете, так и за пиршественным столом. То есть, знал его чуток и, следовательно, мог представить масштабы его политической значимости. И экстраполировать сделанные выводы на всю компанию его соучастников.

Но в целом ситуация на корабле была невеселая. Ведь к тому времени народ уже настолько стал раскованным и независимым, что никому из сотни с лишним пассажиров и в голову не пришло взять в поездку транзисторный приемник. Да и зачем, когда политических проблем в стране вроде бы не существует, да к тому же нет никакой нужды в Би-Би-Си, поскольку все новости давно уже показывают по официальному телевизору. И вот мы плывем от Костромы оставшиеся полдня, и еще ночь, и следующий день плывем по каналу, и следующую ночь, и все это время вынуждены ограничиваться информацией, которую нам скармливает первая телевизионная программа. Ни «Эхо Москвы», ни вражеские «Голоса» недоступны в принципе. Правда, видим, что и на первопрограммном экране нет громогласно провозглашаемых заявлений насчет безусловной и

окончательной победы правого дела – что, разумеется, успокаивает, но лишь отчасти.

Наконец, «Химки», северный речной порт Москвы. Сходим на берег. Такси нет в принципе. Ну, тащимся со всеми сумками и с закупленными в Астрахани арбузами к станции метро. И вот только здесь немного отлегло от сердца. Вся стенка у входа заклеена экстренными выпусками московских газет, где ситуация рисуется в свете, существенно отличном от виденного нами до сих пор на первом телеканале. Но особое впечатление произвел соседствующий с газетами листочек стандартного формата А4, на бланке местного (уж не помню, какого именно) райкома партии. Язык документа простой, партийный, без каких бы то ни было экивоков и нюансов. Структура также стандартная, по параграфам. В первом параграфе сказано, что коммунисты данного района города Москвы не признают полномочия самозванного ГКЧП, а во втором – что все согласные с этим несогласием приглашаются в комнату номер такой-то райкома, для участия в мероприятиях по противостоянию этому самому ГКЧП.

Прямо скажем, на душе стало значительно легче. Мы даже не кинулись к телефонным будкам, тем более что очередь там была минимум на полчаса. Наменяв необходимое количество пяточков, с учетом багажа, мы спустились в метро и уже через час были дома. Опорожнили почтовый ящик и сразу же, еще не разобравши чемодан, принялись разбираться с газетами. И поняли, что, не ограничивайся наша информационная диета этих дней электронными СМИ, на душе не было бы так скверно. Если еще первый после путча выпуск "Известий" (то есть, № 197 от 20 августа) содержал ту же пугающую официальную информацию, что и зачитывалась по телевизору, то уже в следующем (№ 198) на первой полосе – сообщение о строительстве баррикад у Белого дома, о митинге у Моссовета, на котором осуждается ГКЧП, о танках Таманской дивизии с российскими флагами на антеннах. (Российский флаг – это, разумеется, не триколор, которого тогда еще просто не существовало. В те времена каждая из Союзных Республик имела свой флаг, и Российская

Советская Федеративная Социалистическая Республика не составляла исключения. В Москве в дни путча красное полотнище флага СССР с золотой звездой, серпом и молотом стихийно было заменено на флаг РСФСР со светлосиней полосой вдоль древка.) А на первой полосе № 199 (среда, 21 августа) – сообщение о Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР, фотография Ельцина и редакционная статья под заголовком «Реакция не прошла!»

Такой была редакционная политика «Известий» – кстати, одной из немногих газет, которую путчисты даже не включили в черный список запрещенных изданий. Что же касается других газет, то, несмотря на запрет, они продолжали выходить – экстренными выпусками, которые расклеивались как листовки на стенах домов, на афишных тумбах и... на броне танков и БТР. В почтовом ящике мы нашли специальные издания «Московских новостей» и «Аргументов и фактов», составленные из таких листовок и разосланные подписчикам, «чтобы помнили».

\*\*\*

А вот первый наш морской круиз не был омрачен никакими политическими пертурбациями. То есть, это если говорить о самом круизе как таковом, а вот период времени продолжительностью примерно в один час, непосредственно предшествовавший счастливому моменту, когда нога путешественника ступила на пароходный трап – этот часок заслуживает отдельного рассказа. Дело было в 1993 году, то есть уже и не в СССР, поскольку такой страны больше не существовало. Отправлялись мы с женой в круиз по Средиземному морю, и отходил круизный кораблик из города-героя и порта Одессы, который стал уже территорией независимой Украины, со всеми вытекающими отсюда... После того, как я выложил на стол в московском турагентстве скромную пачку долларов и получил взамен две бумажки с круглыми печатями, турагентесса сказала, проникновенно глядя в глаза: «Только вы будьте готовы к тому, что вас в порту таможенники измучат. И уж точно настроение будет испорчено на целый день». Стало быть, доброе напутствие мы получили заблаговременно. И

приготовились ко всему, ибо, как гласит мудрая английская поговорка: «Кто предупрежден – тот вооружен».

Время на дворе царило смутное, советские служебные загранпаспорта уже отменили, а российские пока не ввели, и заменой им, хотя бы и отчасти, стали новые паспорта особой серии, выдаваемые непосредственно в Первом консульском управлении МИДа России. А работал я тогда в Фонде защиты гласности, и мы сидели в здании АПН, на одном этаже с отделом внешних связей Союза журналистов. Естественно, из хорошего отношения нам всем сделали такие паспорта. А еще мы ходили пить кофе в буфет Пресс-центра МИДа, находящийся в том же здании, и для этих целей нам выдали пропуска: небольшая такая, но вполне впечатляющая карточка, закатанная в пластик (заметим, что само по себе ламинирование в те времена было вещью редкостной), с фоткой, круглой печатью, а сверху крупным шрифтом «ПРЕСС-ЦЕНТР», а еще повыше – шрифтом помельче, но куда более впечатляюще с точки зрения содержательной: «Министерство иностранных дел Российской Федерации». Но все это присказка.

А вот и сказка. Добралась мы до Одесского порта, в здании которого тогда шел ремонт, да такой, что цементная пыль густо покрывала все плоскости. Спустя некоторое время измотанные стоянием (все сидения, как уже было сказано, в цементной пыли) граждане туристы приглашаются на таможенный досмотр. Но, однако, смотрим – народ не торопится. Вроде бы опасается чего. Жена и говорит: «Да ладно, пошли. Скорее до каюты доберемся, там хоть душ примем с дороги». Ну, и двинулись, волоча чемодан на колесиках. Входим в таможенный зал, и нас направляют к такому файному хлопчику лет сорока, тертому такому пареньку. После наступления сумерек я бы не стал с ним беседовать на темы курения, да и вообще на какие бы то ни было темы, особенно в местах с плохим освещением. Но делать нечего – подходим. Говорим, естественно: «Добрый день». Следует обратить особое внимание на эту фразу, ибо она имеет ключевое значение для развития сюжета. Он отвечает на приветствие и предлагает приступить к делу. А дел у нас с

собой – один чемодан (тяжелый, собака), сумка спортивная, в которой всякие дорожные мелочи и остатки вагонной еды. Ну, сумочка жены и мой набрюшник. Он первым делом: «Валюту везете?» – «Согласно разрешенным нормам», – деловито отвечаю я. А нормы эти – 500 зеленых на нос, если без банковской справки. Мы решили, что одной штуки баксов нам за глаза хватит, и потому на этом остановились. Он деловито пересчитывает зеленые бумажки и спрашивает: «А сверх этого – ничего нет?» – «Ничего», – отвечаем как на духу.

Ладно. Берет он сумочку жены и ловко так производит потрошение. Естественно, без какого бы то ни было результата. Мой набрюшник выворачивает наизнанку, включая бумажник. И при этом ведет светский разговорчик: откуда, дескать, вы, зачем вас черт несет в этот круиз, ну и прочее детское любопытство. Под разговорчики приходит черед спортивной сумки. Там он немедленно кидается на аптечку (такая пластмассовая коробочка с красным крестом) и деловито перебирает ВСЕ лекарства. Ну, а какие там лекарства – от головы да от живота, ерунда. Долго рассматривал бутылочку с кристаллами марганцовокислого калия, потом спросил: «А это для чего?» – «Дезинфицирующий раствор делать, в случае необходимости», – было дано ему дружелюбное разъяснение. И на уровне аптечки он, неприметным образом свернув на политическую тропку, принялся в ироническом плане обсуждать тогдашнего президента Российской Федерации. Попросту говоря, какой-то анекдот начал рассказывать. А сам в сумке роется как крот. Тапочки вынул из пакета, а сам пакет встряхнул. В сумочку с туалетными принадлежностями влез и мыльницу раскрыл. И я, начиная уже заводиться, заявляю лучшим своим голосом: «Не думаю, что вам, как официальному лицу, следовало бы говорить в таком тоне о президенте иностранного государства». Он осекся на середине анекдотной фразы, вынул нос из пакета с недоеденными в поезде бутербродами и говорит: «А что, собственно говоря, такого...» В конце фразы именно что многоточие, некоторая неуверенность – а не грамматически показанный вопросительный знак. И уж

тем более не восклицательный, по сути своей вызывающий. Тут я – видит Бог, отчасти даже машинально – достаю из бумажника пропуск в Пресс-центр. С надпечаткой, как вы помните, «Министерство иностранных дел Российской Федерации». Который он, вообще-то, уже видел во время обыска, но не обратил внимания. Таможенный хлопчик безо всякого удовольствия повертел его в руках, машинально перевел взгляд с фотографии на морду оригинала и обратно, с легким вздохом сказал, возвращая пропуск: «Ладно, давайте чемодан», и собственноручно запихал в сумку все из нее вытасченное.

Пока я не без труда поднял чемодан на стол, пока жена набирала шифр и отпирала оба замка, к нашему таможеннику подошла какая-то девица в аналогичной форме, имея в кильватере (что делать, круиз, прилипчивая морская терминология!) некую круизную дамочку. Из происходящего разговора стало ясным, что наш хлопчик – это старший по смене (вот, значит, какая нам была уготовлена честь), а его подчиненная привела туристку на предмет консультации относительно разрешенных валютных сумм. И выясняется, что туристка эта – гражданка независимой Молдовы, и ей втолковывается, что «пятьсот долларов разрешено для провоза гражданам Российской Федерации, а вам – всего лишь четыреста». Тут мы почувствовали прилив внутренней гордости, свойственной гражданам великих держав («С почтеньем берут, например, паспорта с двуспальным английским лёвою», и все такое). Тем временем таможенник, обратившись к нашему чемодану, демонстративно, двумя пальцами приподнял пару лежавших сверху одежек и сказал: «Благодарю вас. Досмотр закончен». И пока мы запирали чемодан, он продолжил, глядя поверх голов: «Между прочим, вы – первые москвичи за весь сезон, которые со мной поздоровались». А дело, между прочим, было в конце октября... Ну, я не преминул заметить, тоже отчасти в воздух, что ему до сих пор приходилось иметь дело с гражданами, обладающими московской пропиской, а отнюдь не с москвичами как таковыми, и на этом наше общение с украинской таможей

завершилось. Он пожелал нам счастливого пути, мы ему – счастливо оставаться.

Однако таможенной дело не закончилось. Подходим мы к паспортному контролю, жена с ее сделанным в простом районном ОВИРе паспортом проходит, а меня, с моим мидовским – тормозят. И не просто тормозят – пограничник запирает свою будочку и несет мой документик куда-то на консультацию. И отсутствует добрых десять минут. В течение которых жена, уже с *той* территории, начинает внушать мне, что нечего было распускать язык с таможенником, и что они этого так не оставят, и все такое прочее. Наконец, появляется мой пограничник, с кривоватой ухмылкой кота, нагадившего в угол и схваченного за шиворот хозяином, и чуть ли ни с поклоном вручает мне паспорт. Ага, соображаю я, ты-то, голубчик, не понял, что это за печати, а начальство сразу осознало и врезало тебе за усердие не по разуму. И, будучи уже заведенным, спрашиваю на повышенных тонах: «А какие проблемы, капитан?» – «Нет, ничего», – бормочет он. Я еще повышаю голос: «Паспорт выдан Первым консульским управлением! Так какие проблемы?» Капитан оскаливается и говорит, затравленно повышая голос: «Счастливого пути!» В смысле, вали отсюда – и причем даже без антисемитских обертонов, просто: «москальская харя!» Тут на меня повышает голос и жена, и я осознаю, что битва на два фронта обречена на поражение. И переступаю государственную границу независимой Украины.

Затем, пройдя несколько десятков метров по причалу, мы поднимаемся на борт теплохода «Тарас Шевченко» (осадка 8,35 м, водоизмещение 20 027 регистровых тонн – для особо занудливых сообщу, что одна регистровая тонна эквивалентна 2,88 куб. м). Потратив некоторое время на поиски своей каюты, мы, наконец, с головой окунаемся в роскошную жизнь круизного пассажира. Первым делом разбираем чемодан – ведь в чем, помимо всего прочего, прелесть плавания? да в том, что, посещая четыре страны (Турцию, Египет, Израиль, Кипр), восемь портов стоянки и существенно большее количество городов, в которые тебя вывозят из каждого порта, ты при

этом вовсе не должен каждый раз упаковывать и распаковывать вещички. Ну, теперь под душ, смыть поездную грязь и портовую цементную пыль, одеваемся по походному, и – «Пошел все наверх». Только, разумеется, не «паруса ставить», а всего лишь обойти корабль, познакомиться с новым местом проживания хотя бы в самых общих чертах. На это уходит час с лишним, а тут уже звучит следующая команда: «По местам стоять, с якоря сниматься!» Буксир, маленький и черненький, разворачивает наш корабль носом к выходу из бухты, проходим створ, нас догоняет катерок, забравший лоцмана, и вот мы, набирая ход, поплыли. Путешествие началось.

Маршрут у нас был насыщенный. Пересекли Черное море, прошли по Босфору, Мраморному морю и Дарданеллам. Первая стоянка в турецком Измире (более известном под своим древнегреческим названием Смирна), с заездом в Эфес – город, который до 356 г. до н. э. славился одним из семи чудес света, храмом Артемиды, а после этого приобрел скандальную известность как местожительство некоего грека по имени Герострат, который сжег то, чему остальные поклонялись. Следующий порт стоянки – Пирей, морские ворота Афин. Утром вышли на палубу и ахнули: море как на картинке: синее-синее, яркого, густого оттенка (такой цвет называется по-русски кубовый, а по-английски navy blue, то есть темно-синий, буквально: «морской синий» – цвет формы, в которой щеголяют офицеры британского королевского флота). Но разве сравнить эту живописную картинность с хрестоматийной картинностью афинского Акрополя: фигуры и барельефы богов и богинь, памятные еще со страниц школьных учебников истории, а потом из «Мифов и легенд» Куна – Афина, опирающаяся на копье, Посейдон, Аполлон и Артемида, сидящие в расслабленных позах, словно на деревенских посиделках... И тут же известнейшая статуя юноши, явно не божественного происхождения, взвалившего на плечи теленка (помнится, меня всегда поражало сходство выражения лиц несущего и несомого, тем более что оба изображены анфас и головы их находятся на одном уровне). Вообще первое впечатление человека, поднявшегося на 156-метровую высоту Акрополя:

но я же это где-то видел! И не сразу осознаешь, что все, виденное тобою прежде, на страницах разных изданий, все эти рисунки и фотографии имеют единственный источник, а точнее, первоисточник. И вот ты сподобился к нему обратиться. Наконец-то ты добрался до оригиналов, ибо все прочее во всем мире – копии. А вот тут-то и альфа, и омега; здесь Родос, здесь и прыгай.

После Греции (и морского перехода продолжительностью более полутора суток) – Египет. Стоянка в Порт-Саиде, откуда бросок через пустыню – в Каир и к пирамидам. Именно там и тогда (ноябрь 93 года на дворе, для сведения и уточнения) мы впервые столкнулись с суровой действительностью, навязанной прогрессивному человечеству фундаменталистами и террористами: передвигались мы под усиленной охраной. Наш караван имел следующий вид: впереди полицейская машина с мигалкой, потом джип с четырьмя автоматчиками, десяток туристических автобусов, и замыкающим еще один джип с тем же количеством вооруженных ребят. Собственно, я вообще впервые увидел вооруженных – причем не легким стрелковым оружием, а именно автоматами – людей, и ведь не на стрельбище, а, так сказать, в повседневной жизни, то есть на улице. Кстати, аналогичное чувство подавленности вызвали и пирамиды. На их фоне что люди, что верблюды кажутся ничтожными букашками – похоже, в этом и заключался замысел древних строителей. Да и сама кладка стен как-то неуловимо создает ощущение смерти и царства мертвых. На общем мрачном фоне разительным контрастом выглядят сыны пустыни в белых бурнуссах, исполненные воинственного оптимизма и атакующие туристов как в пешем строю, так и верхом на верблюдах. Наиболее популярен следующий простейший аттракцион: предлагается прокатиться на корабле пустыни за символическую цену в один доллар. Погонщик укладывает верблюда на колени, ничего не подозревающий турист карабкается в седло, и верблюд встает на все четыре. Собственно, в этом-то и заключается фокус: посидев малость на верхотуре, незадачливый всадник высказывает пожелание вернуться на землю; в ответ же ему сообщается,

что один доллар – это сесть на верблюда, а вот полный цикл (влезть-слезть) стоит уже пятерочку. О дальнейшем ходе событий нам рассказывал сосед по обеденному столу, здоровый (то есть, и высокий, и мордастый) новый русский: «Ты понимаешь, я вообще-то хотел сказать ему... ну, ясный перец, что именно – и спрыгнуть. Но, ты знаешь, он же высокий, скотина. Страшно прыгать. Хрен с ним, отдал пятерку...»

А в Каирском музее – повтор ощущения, испытанного в афинском Акрополе: въявь увидеть ту самую фигурку писца, который, скрестив ноги, неизменно сидит на соответствующей странице учебника истории Древнего мира, выдержавшего вот уже которое издание. Гидесса подсветила ему глаза маленьким фонариком – зрелище поразительное: белки из какого-то полудрагоценного камня, с красными прожилками, глаза человека, уставшего от чтения и письма, да плюс к тому мастерски выделанные, пристально глазающие зрачки государственного чиновника. Но главное, разумеется – это содержимое гробницы Тутанхамона, выставленное для вдумчивого осмотра в большом зале и еще в параллельно идущем этому залу широком коридоре. Там, в коридоре, в отдельной витрине находится один из самых примечательных (как мне казалось на основе заочного книжного знакомства) экспонатов: Тутанхамон на черной пантере. Правда, при ближайшем знакомстве композиция не столь впечатляет, потому что на картинке она казалась меньшего размера и более сообразной; к тому же черная деревянная пантера растрескалась и выглядит отчасти ободранной. Зато никакие фотографии не в состоянии передать поразительную прелесть золотого фараоновского трона, с подлокотниками в виде золотых же пантер, чьи изумрудные глаза так и лезут тебе в душу. А вот самая-самая классика, золотая маска фараона, неизменно изображаемая на обложках всех книг, посвященных его жизни и деятельности, особого впечатления не произвела – как, впрочем, и в первый раз, в Москве, на выставке «Сокровища гробницы Тутанхамона».

За Египтом последовал Израиль – два дня стоянки в Хайфе и два в Ашдоде. С утра до вечера в автобусах, но

напряженная программа дала свои плоды – удалось побывать во всех ключевых местах иудаизма и христианства. От Стены плача и Старого города до Вифлеема и Назарета, включая Капернаум. В те сравнительно мирные времена и посещение Бейт-Лехема, и проход по Арабскому кварталу Старого города не были сопряжены с особыми проблемами. Заметим также, что десятилетнее (на момент написания этих строк) проживание в стране в целом лишь подтвердило избитую истину насчет того, что туристическая витрина – на которую, к тому же, глазаешь всего несколько дней – дает весьма приближенное (мягко говоря) представление о реальной действительности и что всякая реклама является, по сути дела, не более чем рекламой.

Из Старого города мы выходили через Яффские ворота. Уже темнело, уставшая и переполненная впечатлениями группа не обратила особого внимания на то, что площадь перед воротами названа в честь знакомого с детства литературного героя: Омар ибн аль Хатаб – это же старший брат доброго старика Хоттабыча, сам по себе личность неприятная во всех отношениях; в настоящее время, как известно, он работает в качестве искусственного спутника Земли. Сколько раз с тех пор доводилось бывать на площади имени Хоттабыча-старшего? Не считаешь. Во всяком случае, ровно столько же, сколько я проходил через Яффские ворота, потому что оттуда ближе всего до нашего автобуса № 30, что идет прямо к дому. В первые несколько месяцев иерусалимской жизни мы вообще бывали в Старом городе практически каждую пятницу: просто бродили часами, изучая все новые и новые улочки и закоулки, изыскивая новые точки для фотографирования, а главное – дышали воздухом столетий, впитывали дух истории.

«Воздух, ароматный как вино, и сосновый дух», как сказала Наоми Шемер в своей главной песне «Иерушалаим шель захав», «Золотой Иерусалим». Энциклопедии и справочники именуют ее «израильским композитором и поэтом» – потому, видимо, что нет в стране понятия «бард». Ведь по сути она самый настоящий бард, поскольку писала песни и на свои слова, и на стихи, сочиненные другими.

Лучшая песня посвящена ее любимому городу, сотворенному «из золота, меди и света». Интересно, в какой степени знала Шемер русскую поэзию и осознала ли свои параллели и аллюзии? Лермонтовское «из пламя и света рожденное слово» или есенинское «У меня в руках довольно силы, // В волосах есть золото и медь...»?

Следующий порт стоянки – Ларнака. То есть, Кипр. Первый в жизни шок от реального соприкосновения с левосторонним движением (отголосок британского владычества на острове). Нога не поднималась заходить в автобус через дверь, расположенную на том месте, где по всем канонам должен быть вход для водителя. Тем не менее, вошли. И поехали в столицу греческой части острова, в Никосию. По дороге местная гидесса особо упирала на то обстоятельство, что местная церковь – автокефальная, то есть самостоятельная в административном отношении, и потому ее архиепископ имеет право носить такую же красную мантию, как и византийский император, и подписывать соответствующие распорядительные документы красными чернилами. На обратном пути гидесса остановила автобус в некоторой (не хочу утверждать голословно, но – по-моему – в произвольно выбранной) точке прибрежного шоссе и торжественно заявила, что именно здесь появилась из морской пены Афродита. И напомнила, что потому-то богиня зовется «Киприда» – то есть, в буквальном переводе, «кипророжденная».

Круиз наш завершается в той же стране, где и начался – в Турции. Порт стоянки – Анталья. Как выяснилось в ходе длительной и насыщенной экскурсии, не обязательно было ездить в Грецию, потому что здесь, на территории Малой Азии, вполне можно насладиться видом самых что ни на есть древнегреческих памятников. В Перге и Сиде усилиями наших современников созданы очень живописные уголки, где, на фоне полуразрушенных зданий и башен, стратегически грамотно размещены разные обломки колонн, с пьедесталами и без, пьедесталы без колонн, сравнительно мало поврежденные статуи, вазы, да и просто достаточно древние камни непонятного назначения. Все это в целом создает привлекательный ландшафт, и

туриста так и тянет сфотографироваться в обнимку с каким-нибудь каменным львом или другим зверем. Но помимо живописных развалин имеются и вполне целые и весьма грандиозные сооружения, в числе которых наиболее известен античный театр в Аспендосе – равного ему не найти и в Греции. Интересно, что в свое время театр был отреставрирован по личному указанию Ататюрка, которые осознавал не только важность идеи национальной независимости, но и понимал, что иностранный туризм – это один из надежнейших способов материального обеспечения такой независимости.

Последние два заграничных дня мы провели в Стамбуле, поближе познакомившись с городом – поскольку предварительное впечатление мы составили, любуясь им с борта корабля, когда на второй день круиза шли Босфором. Мечеть Сулеймана Великолепного смотрится лучше, чем Айя-София с ее гладкими красноватыми стенами. Фасад выходящего прямо на Босфор султанского дворца Долмабаче чем-то напоминает Питер (фразу, безусловно, следует рассматривать как комплимент). Что же до султанских сокровищ, демонстрируемых во дворце Тонкапы, то впечатление примерно такое же, как и от посещения летнего дворца Бейлербей. То есть, если оставить в стороне политкорректность и не мучить себя подбором слов, то хочется спросить напрямую: «Как, и это все? А где же восточная роскошь – не говоря уже о восточной красе и изяществе?» Нет, дамы и господа, зажрались мы! Развратили и распустили нас красоты питерских дворцов и богатства кремлевской Оружейной палаты вкупе с Алмазным фондом. Насмотрелись мы на российское смешение византийского великолепия с западной утонченностью. Или просто задали себе еще с юных лет определенные стандарты и каноны, слишком высоко подняв планку. Ведь и в Версале, и в Шенбрунне мы тоже морщим нос. Впрочем, хорошо это или плохо – не здесь обсуждать.

Корабль наш стоял на шварту в двухстах метрах от моста Галата, откуда до пресловутого стамбульского рынка – рукой подать. Выскажемся и по этому поводу. Да, название Grand Bazaar полностью соответствует

действительности. Базар действительно большой и отвечающий вроде всем потребностям заинтересованной части человечества – хотя, если входить в детали, то: либо цвета нужного не найдешь, либо фасон не отвечает запросам, либо размер надо поискать. Однако в целом все эти проблемы решаемы в процессе достаточно длительных и настойчивых поисков. Во всяком случае, купленную там кожаную кепку и по сию пору ношу в дождливую погоду.

\*\*\*

Вышеописанный средиземноморский круиз, как мероприятие развлекательное, был, по определению, совершен в обществе жены. Но у меня лично уже имелся опыт таких прогулок – правда, в пределах советских территориальных вод Черного моря, но зато на деловой манер и за казенный счет. А дело было так. Один довольно крупный профсоюзный начальник любил не только свою работу, но и джаз. И вот как-то во время посещения Великобритании он завел речь о своем хобби с лидером английских профсоюзов. А тот возьми и предложи: хочешь, мы пришлем к вам коллективчик – ну, пусть не из самых звездных, но вполне добротный. Полет за наш счет, пребывание – за ваш. Покатаются они дней десять, подуют в саксофоны во славу профсоюзной дружбы двух стран – приятное, так сказать, с полезным. Предложение было с энтузиазмом принято, и заинтересованные стороны разработали скромный маршрут: три концерта в Москве, потом выступление в Одессе, а потом весь коллектив, с трубами, барабанами, бас-гитарой, солисткой и переводчиками садится на пароход и плывет до Батуми и обратно, давая концерты по пути следования.

А надобно вам сказать, что этот четырехдневный круиз Одесса–Батуми–Одесса пользовался совершенно безумной популярностью в кругах советской теневой экономики (год на дворе – для ориентации – 1988). Особенно у одесских дельцов известное дело какой национальности и у их армянских коллег. Разница заключалась в том, что одесские евреи плыли со своими любовницами, тогда как армянские армяне путешествовали

с женами и целым выводком детишек. То есть, если бы наш корабль (как принято в лучших романах: на рассвете, под покровом тумана, с правого борта) был взят на abordаж летучим отрядом ОБХСС, то атакующие повязали бы представителей и той, и другой категории; а будь это полиция нравов, то работы у них оказалось бы примерно вдвое меньше. И вот в таком сливочном обществе грузимся мы на пароход, который назывался «Федор Шаляпин» и был, по сути своей, дизель-электроходом – английской постройки и потому комфортабельным до изнеможения. Джазмены, так те вообще почувствовали себя на вершине блаженства – все родное, включая отдельные краны для горячей и холодной воды в умывальниках; а встречающиеся на каждом шагу – для вящего удобства пассажиров – указатели со стрелочками, чернью на медных, до блеска начищенных табличках: Bow, Aft, Starboard, Port (то есть, соответственно, «Нос», «Корма», «Правый борт», «Левый борт») прямо-таки создавали атмосферу романов капитана Маризтта.

Кстати, проявившиеся в предыдущем абзаце пиратские ассоциации родились не на пустом месте: поскольку поездка была куда как привлекательной, подбор команды переводчиков и сопровождающих принял форму не грызни даже, а просто открытого вооруженного конфликта. Тот большой начальник, которому принадлежала сама идея круиза, даже и не заикнулся о своем участии – чтобы не дразнить гусей. Исходя из аналогичных соображений, отказался возглавить поездку и референт, непосредственно отвечающий за контакты с британскими тред-юнионами. По принципу «не мне, так никому» командирские функции возложили на даму из административного сектора, которая ни на одном из языков не говорила и вообще не имела опыта работы с делегациями – зато моральный облик ее был вне всякой критики. Назначив ее – с тем, чтобы пресечь в корне все разговоры о фаворитизме и халяве – начальство вдруг (вдруг!) спохватилось: все-таки группа англичан, численностью порядка двух десятков (включая администратора и супружескую пару звуковиков), плюс еще десяток совграждан (включая мужиков из хозотдела, таскать

звукоаппаратуру с концерта на концерт) – поездочка-то вырисовывается непростая. Тогда в помощь административной даме назначили Мишаню, опытного референта с английским, из числа тех ребят, что не боятся ни черта, ни дьявола. Включая и всяких административных дам, которые вообще-то по определению не могут не наводить страх на любого нормального человека – достаточно бросить взгляд на эти поджатые губки, чуть тронутые светло-розовой помадой... Но Мишаня пришел в международный отдел из военной разведки (демобилизировался по какой-то незначительной травме), и потому просто клал на всех, что нашло свое выражение еще и в том, что он – по-наглому – взял в поездку любовницу. Правда, из числа наших переводчиц, так что в дневное время она честно трудилась наряду со всеми.

Итак, состав советской команды более-менее обозначился, и тут встал во весь рост вопрос: а кто же будет реально пахать с англичанами – в том числе и вести концерты? Английский референт и Мишаня пораскинули умом и пришли, причем независимо друг от дружки, к единодушному мнению: пожалуй, Витюшка будет в самый раз. С языком нормально, микрофона не боится, с джазистами общий язык найдет. Мишаня мне и позвонил в половине двенадцатого ночи, со словами: «В Баку мы с тобой не опозорились, по Золотому Кольцу прокатились нормально – а теперь отчизна зовет на морские подвиги!» Скажем прямо – дураком был бы я, если бы отказался. Классический джаз, солистка – темнокожая вест-индийская красотка Лорна, распевая хиты из «Кошек» Эндрю Ллойда Уэбера, веселые и компанейские музыканты с неисчерпаемым запасом анекдотов плюс нескончаемые запасы спиртного (не забудем: время-то самое антиалкогольное, а у них, предусмотрительных, с собой было), плюс приятное общество джазового администратора Кена, с которым мы прекрасно спелись и весело проводили время, всю подначивая друг друга, как за обеденным столом, так и за столиком на открытой палубе теплыми темными ночами, когда света крупных южных звезд и горящих вполнакала фонарей палубного освещения вполне

хватало, чтобы не пролить мимо стакана – а уж мимо рта мы как-нибудь не пронесем...

\*\*\*

Если первый наш речной круиз был по великой русской реке, то второй – по самой длинной реке в мире, каковой формально является Нил. Наш корабль, «Горизонт», считался самым большим круизным кораблем всей Нильской флотилии. Заказчик определил его размеры следующим образом: взяв минимальную ширину самого маленького шлюза на Ниле (а вообще шлюзов там значительное количество), вычел из нее два метра. Иными словами, чтобы между бортом «Горизонта» и стенкой шлюза было расстояние порядка одного метра – ведь меньше уж и некуда. Можно себе только представить, хотя и не без труда, какое виртуозное мастерство требовалось от капитана, чтобы вписаться в такой шлюз.

А еще у заказчиков «Горизонта» был сдвиг насчет зеркал. Все стены всех салонов – зеркальные. И если бы только салонов. Нет, в ванной комнате стены были нормальными, равно как и в каюте не имелось зеркала на потолке над кроватью. Но во всех прочих местах... Представьте себе картиночку: вы идете себе, допустим, в ресторан... Вернее, это вам кажется, что вы идете в ресторан, а на деле вы никак не в состоянии попасть в коридор, ведущий к ресторану, потому что вас вводит в заблуждение отражение того коридора, из которого вы только что вышли. И вы что? правильно, утыкаетесь носом в стену. В зеркальную стену, как вы понимаете. Да, разумеется, и двери зеркальные – чтобы плавание не казалось медом. Короче: первый судовой день ушел на то, чтобы привыкнуть ко всем этим обманкам. То есть, разумеется, не ко всем. Потому что ни от чего с таким трудом человек не избавляется, как от заблуждений и иллюзий. Включая, естественно, иллюзии оптические. Но зато как славно смотрелась толпа туристов, когда мы, облаченные в разные костюмы с оттенком карнавальности, проследовали на бал-маскарад – если учесть, что в ресторане и потолок зеркальный. Только вот насчет толпы – это преувеличение. Времечко было самое крутое – осень

девяносто четвертого, после пары жутких терактов, устроенных египетскими фундаменталистами, в которых погибло много иностранных туристов. Посещаемость страны была на самом спаде, но турфирмы, стиснув зубы, работали, как ни в чем не бывало. И потому корабль, рассчитанный на пару сотен пассажиров, отправился в круиз, имея на борту... Давайте посчитаем: десяток бельгийцев, семеро поляков, плюс нас двое – то есть, практически лишь десятая часть мест была занята. Или, если хотите, девять десятых пустовали. Но, тем не менее, весь экипаж трудился в полную силу, без малейшей расслабленности – правда, нам пришлось обходиться одним гидом, который сначала выдавал путевую и прочую информацию по-французски (для бельгийцев), а потом по-английски (для нас с женой и для польской переводчицы, которая, в свою очередь, доводила ее до сведения своих соотечественников).

\*\*\*

Маршрут нашего нильского круиза был: Асуан – Луксор. А попасть в Асуан из Каира можно самолетом, но проще поездом – ночь пути, аккуратно как из Москвы в Питер или Киев. Вагон первого класса: по три удобных кресла в ряду, шире самолетных, два подлокотник о подлокотник, и еще одно через проход. По проходу непрерывно снуют разносчики из вагона-ресторана с едой-питьем, причем не только бутерброды и минералка – тут и горячие блюда, и чай с кофе. Немногочисленные пассажиры поели-попили, и кто откинул спинку своего кресла градусов на сорок пять – чтобы поспать, а кто на шестьдесят – чтобы с удобством смотреть предложенный их вниманию фильм. Иными словами, полный кайф – «Красная стрела» отдыхает, не говоря уж о других «фирменных» поездах типа «Вологодские зори» или «Тамбовский товарищ».

Я-то могу сравнивать, потому что достаточно поездил с иностранными делегациями в СВ, то есть, в спальных вагонах, где купе на две койки и прилегающие к тому удобства (которых, правда, не столь уж много). Говорят, что сейчас многое по-другому – не знаю, не видел. Вот что я видывал, так это плацкартные вагоны; правда, от

поездок в сидячих вагонах поездов дальнего следования и уж тем более в общих вагонах Бог избавил. А плацкартные – то есть, жесткие вагоны со спальными местами – что ж, ничего страшного. Если, конечно, место не боковое, вдоль прохода. Впрочем, днем-то как раз нормально: нижняя полка превращается в два сидения, друг напротив дружки, и столик между ними; вот ночью, конечно, не ахти – ты спишь, а мимо тебя все шастают. Впрочем – не так уж и все, потому что ночью народ в основном спит. А атмосфера в таких вагонах была не хуже, чем в купированных – тем более что, в отличие от общих, там и курить нельзя было. Да и вообще я имею в виду прежде всего моральную атмосферу. Народ – в смысле, попутчики – гонял чай, выложив на столик снедь: крутые яйца, жареных цыплят, плавленные сырки и прочую стандартную железнодорожную еду, которую брали в поездку, исходя из главного принципа – чтобы не испортилась, потому что холодильника-то нет. На станциях подкупали вареную картошку, малосольные огурчики, моченые яблоки, ягоды по сезону. Начиналось взаимное угощение, а там и обмен душевными рассказами – поскольку изначально, со времен, еще описанных и Толстым, и Чеховым, сложилась такая атмосфера на российских железных дорогах. Может, благодаря какому-то особому мотиву, что выстукивали вагонные колеса на широкой российской колее (отличающейся от узкой европейской на известную неприличную величину). Или тому способствовали российские расстояния, когда одного перегона хватало, чтобы поведать историю всей жизни. Ну, разумеется, «навру с три короба, пусть удивляются» – как же без этого, потому что, и в самом деле, «с кем распрощалась я – их не касается...» Но ведь ввали беззлобно, скорее даже не ввали – сочиняли. Существовал при всем при этом, разумеется, и особый класс железнодорожных воров (именуемых майданщиками), равно как и шустрые молодые люди со специально подготовленными колодами карт, предлагавшие «сыграть по маленькой – так, для времяпрепровождения...» – но казалось, что каждый такой случай – это и в самом деле случайность.

Когда именно кончилась вся эта идиллия – точно не скажу, потому хотя бы, что в семидесятые я перестал ездить по своим надобностям, а только в командировки. Что означало с неизбежностью либо СВ максимум на одну ночь, либо самолет. Но вот в конце восьмидесятых мы с женой поехали в Кисловодск – и в полной мере ознакомились с новой действительностью. Было и «экстренное торможение с помощью стоп-крана», в результате чего народ попадал с полка – а тормозил проводник, который с парой доброхотов потом гнался за непонятным мужиком, спрыгнувшим с поезда и удиравшим в придорожный лесок. Но его поймали, и на следующей станции он прошествовал вдоль всего состава, в наручниках, в сопровождении двух местных милиционеров. И еще одного пассажира вроде бы опоили в его же собственном купе, и на очередной станции его вынесли на носилках, под простынкой. Наш проводник шепотом рассказывал, что это был какой-то известный дантист, и у него с собой были «большие тысячи», и за ним следили, и... Честно говоря, мы тут же решили сдать обратные билеты и возвращаться самолетом – но достать авиабилеты из Минвод оказалось делом вовсе невероятным. Так что до Москвы мы всю ночь тряслись от страха и в следующий раз рискнули поехать поездом только за границей.

\*\*\*

Оставим, однако, железнодорожные прелести и ужасы и обратимся к нильскому круизу. Отправившись из Асуана вниз по реке (или вверх по карте), мы повидали весь Древний Египет – что, как выяснилось, существенно выходит за пределы трех пирамид (Хеопса, Хефрена и Микерина) и сопутствующего им сфинкса, расположенных в Гизе, то есть, практически на окраине Каира.

Здесь уместно будет ознакомить читателя с версией, высказанной одним из наших египетских гидов относительно строительства этих гигантских сооружений. Начнем издалека: пирамида – это место погребения фараона, чья сущность является божественной, причем умерший фараон отождествляется с Осирисом. Осирис – бог природных сил, который отвратил людей от дикого образа

жизни, обучив их и земледелию, и ремеслам, и строительству, и врачеванию. После своей страшной смерти и воскрешения Осирис стал царствовать и вершить суд над душами в загробном мире. Считалось, что не только фараон, но и каждый египтянин может, подобно Осирису, возродиться для вечной загробной жизни – при условии, что он до конца дней своих пребудет «чистый сердцем» (как об этом сказано в 125 главе «Книги мертвых»). Кроме того, от него требовалось совершение определенных поступков, угодных богам – включая и участие в строительстве посмертного фараонова дома. Таким образом, объяснил наш гид, не было никакой необходимости в использовании рабского труда при сооружении пирамид, поскольку с лихвой хватало законопослушных и богобоязненных свободных египтян, которые, участвуя в этих работах на протяжении определенного периода своей жизни, тем самым получали столь желанную возможность сотворить богоугодное дело. Ни в коей мере, разумеется, не беря на себя смелость судить о степени правдоподобия этой гипотезы, хочу только добавить, что она напомнила мне концепцию ударных комсомольскихстроек в Советском Союзе – когда молодые люди, по собственной инициативе и с огромной радостью, уезжали за тридевять земель от родного дома, чтобы нелегким трудом внести свой вклад в общее дело строительства коммунистического будущего.

Но вернемся в Асуан. А точнее – на остров Филы. А еще точнее – на остров Агилика, потому что остров Филы оказался затопленным при сооружении Асуанской ГЭС, и все древнеегипетские чудеса оттуда перевезли на остров Агилика, расположенный ниже плотины. Первоначально были проведены немалые земляные работы, чтобы придать ему очертания острова Филы, затем все здания (распилив их на части, так что получилось 40 тысяч блоков), равно как и все статуи и прочую мелочевку переместили на новый остров и установили там в прежнем порядке. Впрочем, не все – храм, посвященный богу солнца Амону, египтяне подарили Испании в знак признательности за активное участие в строительстве Асуанской плотины, и теперь желающие могут видеть его в одном из парков Мадрида.

Далее мы приплыли в Ком-Омбо и посетили храм, патронами которого одновременно являются и Гор (бог-покровитель царской власти), и Себек (божество воды и разлива Нила). Сооружение одно на двоих, слева по фасаду – фрески с изображениями Гора, в виде сокола, а справа – Себек, в виде крокодила.

На следующий день нас разбудили ни свет ни заря, усадили по четверо в фэтоны и повезли в храм Эдфу, также посвященный Гору, встречать утреннее солнце. Украшение храма – известнейшая статуя Гора-сокола, о размерах которой можно судить по тому, что высеченная из того же монолита статуя жреца, в полный рост, едва достигает плече до груди. На одной из стен храма – серия фресок, изображающих этапы сооружения типового египетского культового здания: фараон выделяет участок земли под храм, фараон лично делает первый удар мотыгой, приступая к рытью котлована, фараон закладывает первый камень фундамента, фараон сыплет фундамент солью – отгоняя тем самым злых духов...

К вечеру мы прибыли в Луксор – город, возникший на месте «стовратных» Фив, столицы Древнего Египта во времена Среднего и Нового царства. Фивы стали столицей культа Амона, бога солнца; вместе со своей женой Мут, богиней неба, и сыном Хонсу, богом луны, они составляли фиванскую триаду. Священным животным Амона был баран, и потому более десятка статуй баранов, символизирующих также плодородие и процветание, красуются вдоль аллеи, ведущей в Карнак. Сам Карнак – это воплощение нашего представления о древнеегипетском величии: помимо храмов Амона, Мут и Хонсу, украшенных гигантскими барельефами, огромная территория буквально переполнена обелисками и колоннами (имеющими форму пальмы, лотоса цветущего и лотоса-бутона). Там же не знающий себе подобных в мире (особенно по соотношению размеров оригинала и изваяния) памятник скарабею, священному навозному жуку, считавшемуся символом движущей силы солнца. Но на этом же, Восточном, берегу – еще один, не менее величественный, храм – Луксор, давший название современному городу. Сфинксов там – не один, как

в Гизе, а целая аллея, и на гигантской стене под стать ей барельеф: Рамсес II на колеснице, поражающий своих врагов, хеттов, – еще одно изображение, обязательно присутствующее во всех школьных учебниках истории. В числе жемчужин Луксора был островерхий обелиск высотой метров двадцать пять, весь изукрашенный искусно вырезанными иероглифами, прославляющими деяния Рамсеса II, но в 1830 году (год «болдинской осени» Пушкина) египетский король решил преподнести его в дар королю Франции, и древнеегипетский памятник установили в центре парижской площади Согласия – в том самом месте, где совсем недавно (каких-то четыре десятилетия, срок ничтожный на фоне египетских тысячелетий) стояла гильотина, на которой обезглавили Людовика XVI и его супругу Марию Антуанетту, вошедшую – вернее, влившую – в историю своей фразой насчет пирожных, которыми народ запросто может питаться вместо хлеба.

Но сколь бы ни были значимы чудеса Восточного берега, главное ждет туриста на Западном берегу: гробницы Долины знати, Долины цариц и Долины царей. Как известно, в Древнем Египте была такая профессия, опасная, но очень доходная: грабители пирамид. Они не боялись ни проклятий и заклинаний жрецов, ни всяческих вполне материальных ловушек, устроенных хитроумными строителями; многие гибли, но это не останавливало еще многих и многих. Наконец, фараоны Нового царства (после XVI в. до н. э.), не вынеся постоянно нависавшей над ними опасности быть потревоженными после смерти, отказались от концепции пирамид, склонившись к идее гробниц, которые вырубались в известняковых горах, к западу от Стовратных Фив. Именно здесь похоронены и Аменхотеп III, при котором могущество страны достигло высшего расцвета; две двадцатиметровые статуи, воздвигнутые перед несохранившимся до наших дней заупокойным храмом фараона, известные как «колоссы Мемнона» – первое, что встречает туриста, сходящего с паромы, который доставил его с Восточного берега на Западный. И Тутмос III, восстановивший владычество Египта в Сирии и Палестине. И Тутанхамон – не самый могущественный фараон во всей

египетской истории, но, безусловно, самый известный – главным образом, потому, что его гробница, открытая в 1922 г., оказалась совершенно нетронутой грабителями и наглядно продемонстрировала как египтологам, так и всему человечеству, что значит подлинное фараоново великолепие.

На невысоком, в человеческий рост, сероватом каменном заборе – скромная желтая табличка с черной надписью: “Tomb of Tut Ankh Amon”. Спускаешься в гробницу, и первое, что поражает – ее сравнительно небольшие размеры. Совершенно непонятно, как она могла вместить все то богатство, которое сейчас выставлено в Каирском музее; здесь, в Долине царей, оставлен только средний (из трех) саркофаг и еще кое-что, по мелочи. Впрочем, в полупустой гробнице лучше смотрятся стенные росписи – в первую очередь, узнаешь шестерых пресловутых обезьянок, по три в ряд, в изголовье саркофага.

Кстати о росписях. Рассматривая книги по египтологии, на уровне чисто подсознательном трудно отделаться от мысли, что это очень похоже на раскрашенные картинки. Но вот тыходишь в первую же гробницу и застываешь в изумлении: все краски с тех самых пор (ведь, считай, прошло добрых четыре тысячи лет!) сохранили свою яркость и свежесть. Вся эта киноварь, лазурь, охра, золото, контрасты черного и белого... Начинаешь лучше понимать то мистическое почтение, которое египтологи испытывают к своему предмету. Кстати, когда будете в Каирском музее, загляните на пару минут в зал, что находится справа от коридора Тутанхамона, и там вы увидите, как именно создавались все эти стенные росписи. Оказывается – проще простого: главный художник делал рисунок в цвете на пластине сланца примерно полметра на полметра (вроде той, что выставлена здесь в витрине); потом эту, выражаясь современным языком, мастер-копию элементарно расчерчивали на клеточки, точно также, на квадратики, расчерчивали стену гробницы – и вперед.

В этой связи интересна история, связанная с гробницей, условно говоря, премьер-министра вроде бы

фараона-реформатора Эхнатона (могу и ошибиться, хотя чей именно он был министр, не столь уж важно для сути рассказа). Как известно, сооружение гробницы, будучи самым важным жизненным делом египтянина, начиналось еще при его жизни. Вот мы спускаемся в министерскую гробницу и видим, что она, как принято говорить в статистических сводках, «незакончена строительством». Настенные росписи разворачиваются от входа по часовой стрелке: первые пять или шесть сцен вполне завершенные, затем идет фреска раскрашенная, но с еще не стертой сеткой клеточек, следующая фреска – только набросаны контуры рисунка, а пространство следующей фрески лишь расчерчено на квадратики. И все! Фараон умер, министр оказался не у дел – значит, финансирование его гробницы закрыто, потому что надо срочно бросить все силы на роспись гробницы ныне действующего премьера.

И в заключение скажем пару слов о крокодилах. «Здесь у нас крокодилов нет, – заявил мне египетский собеседник, – они имеются только там... [он неопределенно машет рукой в южном направлении] там, в Африке!» (конец цитаты). Ладно бы еще такую фразу услышать в Каире, на северной оконечности Африканского континента, но в Асуане, то есть практически у Тропика Рака... Вообще с этими гигантскими пресмыкающимися (нильский крокодил достигает, согласно Брему, семи метров от носа до кончика хвоста) ситуация в Египте неясная. Ты заходишь в любую сувенирную лавку – там в широком ассортименте представлены фигурки животных, воплощающих египетских богов: шакал-Анубис, сокол-Гор, ибис-Тот, кошка-Баст, бык-Апис, и так далее, и так далее. При этом следует подчеркнуть: в древнеегипетском пантеоне имелось, наряду с прочими, божество Себек, отвечавшее за воду вообще и за водные ресурсы Нила в частности – но вот его отоображения-крокодила в сувенирных лавках не сыскать. Ни в Каире, ни на периферии. Заметим также, что в Ком-Омбо (о котором шла уже речь выше), в отдельной пристроечке к храму, желающим туристам за те же деньги показывают мумии храмовых крокодилов. То есть, это я все к тому, что вроде бы есть крокодилы в стране – или, во всяком случае,

водились и были в почете. Однако же когда мы впрямую спрашивали не только торговцев сувенирами, но и других граждан АРЕ (Арабской республики Египет) насчет крокодильской статуэтки, никто не смог дать внятного ответа. Или не захотел?

И это притом, что в лавках, вообще-то, можно найти все, что угодно. Не сомневайтесь, что за хорошую плату вам представят если не сосуд с джином, то, во всяком случае, относящийся к соответствующему историческому периоду пустой кувшин, в котором в свое время пребывал джинн – о чем свидетельствуют фрагменты Соломоновой печати на горлышке: «Вот, сэр, возьмите лупу и посмотрите: явственно различимы слова "Сулейман ибн-Дауд, мир с ними обоими". Ах, вы не читаете по-арабски? Жаль, сэр, очень жаль...» И обалдевший турист уходит из лавочки, купив каменных скарабеев и анубисов, а также новодельные папирусы с изображением безошибочно узнаваемых Тутанхамона и Нефертити. Папирусы эти, кстати, вполне соответствуют настоящим, музейным – и по точности рисунка, и по гамме красок. Их можно вешать на стену – или, уж во всяком случае, одаривать ими родных и знакомых.

Встречаются в этих лавочках и вещи совершенно неожиданные. Некоторые торговцы для пущей важности и придания своему заведению интеллектуального оттенка ставят при входе полку с книжками, не раз уже сменившими владельца. В поисках дешевеньких английских детективов я проглядывал эти книжные развалы, надежно укрытые густым слоем пыли (Каир вообще очень пыльный город, и это не удивительно, если учесть, что пустыня начинается уже в пригородах). В основном там были издания на арабском; на английском практически ничего найти не удалось – но зато я видел своими собственными глазами «Архипелаг ГУЛАГ» на немецком и книгу Дмитрия Сергеевича Лихачева о древнерусском искусстве, изданную в Бухаресте (естественно, на румынском). Прав Хемингуэй: «Никто не знает, что понадобилось леопарду на этой высоте»!

\*\*\*

Согласно британской традиции, переправа через Английский канал (который на картах, по проискам французов, именуют Ла-Манш) обычно приравнивалась к морскому путешествию. Это, конечно, не сопоставимо с плаваниями сэра Фрэнсиса Дрейка или хотя бы с регулярными рейсами чайных клиперов в Индию и обратно. Это даже не «Путешествие в Индию» Эдуарда Моргана Форстера. Но все-таки, как свидетельствуют многочисленные произведения классиков английской литературы, это не столь продолжительное плавание дает возможность проявить британский характер (тем, у кого он имеется), по-новому взглянуть на свет (тем, кто прежде ни разу не ступал на корабельную палубу) и вообще трезво оценить себя и свои возможности (тем, кто в состоянии производить подобного рода оценку). Самое страшное описание этого плавания, пожалуй, принадлежит перу Ивлина Во: представив для начала широкую панораму того, как тоскуют, мучаются, лезут на стенку и попросту, без моральных переживаний и затей, блюют пассажиры обоого пола, вне зависимости от возраста и социальной категории, он переносит уже достаточно запуганного читателя на капитанский мостик, где старшие корабельные офицеры обмениваются меланхолическими репликами типа: «Ветер свежеет...» – «Да, через пару часов может покачать по-настоящему...» И читатель полностью вырубается от ужаса: если описанное – последствия всего лишь свежего ветерка, что же тогда будет в настоящий шторм? Неужто по Стерну? «Тошнит! тошнит! тошнит! тошнит! О, меня до смерти укачало! Лучше бы я был на дне моря...»

Так вот, довелось и мне плыть на Континент, из Дувра в Кале. По пути, как проторенному, так и описанному многими и многими. Ну, например, хотя бы Козьмой Прутковым:

С сердцем грустным, с сердцем полным,  
Дувр оставивши, в Кале  
Я по ярым, гордым волнам  
Полетел на корабле.

Только это было уже в эпоху гигантских морских паромов, которые в принципе игнорируют качку – тем более что и море в тот раз было спокойным. Первым делом мы поднялись на открытую корму (строго говоря, на ют) и сфотографировались на фоне белых меловых скал Дувра, видом которых любовался еще Гай Юлий Цезарь. А потом отправились бродить по кораблю, да только мало чего интересного удалось выходить. Открытых прогулочных палуб на пароме не полагается, огромные пассажирские салоны похожи на холлы столичных гостиниц и лишены какого бы то ни было намека на морскую экзотику, за окнами ровная водная гладь, безмятежность которой напрочь отрицает саму мысль о романтических приключениях... Так что часть плавания мы посвятили тривиальному чаепитию, а еще часть – стыдно сказать – протолклись в дьюти-фри, не имея ни малейшего намерения что-либо купить, а просто для тупого времяпрепровождения. Впрочем, соблазненные хорошей скидкой, ухватили фунтовую (в смысле, весом в фунт, то есть, в 453,6 грамма – извините за скрупулезность) плитку шоколада Cadbury, с орехами и изюмом. Ладно, уж лучше такая скучная обыденность, чем штормовые неприятности.

Что же касается моего опыта плавания в штормовую погоду, то имеется в моем активе морской переход продолжительностью порядка суток, при волнении до семи баллов. Это было все в том же морском круизе, уже на исходе путешествия. Отплыли мы из Стамбула к вечеру, и пошли себе ужинать. Прощальный ужин, с выпивкой в меню. «Вот и окончилось все – расставаться пора», такой флер легкой грусти, не более. Ничего страшного в перспективе не представлялось. Ну, выпьем сейчас, потом чуть повеселимся, а завтра еще целый день будем расслабляться на палубе, пересекая Черное море. Правда, когда подали вторую перемену блюд, официант Саша сказал: «Начинает качать...», но никто не придавал этим словам того значения, которое они заслуживали. А ведь это он сигнализировал нам, что судно вышло из Босфора и окунуло свой форштевень в воды Черного моря. Встав из-за стола, мы решили сделать традиционный большой круг по

прогулочной палубе и обогнуть весь корабль вдоль борта – а потом отправиться в салон и принять посильное участие в прощальном веселье. Прошли мы совсем немного и вдруг почувствовали, что палуба уходит из-под ног. Вся поразительная прелесть этого выражения заключается в том, что лишь столкнувшись с ним в суровой действительности, осознаешь его убийственную точность. Действительно, ты делаешь шаг – и в этот момент корабль ныряет в морскую пучину. И твоя стопа не находит палубу, пол, опору, твердь – в том месте и в тот момент, где и когда все это должно было бы оказаться в нормальных условиях. Твой вестибуляр немедленно реагирует на подобное безобразие и начинает нашептывать: «Иди и ляг... В койку...»

В горизонтальном положении как-то и впрямь стало полегче, и вскоре мы, умотавшиеся за день беготни по Стамбулу, а главное, по его великому и ужасному рынку, заснули. Достаточно мирно. Утром встаем – качает. К тому же в каюте темно, и мы осознаем, что извне не попадает ни единый лучик света – видимо, во время ужина силами экипажа (ну, в смысле, нашей горничной) были приняты соответствующие меры. Тут же всплыла фраза из Станюковича: «Иллюминаторы задраить по-штормовому!», и никакой радости эта ассоциация не принесла. Ну, делать нечего, включили свет. Я побрился, умылся и... И лег снова. Уже на весь день. Но жена, жена! Она пошла на завтрак – и ничего. И ведь позавтракала, а потом погуляла на палубе. Потом, правда, вернулась в каюту и тоже прилегла. Но только до обеда. А к обеду снова вышла в ресторан, как ни в чем не бывало. А я что? Я – ничего. Нет, в самом деле, ничего. Правда, в лежачем положении. Но ведь, если почестному, то многие спутники блевали во всю прыть – как выяснилось потом уже, в ходе дележки воспоминаниями на твердой земле. Причем кто, допустим, вставши с койки – а ведь кто и прямо так... Стало быть, я оказался не хуже всех. Более того. С обеда жена принесла мне куриную ногу, сказавши: «Саша обещал, что к вечеру шторм стихнет. Вот тогда и аппетит появится...» Как часто бывало в нашей жизни, и на этот раз прогноз жены сбился с абсолютной точностью, и уже на подходе к акватории Одесского порта

(«Одесский порт в ночи простерт...» – ну, все точно как в этой любимой народом песне) я впился в принесенную курочку не хуже хищной лисицы.

\*\*\*

Разумеется, есть своя прелесть в морских круизах; неплохо также во время трансатлантического полета получить от хорошенькой стюардессы стакан джина, сдобренного тоником, и сдобренное улыбкой обращение «Сэр»... Но даже простая поездка на междугороднем автобусе – и это доставляет мне удовольствие чисто физическое. Заранее прийти на автобусную станцию, купить билет в кассе (чтобы не при посадке уже, в спешке, у водителя), в ожидании автобуса постоять у расписания, прикинув временной график своего предстоящего перемещения в пространстве, и, наконец, плотно усевшись на своем законном сидении, рассеянно следить за изменяющимся, хотя и почти неизменным заоконным пейзажем.

А к вечеру, набегавшись по влажной, изнурительной тель-авивской жаре, добираешься до громоздкого здания тамошней центральной автобусной станции, поднимаешься – где на эскалаторах, а где по грязноватым пандусам – на свой иерусалимский этаж. По дороге ухватив булку или бейгеле, густо посыпанные кунжутом, он же сезам. Не то, чтобы без вечного заклинания («Сезам, откройся!») не попасть в Иерусалим – слава Богу, у тебя имеется купленный на иерусалимской автобусной станции обратный билет автобусного кооператива «Эгед». Просто хочется перекусить на ходу, потому что предстоит час езды на этом автобусе, да потом еще потребуется не менее получаса, прежде чем окажешься дома. В слабо освещенном салоне отыскиваешь местечко – не важно, в каком ряду, лишь бы у окна, благо что время позднее, пассажиров мало, и все предпочитают ехать по одиночке. Собственно говоря, выбор места особого значения не имеет – поскольку это ведь не двухэтажные автобусы, курсировавшие некогда между Иерусалимом и Тель-Авивом и снятые с маршрута по неизвестной причине: вот там и в самом деле желательно было, поднявшись наверх, занять место на переднем

сидении, потому что вид оттуда открывался поразительный. Но гарантировать себе это место можно было лишь подсутившись: следовало пропустить уже стоящий у дебаркадера автобус, дабы оказаться первым в очереди на следующий – благо, что интервалы движения составляют всего 12-15 минут (поздним вечером, бывает, дольше ждешь услуг городского транспорта).

Усевшись, достаешь из сумки бумажный пакет с закупленным съестным и принимаешься отламывать по кусочку, стараясь не просыпать кунжутные зернышки, не пронести их мимо рта. С содержимым пакета успеваешь расправиться раньше, чем автобус выкатывает на эстакаду и отправляется в путь. Минут через десять-пятнадцать, после выезда на основную дорогу, обычно удается заснуть, и дремлешь с небольшими перерывами до того поворота извилистого шоссе, за которым взору путника открываются огни Иерусалаима. А это значит: ты вернулся домой.



Джером Дэвид Сэлинджер

## Над пропастью во ржи

Перевел с английского

Яков Лотовский

(окончание. Начало в №2(3))20



сидел и продолжал накачиваться спиртным – все ждал, когда выйдут Тина и Жанин со своими делами, но их сегодня не было. Вышел шустрый такой чувак с перманентом на голове и стал играть на фоно, а потом новая крошка, певица Валенсия. Тоже ничего особенного, но все же лучше, чем Тина с Жаниной, эта хоть пела нормальные песни. Фоно стояло рядом со стойкой, где я сидел, и Валенсия находилась практически рядом. Я подмигивал ей, но она делала вид, что не замечает. Наверно не стоило этого делать, но я был пьяный в дым. Когда она закончила, она смоталась так быстро, что я не успел ее пригласить выпить со мной, и я подозвал метрдотеля и попросил передать Валенсии: не будет ли она любезна выпить со мной. Он сказал, что передаст мое приглашение, но наверно не передал. Вечно так: сколько их ни проси – никогда не передадут.

Блин, я торчал в баре чуть ли ни до часу ночи и упился в стельку. Окосел совсем. Одно только я помнил четко – нельзя шуметь, дебоширить и тому подобное. Нельзя привлекать к себе внимания и т. д. и т. п., а то начнут выяснять, сколько мне лет. Но до чего же я, блин, окосел! Когда я *совсем* напился, у меня опять начался этот дурацкий бзик, будто мне в кишки всадили пулю. Я был единственный в баре с пулей в животе. Я положил руку под

курткой на живот и все такое, чтоб кровь не лилась на пол. Я не хотел подавать виду, что ранен. Я старался скрыть, что ранен каким-то сукиным сыном. И тут мне жутко захотелось позвонить Джейн, узнать явилась ли она уже домой. Я заплатил по счету, вышел из бара и пошел искать телефон. Я продолжал держать руку под курткой, чтобы кровь не капала. Бог мой, до чего же я был пьян!

Но когда я оказался в телефонной будке, у меня пропало настроение звонить Джейн. Я чувствовал, что слишком пьян. Поэтому позвонил Сэлли Хэйес.

Я раз двадцать набирал номер прежде, чем набрал точно. Совсем, блин, окосел!

– Алло! – говорю, когда кто-то наконец взял трубку.

Я прямо орал, до того надрался.

– Кто это? – холодным тоном спросила какая-то дама.

– Это я. Холден Колфилд. Могу я поговорить с Сэлли?

– Сэлли спит. Это ее бабушка. Почему вы звоните в такой поздний час, Холден? Вы знаете, который час?

– Да. Мне надо поговорить с Сэлли. Очень важно. Дайте ей трубку.

– Сэлли спит, молодой человек. Позвоните ей завтра. Покойной ночи.

– Разбудите ее! Разбудите! Эй! Слышите?

Тут в трубке слышу другой голос.

– Холден, это я. – Это была Сэлли. – С чего это ты вдруг?

– Сэлли? Это ты?

– Да. Перестань орать. Ты что – пьян?

– Да. Послушай. Это самое, я приду на сочельник. О'кей? Украшать елку с тобой. Ладно, а? Сэлли!

– Ты пьян. Иди спать. Где ты? Кто с тобой?

– Сэлли! Я приду, и будем украшать елку, о'кей? Слышишь?

– Да слышу. Иди спать. Где ты? С кем ты?

– Ни с кем. Сам с собою, сам при себе. – Мой бог, до чего я был пьян! Я все держался за кишки. – Они кокнули

меня! Банда Рокки меня прикончила! Ты поняла? Сэлли, ты поняла?

– Ты о чем? Иди лучше спать. Мне тоже пора. Позвони завтра.

– Эй, Сэлли! Ты хочешь, чтобы я пришел наряжать елку? Ты хочешь, а?

– Да. Покойной ночи. Иди домой и ложись.

И повесила трубку.

– Покойной ночи! Покойной ночи, Сэлли, девочка моя. Миленькая моя, дорогая! – говорю.

Представляете, до чего надрался? Повесил трубку и подумал, что она, наверно, только вернулась со свидания. Мне вдруг почему-то представилось, что она была у Лантов на чаепитии, типа того, вместе с этим пижоном из Эндовера. Что они прямо купались в своем чаю, и умничали, и выпендривались друг перед другом. Даже противно стало, что позвонил ей. Когда выпью, вечно дурь из меня лезет.

Проторчал я в этой будке довольно долго. Все держался за трубку, как за соломинку, чтобы не отключиться. Чувствовал себя не лучшим образом, мягко говоря. Наконец выбрался из будки и подался в туалет, шатаясь, как болван. Набрал полный умывальник холодной воды и окунул голову по самые уши. А потом даже и вытирать не стал. Пусть с нее льется, к свиньям собачим. Подошел к радиатору у окна и сел на него. На нем было хорошо, тепло. Хорошо, потому что я дрожал, как пес. Юмор в том, что, когда я накачаюсь, меня всегда трясет, как в лихорадке.

От нечего делать я сидел на радиаторе и пересчитывал белые квадратные плитки на полу. По мне текло. Наверно галлон воды протек мне за шиворот, замочил весь воротник, галстук и прочее, но мне все было побоку. Я был слишком пьян, чтоб обращать на это внимание. Тут смотрю – этот чувак, что играл на фоне для Валенсии, шустряк этот с перманентом, вроде как гомосек, заходит, чтобы поправить свои золотые кудри. И пока он укладывал свою прическу, мы малость потрепались, хотя он был не очень приветлив.

– Слушайте, вы увидите эту крошку Валенсию, когда вернетесь в бар? – спрашиваю у него.

– Очень даже не исключено, – отвечает он. Хохмит, скотобаза. Сколько не встречал таких хмырей, вечно с хохмочками.

– Послушайте. Передайте ей от меня привет. Спросите, передавал ли ей официант от меня просьбу, ладно?

– Шел бы ты лучше домой, Мак. Сколько тебе, если честно?

– Восемьдесят шесть. Слышите, передайте ей от меня привет. О'кей?

– Шел бы ты домой, Мак.

– Зачем? А вы, между прочим, клево играете на фоне, – говорю ему. Это я – чтоб подкатиться к нему. Если честно, играл он говенненько. – Вам надо выступать по радио, – говорю. – Симпатичный чувак. Золотые кудри. Вам нужен менеджер?

– Ступай домой, Мак. Будь умницей – ступай домой и ложись спать.

– Некуда мне идти. Нет, кроме шуток – вам нужен менеджер?

Он не ответил. Просто ушел. Расчесал и уложил свои кудри и ушел. Точь-в-точь Стрэдлэйтер. Все эти красавчики одинаковы. Причешутся, прилижуются и – будь здоров. А ты оставайся.

Когда я наконец встал с радиатора и двинулся в гардероб, отчего-то расплакался, и т. д. и т. п. Не знаю, чувствовал себя слишком одиноко и грустно. Когда я оказался в гардеробе, я не нашел у себя номерка. Но гардеробщица была очень добра ко мне. Отдала мне куртку и так. И мою пластинку «Крошка Ширли Бинз» – я все еще с ней таскался. Я дал ей бакс за доброту, но она не взяла. Все твердила, чтобы я шел домой спать. Я пытался типа того, чтоб назначить ей свидание после работы, но она отказалась. Сказала, что годится мне в матери и так далее. Я показал мою седину и сказал, что мне сорок два – просто выпендривался. Но она была славная. Я показал ей свою

красную шапку, и она ей понравилась. Велела надеть ее, потому что голова у меня была мокрая. Очень славная она!

На свежем воздухе мне полегчало, но холодрыга была жуткая, у меня зубы отбивали дробь. Я не мог с ними справиться – прямо лязгали. Я двинулся по Мэдисон-авеню и стал высматривать автобус, так как деньги у меня почти все вышли, и нужно было обходиться без такси и все такое. Но и в чертов автобус лезть жутко не хотелось. К тому же я не знал, куда направиться. И я решил пойти через парк. Дай, думаю, дойду до того озера и узнаю, есть ли там утки. Надо же выяснить – остаются они или нет? Я все еще не знал – остаются или нет? Парк был недалеко, а мне торопиться было некуда – я не знал даже, где буду ночевать – короче, поперся. Усталости я не чувствовал. Чувствовал только страшную тоску.

В парке сразу же случилась жуткая вещь. Я уронил пластинку, которая для Фиби. Она разбилась вдребезги. Лежала вроде в конверте, но все равно разбилась. Я чуть не зарыдал, до того было жалко, но ничего не оставалось, как вынуть осколки из конверта и сунуть в карман куртки. Толку от них никакого, но выбрасывать как-то не хотелось. Я углубился в парк. Бог мой, и темно же там было!

Я прожил в Нью-Йорке всю жизнь и знал парк, как свои пять пальцев, постоянно гонял здесь на роликах и на велосипеде, когда был пацаном, но теперь никак не мог найти это озеро. Прекрасно же знал, что оно у южного выхода, но никак не мог найти. Наверно, я был пьянее, чем мне казалось. Я все шел и шел, и становилось все темнее и темнее, жутче и жутче. За все время не встретил ни души. И слава Богу, а то наложил бы в штаны со страху. Наконец нашел. Оно было наполовину покрыто льдом. Но нигде никаких уток. Я обошел вокруг все это озеро, даже чуть не свалился в него, но – ни одной утки. Мне взбрело в голову, что если они даже и здесь, то, должно быть, спят у берега в осоке и так далее. И чуть из-за этого не свалился в воду. Короче, не нашел ни одной.

В конце концов я сел на скамейку, где было не так темно. Блин, меня трясло, как в лихорадке, а волосы на затылке превратились в сосульки, хоть на мне и была

охотничья шапка. Этого еще не хватало – подцепить воспаление легких и умереть. Я стал представлять себе как миллион всяких-разных понабегут на мои похороны. Мой дед из Детройта, что имеет привычку объявлять номера улиц, когда едешь с ним в автобусе, мои тетки – их у меня штук пятьдесят, – и вся моя двоюродная шайка-лейка. Все сборище. Как на похоронах Алли, когда они собрались в полном своем идиотском составе. Д.Б. рассказывал, как одна тупая тетушка, у которой всегда изо рта воняет, все время повторяла: ах, какой он лежит *умиротворенный*. Меня там не было. Я был в больнице. Попал в больницу и т. д. и т. п., когда поранил руку. Короче, я боялся схватить воспаление легких, со всеми этими сосульками на голове, и потом отдать концы. Просто очень жалко было предков. Особенно, маму. Она и так до сих пор не может прийти в себя после смерти Алли. Я представил себе, как она не будет знать, что делать с моими костюмами, спортивным барахлом и так далее. Одно хорошо, что она не позволит старушеньке Фиби быть на похоронах – мала еще. Это меня утешало. Потом я представил, как вся эта компания сует меня в могилу и все такое, ставит камень с моим именем – и хана. И вокруг одни мертвые чуваки. Блин, стоит только умереть – тебя вмиг упрячут. Хотелось бы, когда помру, чтобы нашелся толковый человек и бросил бы на фиг меня в реку или еще куда. Да куда угодно, лишь бы не на кладбище. Приходят к тебе по воскресеньям, кладут тебе на живот букет цветов – все это фуфлятина. Кому нужны эти цветы, если ты загнулся? Полная чушь!

Когда погода хорошая, мои предки довольно часто ходят на могилу к старине Алли и кладут букет. Я пару раз сходил и бросил это дело. Во-первых, мне тошно видеть его на этом дурацком кладбище. Вокруг одни дохляки и могильные плиты – и все. Еще куда ни шло, когда солнце на небе, но два раза – причем, подряд! – когда мы были там, начинал лить дождь. Жуткое дело. Дождь поливал несчастный этот камень, траву, что растет у него над животом. Лило как из ведра. Весь народ, что был здесь, рванул отсюда, как угорелый, к своим машинам. Это меня совсем убило. Все они могут сесть в свою машину,

включить свое радио и все такое, потом поедут в ресторан – все, но только не Алли. Для меня это невыносимо! Я понимаю, что на кладбище всего лишь его тело, а душа на небесах и т. д и т. п., но все равно, как такое можно вынести? И так хотелось, чтоб он был не там, а тут. Жалко, вы его не знали. Если бы знали, поняли бы, о чем я. Когда солнце светит, еще куда ни шло, но светит-то оно, когда ему вздумается.

Чтоб не думать о воспалении легких и так далее, я достал свои последние гроши и стал пересчитывать под тусклым фонарем. Осталось всего три бакса, пять квотеров и никель. Мой бог! Промотал целое состояние после отъезда из Пэнси. Я подошел к пруду и зашвырнул эти квотеры с никелем в воду, в полынью. Сам не знаю зачем. Может, для того, чтобы выбросить вместе с ними из головы мысли о воспалении легких и смерти. Но выбросить мысли не удалось.

Я стал думать, что почувствует старушенька Фиби, если я схвачу воспаление и умру. Все это, конечно, было по-детски, но перестать я не мог. Она сильно расстроится, если случится что-то в этом духе. Она меня любит. Думаю, даже очень. Без дураков. Короче, я никак не мог выбросить из башки эти идиотские мысли и понял, что мне следует пойти домой и повидаться с ней, на случай, если я помру. Ключи от квартиры были при мне, и я решил сделать так: тихонько прокрадусь в дом и хоть немного поболтаю с ней. Главное, что меня беспокоило, так это входная дверь. Она, сволочь, так крикает. Дом старый, а управляющий – ленивый гад. Все в доме скрипит, пищит. Я боялся, что предки могут услышать. Но я решил попытаться все же.

Я тут же рванул на фиг из парка и пустился домой. Всю дорогу шел пешком. Это не так далеко, и я совсем не устал, и хмель весь вышел. Только холодина стояла жуткая – и никого вокруг.

## 21

Давно мне так не везло: когда я пришел домой, вместо нашего ночного лифтера Пита был какой-то другой, которого я впервые видел. Теперь главное не напороться на предков. Повидаюсь со старушечкой Фиби, а потом отвалю,

и никто не узнает, что я здесь побывал. Повезло как никогда! К тому же этот лифтер вид имел туповатый. Я ему бросил небрежно, что мне надо к Дикстайнам. А Дикстайны живут на нашем этаже. Я еще перед входом снял свою охотничью шапку, чтобы не выглядеть подозрительно. Быстренько вошел в лифт, типа страшно тороплюсь.

Он уже закрыл двери и хотел было надавить на кнопку, но вдруг повернулся и говорит:

– А их сейчас нет дома. Они на вечеринке на четырнадцатом этаже.

– Ничего, – говорю. – Тогда я их подожду. Я их племянник.

Он посмотрел на меня с тупой подозрительностью.

– Могли бы подождать в вестибюле, молодой человек.

– Вполне можно, – говорю. – Да вот с ногой что-то у меня. Надо держать ее в удобном положении. Нет, все же лучше посижу на стуле у их дверей.

Он даже и не врубился что к чему, только сказал: «А-а!» и повез меня наверх. Неплохо, да? Стоит человеку навешать какой-нибудь лапши на уши, и он сделает все, что тебе надо.

Я вышел на нашем этаже и похромал, как калека, в сторону квартиры Дикстайнов. Когда я услышал, что захлопнулась дверь лифта, я повернулся и пошел в нашу сторону. Сработано было чисто. И хмеля ни в одном глазу. Я достал из кармана ключ и открыл нашу дверь, тихонечко так. Потом, крадучись, вошел и притворил дверь. Запросто мог бы быть воришкой.

В прихожей, конечно, было темно, как в аду, но свет, конечно, я не мог врубить. Я был очень осторожен, чтобы ни на что не наткнуться и не наделать переполоху. Главное – я был дома. Родной запах. В прихожей у нас пахнет, как нигде. И фиг поймешь чем. То ли цветной капустой, то ли одеколоном – не знаю чем, но по запаху сразу поймешь, что ты дома. Я хотел было снять куртку и повесить в стенной шкаф, но там полно вешалок, когда откроешь дверцу, начнут ужасно стучать, поэтому я остался в куртке. Потом я потихоньку двинулся к Фибиной комнате. Я знал, что

горничная меня не услышит – у нее только одна барабанная перепонка. Другую братец проткнул, когда она была малышкой, сама мне рассказывала. Так что со слухом у нее туго. Зато мои предки, точнее, мама, чуткая, как розыскная собака. Поэтому я крался очень и очень осторожно, когда проходил мимо их двери. Даже не дышал, черт возьми. Отца хоть стулом стукни по голове – не проснется, но мама – другое дело: стоит кому-то кашлянуть где-нибудь в Сибири, она услышит. Нервная – страшное дело. Полночи не спит, курит.

Наверно, целый час прошел, пока я добрался до Фибиной комнаты. Но ее там не было. Совсем вылетело из головы: она же спит в комнате Д.Б., когда он уезжает в Голливуд или еще куда-либо. Там ей нравится, потому что это самая большая комната. К тому же там стоит огромный письменный стол, который Д.Б. купил у одной дамы-алкоголички в Филадельфии. И кровать там большая, прямо гигантская, миль десять шириной и десять длиной. Не знаю, откуда только берутся такие кровати. Короче, старушка Фиби любит спать в комнате Д.Б., когда его нету дома, он ей позволяет. Это надо видеть, когда она готовит уроки и прочее за этим ненормальным столом. Он тоже величиной с эту кровать. Ее почти не видно, когда она готовит уроки. И ей это нравится. Своя комната ей не нравится – говорит, что там тесно, ей негде развернуться. От нее помрешь! Что значит у старушеньки Фиби «негде развернуться»? Пойди ее пойми.

Короче, я вошел в комнату Д.Б. на цыпочках и зажег лампу на письменном столе. Старушка Фиби даже не шелохнулась. При свете лампы я долго смотрел на нее. Она спала, положив щеку на загнутый уголок подушки. Рот у нее был приоткрыт. Интересная вещь: когда взрослые спят с открытым ртом, смотреть противно, а на детей – нет. Даже если у них слюни текут на подушку, все равно смотреть на них приятно.

Я походил по комнате очень тихо, осмотрелся – как оно тут все поживает. На душе полегчало. Я уже больше не чувствовал, что схватил воспаление легких или типа того. Как-то стало совсем хорошо. Рядом с кроватью на стуле

лежала Фибиная одежда. Фиби очень аккуратная, прямо не по годам. Она не неряха. Не разбрасывает повсюду свои вещи, как другие дети. Ее кофейная жакетка от костюмчика, который купила ей мама в Канаде, висела на спинке стула. Блузочка лежала на стуле. Туфельки с носочками стояли рядышком на полу. Я этих туфелек еще не видел. Очевидно, новые, темно-коричневые такие мокасины, у меня тоже такие есть. Они очень подходили к костюму, что мама купила в Канаде. Мама ее одевает со вкусом. У мамы хороший вкус. Но не во всем. Он ей изменяет, когда она покупает коньки или типа того. Но в одежде она толк понимает. У Фиби вообще одежда – высокий класс. Некоторые малыши, даже у кого предки богатые и все такое, жутко одеты. А посмотрели бы вы на старушечку Фиби, когда она в этом канадском костюмчике! Полный отпад!

Я сел за письменный стол брата и стал рассматривать, что на нем лежит. В основном Фибины школьные причиндалы и все такое. Стопка книг. Сверху книга под названием «Занятная арифметика». Я ее приоткрыл и увидел на первой странице надпись, сделанную ее рукой:

*Фиби Уэзерфилд Колфилд, 4Б класс.*

Ой, не могу! Ее второе имя Джозефина, а никакая не Уэзерфилд. Но оно ей не нравится. И каждый раз она придумывает себе новое.

Под арифметикой лежала география, а под географией – грамматика. У нее с грамматикой все в порядке. У нее порядок и с другими предметами. Но с грамотностью лучше всего. Под грамматикой лежала целая куча блокнотов. Никогда не поверите, что у такой малышки может быть так много блокнотов. Тысяч пять, не меньше. Я раскрыл верхний и взглянул на первую страницу. А там такое:

*Бернис жди меня на перемене. Надо сказать очень очень важную вещь.*

И больше ничего на странице. А на следующей так:

*Почему в юго-восточной Аляске так много консервных фабрик?*

*Потому что там так много лососей*

*Почему там ценные леса?  
потому что там для них хороший климат.  
Что наше правительство сделало чтоб эскимосам  
на Аляске жилось легче?*

*выучить наизусть!!!*

*Фиби Уэзерфилд Колфилд*

*Фиби Уэзерфилд Колфилд*

*Фиби Уэзерфилд Колфилд*

*Фиби У. Колфилд*

*Фиби Уэзерфилд Колфилд, эсквайр.*

*Передай, пожалуйста, Ширли!!!*

*Ширли, ты говоришь, что твой знак стрелец, но у  
тебя телец захвати коньки когда зайдешь за мной.*

Я сидел за столом Д.Б. и читал записную книжку, все подряд. Много времени это у меня не заняло. Я вообще могу читать такую вот детскую писанину, Фибину или еще чью-то, день и ночь напролет. Такого понапишут – сдохнуть можно! Я снова закурил сигарету – последнюю. Я сегодня выкурил наверно три пачки. Наконец я стал ее будить. Не сидеть же всю жизнь у стола, кроме того я боялся, что предки могут вломиться вдруг, и я не успею даже сказать ей привет. Потому и разбудил.

Она очень легко просыпается. Не надо ни кричать, и ничего такого. Присядешь только к ней на кровать и скажешь: «Проснись, Фиб», она – хоп! – и проснулась.

– Холден! – сразу же воскликнула она. Обхватила меня за шею и все такое. Она очень возбудимая для своих лет. Иногда даже слишком. Я ее чмокнул, а она говорит: – Когда ты успел приехать? – Она мне была рада до предела. Это сразу видно.

– Тише! Только что. Ну как ты тут?

– Хорошо. Ты получил мое письмо? Я тебе написала на пяти страницах...

– Да. Не шуми. Получил. Спасибо.

Письмо-то я получил, только ответить не успел. Там все про школьный спектакль, в котором она должна участвовать. Просила, чтобы я ничего не намечал на пятницу и пришел на спектакль.

– Ну что ваша пьеса? – спрашиваю. – Как ты говоришь, называется?

– Ай, чепуха – «Рождественские картины для американцев». Но я играю Бенедикта Арнольда. У меня в общем самая большая роль! – Бог мой! Куда и сон у нее подевался. Она всегда очень возбуждается, когда говорит о таких вещах. – Начинается с того, как я умираю. И тут в сочельник приходит привидение и спрашивает, не стыдно ли мне и все такое. Да ты знаешь. Стыдно мне должно быть, что я предал родину и все такое. Ну, ты придешь? – Она даже вскочила в постели и все такое. – Я тебе про все писала. Придешь?

– Конечно, приду. Это железно.

– Папа прийти не сможет. Ему надо лететь в Калифорнию, – говорит она. Бог мой, ну до того бодрая, будто и не спала две секунды назад. Встала на коленки и держит мою руку. – Послушай. Мама говорила, что ты должен вернуться в среду, – говорит она. – А сегодня...

– Отпустили раньше. Не шуми. Ты всех разбудишь.

– А который час? Мама сказала, что они вернутся очень поздно. Они поехали на вечеринку в Норуок, в Коннектикут, – говорит старушка Фиби. – Угадай, где я была сегодня. Знаешь, какое кино смотрела? Угадай!

– Не знаю. Послушай, а они говорили во сколько?..

– «Доктор», – говорит старушка Фиби. – Это был специальный показ в Листер Фаундэйшн. Только один день, только сегодня. Там про одного доктора из Кентукки, он набрасывает одеяло девочке на лицо. А она калека, не умеет ходить. Потом его сажают в тюрьму и все такое. Чудная картина!

– Погоди. Они не сказали, в котором часу...

– Ему было ее жалко, доктору. Потому он и набросил ей на лицо одеяло, чтоб она задохнулась. Потом они его посадили в тюрьму на всю жизнь, но эта девочка, которую он придушил, все являлась к нему и благодарила за то, что он с ней такое сделал. Убийца из милосердия. Но он все равно знает, что заслужил тюрьму, потому что доктору не полагается поступать вместо Господа Бога. Нас повела

мать одной девочки из нашего класса, Элис Холмборг. Она моя лучшая подруга. Она единственная в классе...

– Да погоди ты, слышишь? – говорю ей. – Я же тебя спрашиваю. Говорили они, во сколько вернутся?

– Нет. Просто сказали – очень поздно. Папа взял машину, чтобы не зависеть от поезда. А у нас теперь в машине радио! Мама говорит, что нельзя его включать, во время пробок.

Меня чуть отпустило вроде бы. Не знаю, может, просто перестал волноваться, что они меня застукают дома. А застукают – черт с ним!

Вы бы посмотрели на старушечку Фиби! Она была в синей пижаме с красными слониками на воротнике. Она балдеет от слонов.

– Так говоришь – хорошая картина? – спрашиваю.

– Чудесная, но только у Элис был насморк, и мама все время спрашивала у нее во время сеанса: тебя не знобит? Как только интересное место, ее мама перегибается передо мной и каждый раз спрашивает у Элис: тебя не знобит? Прямо на нервы действовала.

Тут я вспомнил про пластинку.

– Знаешь, я купил тебе пластинку, – говорю. – Но разбил ее по дороге домой. – Я достал осколки из кармана пальто и показал ей. – Я был сильно выпивший, – говорю.

– Отдай мне эти кусочки, – говорит она. – Я их собираю.

Она взяла у меня обломки и тут же спрятала в ящичек ночного столика. Вот чудная!

– Д.Б. собирается приехать на Рождество? – спрашиваю ее.

– Мама говорит: может, приедет, а может, и нет. Зависит от обстоятельств. Он, может, останется в Голливуде, чтоб писать сценарий про Аннаполис.

– Господи! Какой еще Аннаполис?

– Это про любовь и про все такое. Угадай, кто там будет сниматься? Кто из звезд? Вот угадай?

– Да какая разница! Но причем тут Аннаполис?! Какой-то дурацкий Аннаполис! Бог ты мой, ничего общего с рассказами, которые он писал! – Блин, эти дела меня

страшно бесят! Этот проклятый Голливуд! – Что у тебя с рукой? – спрашиваю у нее. Я вдруг заметил, что у нее на локте наклеен пластырь. Пижама у нее без рукавов, поэтому видно.

– Этот Кертис Уайнтрауб из нашего класса толкнул меня, когда я сходила по лестнице в парке, – говорит она. – Хочешь, покажу? – И начала сдирать пластырь.

– Не делай этого. А почему он толкнул тебя?

– Откуда я знаю? Наверное, ненавидит меня? – говорит старушка Фиби. – Мы с одной девочкой, Селмой Аттербэри, измазали ему всю ветровку чернилами.

– Это некрасиво. Ты ведь уже, слава Богу, не ребенок.

– Но он всегда, когда я бываю в парке, ходит за мной. Повсюду ходит. На нервы мне действует.

– Ты ему наверно нравишься. Но это не значит, что надо обливать чернилами...

– Я не хочу ему нравиться, – говорит она и смотрит на меня настороженно. – Холден, – говорит она. – Сегодня же не среда. Почему ты приехал раньше?

– Что?

Блин, с ней надо быть всегда начеку. Если кто думает, что она глупышка, тот сам глупец.

– Почему ты приехал до среды? – переспрашивает она. – Тебя случайно, не выгнали из школы, а?

– Я же сказал тебе. Они отпустили нас раньше. Всех отпустили...

– Тебя выгнали! Точно! – говорит старушечка Фиби. И как даст мне кулаком по ноге. А она еще как стукнуть может. – Выгнали! Ох, Холден! – крикнула она и прикрыла рот ладошкой.

Боже мой, как она расстроилась!

– Кто тебе сказал, что меня выгнали? Ничего подобного...

– Выгнали! Выгнали! – говорит она. И снова как стукнет меня кулаком. Если думаете, не больно, то вы сильно ошибаетесь. – Папа *убьет* тебя! – говорит. – Она плюхнулась животом на кровать и сунула голову под подушку. Она часто так делает, когда ее что-то бесит.

– Перестань, – говорю. – Никто никого не убьет. Никто даже... Кончай, Фиб. Вылезай из-под подушки. Никто никого не убьет.

Но она не снимала подушку. Если она упрется, это – все. И продолжала твердить:

– Папа убьет тебя.

Сквозь подушку плохо было слышно.

– Кончай. Никто никого не убьет, – говорю. – Подумай сама. Во-первых, я уеду. Подыщу себе работу, где-нибудь на ранчо или еще где, на первое время. У меня есть знакомый чувак, у его деда есть ранчо в Колорадо. Может, там найдется работа. Я буду тебе писать, если уеду. Перестань. Убери эту подушку. Слышишь, Фиби! Ну, пожалуйста. Прошу тебя!

Но она не выбиралась из-под подушки. Я стал ее стаскивать, но она вцепилась – сильная, как черт. Попробуй, отними. Блин, если ей вздумалось сунуть голову под подушку, черта с два стащишь!

– Фиби, прошу тебя. Вылезай, – упрашивал я. – Слышишь? Эй, Уэзерфилд! Вылезай, говорю!

Но она не желала. Бывает, ее ни за что не уговоришь. Я встал и вышел в гостиную, взял со стола несколько сигарет из коробки и сунул в карман. Устал жутко.

## 22

Когда я вернулся, она уже убрала подушку с головы – что и следовало ожидать – и лежала на спине, но на меня смотреть не желала. Я обошел кровать и сел рядом, она раздраженно отвернула лицо в другую сторону. Она меня бойкотировала на фиг. Как фехтовальная команда из Пэнси, когда я забыл в метро их чертовы рапиры.

– А как дела с Хэйзел Уэзерфилд? – спрашиваю. – Ты написала новые рассказы про нее? Тот, что ты мне прислала, у меня в чемодане, в камере хранения. Хороший рассказ.

– Папа убьет тебя.

Блин, если уж она заберет себе в голову, то не вышибешь.

– Не убьет. Самое худшее, наорет на меня и отошлет учиться в это идиотское военное училище. И все дела. Но, во-первых, я не собираюсь тут оставаться. Я буду далеко. Буду... буду, наверно, в Колорадо, на ранчо.

– Не смеши меня. Ты даже на лошади не умеешь ездить.

– Кто? Я? Умею. Еще как! А нет – там научат за две минуты, – говорю. – Перестань это трогать! – Она ковыряла пластырь на руке. – Кто это тебя так обкорнал?

Я только сейчас заметил, что ее по-дурацки остригли. Слишком коротко.

– Не твое дело, – говорит она. Иногда она бывает очень грубой. Прямо злоюкой. – Наверное, опять провалился по всем предметам, – говорит она презрительно. Прямо смешно, честное слово. Будто какая-нибудь училка, а совсем ведь ребенок.

– Нет, – говорю. – Не по всем. Английский сдал.

И тут взял и ущипнул ее за попку. Она торчала из-под одеяла. То есть какая там попка – одно только название. Я так – легонько, но она хотела дать мне по руке, да промахнулась.

Потом вдруг говорит:

– Ну почему ты опять?

Она имела в виду, что я опять вылетел из школы. Но она так это сказала, что мне стало очень грустно.

– О Боже! Фиби, ну хоть ты бы не спрашивала. Эти вопросы у меня уже в печенке сидят, – говорю. – Есть миллион причин. Это самая плохая школа из тех, что я знаю. Самая показушная. Полно подлых душ. В жизни не встречал столько подлецов. Сидишь, например, треплешься в какой-нибудь компании, а тут еще один хочет войти – его никто не впустит, если он малость не того, или, например, с прыщами. Перед носом дверь захлопнут. Посторонним вход воспрещен. Прямо какое-то на фиг тайное общество, в которое я тоже входил из малодушия. Был у нас там один прыщавый и нудный чувак, Роберт Экли, тоже хотел быть со всеми. Но от него сторонились. Только потому, что он прыщавый и нудный. Даже вспоминать противно. Вонючая школа. Поверь мне!

Старушечка Фиби ничего не сказала, но слушала внимательно. Я по затылку видел, что она слушает. Она всегда слушает, когда ей что-то рассказывают. И самое интересное, что все сечет. Абсолютно.

И я опять стал рассказывать про Пэнси. Хотелось выложить все, как есть.

– Было там пару приличных учителей, – говорю, – но и они с такими же понтами. Взять хотя бы этого старика, мистера Спенсера. Его жена всегда угостит тебя горячим шоколадом и т. д. и т. п. – в общем, приличные люди. Но надо было видеть его, когда приходил к нему на урок истории директор, мистер Термер, и садился на заднюю парту. Он любил прийти, сесть сзади и посидеть с полчаса. Как бы посторонний или типа того. Помолчит-помолчит, а потом начинает перебивать старика Спенсера своими дешевыми хохмочками. А старина Спенсер униженно улыбается, хихикает и все такое, будто этот Термер прямо какой-нибудь наследный принц или черт знает кто.

– Что ты все время ругаешься?

– Тебя бы там стошнило, клянусь, стошнило бы! – говорю. – Или взять этот День Выпускников. Есть там у них такой день – День Выпускников. Вся эти уроды, что окончили Пэнси чуть ли не с 1776 года, приезжают вместе с женами, детьми и еще не знаю с кем и слоняются повсюду. Заходит раз такой чувак, которому лет полста, к нам в комнату – постучал, конечно, – можно, говорит, к вам в туалет? А туалет у нас в конце коридора, на фига он спрашивает у нас – непонятно. И знаешь, что он говорит? Что хочет взглянуть: остались ли его инициалы на дверях туалета. Ему, видите ли, приспичило проверить свои несчастные, дурацкие инициалы в уборной, которые он нацарапал лет девяносто тому назад, – остались они или нет? Пришлось мне с товарищем сопровождать его в туалет и торчать там, пока он искал на всех дверях свои инициалы. И всю дорогу при этом заправлял нам, что дни, проведенные в Пэнси, были самыми счастливыми днями в его жизни и давал нам всякие наставления на будущее и т. д. и т. п. Блин, как меня это бесило! Может, он и неплохой чувак – вполне может быть. Но и *хороший* может надоесть всем. Особенно,

если начинает давать полезные советы, а сам в это время ищет напротив унитаза свои инициалы. Этого достаточно. Но ладно, все бы ничего, если бы он не так пыхтел. Он пыхтел еще, когда взбирался по лестнице, и все пыхтел и отдувался, пока искал свои инициалы. И смех, и грех. И все твердил нам со Стрэдлэйтером, чтобы мы старались взять от школы все полезное. Господи, Фиби! Как тебе объяснить? Все, что ни делалось в Пэнси, мне было не в жилу. Мне трудно объяснить!

Фиби что-то сказала, но я не расслышал. Она лежала лицом в подушку, и мне не было слышно.

– Что? – переспрашиваю. – Ты можешь говорить сюда? Уткнулась в подушку и что-то бубнит.

– Тебе всегда все не нравится!

Я совсем расстроился от этих ее слов.

– Почему же. Мне многое нравится. И даже очень. Это ты зря. Зачем ты такое говоришь?

– Потому что все тебе не нравится. Ни одна школа не нравится тебе. Тебе не нравится миллион вещей. Вот и все.

– Нравится! Это неправда – ты совсем не права! Какого черта ты мне это говоришь?

Бог мой! Она совсем меня расстроила.

– Нет, не нравится! – говорит она. – Ну назови хоть одну вещь.

– Одну? Которая мне нравится? – говорю. – Хорошо.

Но беда в том, что я никак не мог сосредоточиться. Иногда очень трудно бывает сосредоточиться.

– Хоть одну вещь, что мне нравится – говоришь?

Она молчала. Даже отодвинулась на самый край кровати, на тысячу миль от меня и глядела искоса.

– Ты имеешь в виду, что я люблю или что мне просто нравится?

– Что ты любишь.

– Хорошо, – говорю. Но, черт его знает, никак я не мог собраться. Вспомнил вдруг почему-то двух монахинь, которые собирают денежки в потрепанные соломенные корзины. Особенно ту, что в железных очках. Потом одного паренька, с которым учился в Элктон-хиллс. Был там, в

Элктон-хиллс, такой Джеймс Кэсл, который не хотел брать назад свои слова про одного наглого типа, Фила Стэйбила. Джеймс Кэсл так и назвал его наглым типом, и один из дружков этого Стэйбила пошел и настучал ему об этом. И вот этот Стэйбил еще с шестью хмырями пришли к Джеймсу Кэслу в комнату, заперли на фиг засов и потребовали, чтобы он взял свои слова обратно, но Джеймс отказался. Тогда они взялись за него. Не хочу говорить, что они ему сотворили – очень пакостную вещь! – но он *ни за что* не хотел брать свои слова обратно, старина Джеймс Кэсл. Вы бы его видели – маленький, худой, кожа да кости, ручки тонкие, как карандаши. И знаете, что он в конце концов сделал? Он бросился из окна. Я был как раз под душем и все такое, но даже оттуда услышал, как он шмякнулся. Я подумал, из окна что-то выпало – приемник или тумбочка, какой-то предмет, но только не *человек*. Потом слышу: все несутся по коридору и вниз по лестнице. Я накинул халат и тоже бросился вниз, а там внизу на каменных ступеньках лежал Джеймс Кэсл. Он был уже мертвый, вокруг кровяща, зубы, все боялись даже подойти к нему. На нем был вязаный свитер, что я ему дал поносить. Тех хмырей, что были у него в комнате, всего-навсего из школы исключили. Даже в тюрьму не посадили.

Вот и все, что я смог вспомнить: тех двух монахинь, с которыми я завтракал, и этого паренька Джеймса Кэсла, с которого знал по Элктон-хиллс. Сказать по правде, я даже не очень хорошо знал его. Очень тихий такой чувачок. Мы были с ним в одной математической группе, но он сидел далеко от меня и очень редко отвечал с места и почти не выходил к доске. Есть такие, что редко отвечают на уроке или выходят к доске. Только разок с ним разговаривал, когда он спросил: могу ли я одолжить ему этот свитер. Я чуть не упал от неожиданности, когда он обратился ко мне. Помню, я как раз чистил зубы в умывалке. Он сказал, что приезжает его кузен и возьмет его покататься. Я даже удивился, откуда он знает, что у меня *есть* этот свитер. Я знал о нем только то, что он по списку шел передо мной. Кейбл Р., Кейбл У., Кэсл, Колфилд – так и застряло в голове.

Если честно, мне не очень хотелось давать ему свитер. Я же его совсем плохо знал.

– Что? – спросил я старушечку Фиби. Оказывается, она в это время что-то говорила, но я не слышал.

– Ничего не можешь придумать.

– Почему не могу? Могу.

– Тогда скажи.

– Я люблю Алли, – говорю. – И мне нравится делать то, что я сейчас делаю. Сидеть с тобой, разговаривать о том, о сем, а еще...

– Алли умер – ты сам всегда говоришь! А если кто-нибудь умирает и попадает на небеса, значит, его нету, значит...

– Знаю, что умер! Что ж я по-твоему не знаю? Но это не значит, что его нельзя любить? Да Боже мой, по-твоему если человек умер, его нельзя любить? Тем более что он в тысячу раз лучше всех, которые живут.

Старушечка Фиби ничего на это не сказала. Когда ей нечем крыть, она ни слова не скажет.

– Мне и сейчас все тут нравится, – говорю. – Вот то, что мы сидим с тобой и болтаем обо всем...

– Но это все не то!

– Это – то! Самое настоящее то! Какого черта «не то»? Люди всегда думают про все, что это не то. Как мне это осточертело!

– Прекрати ругаться. Хорошо, назови еще что-нибудь. Скажи, кем бы тебе хотелось стать. Ученым, там. Или адвокатом, или еще кем?

– Какой из меня ученый. Я учиться не люблю.

– А адвокатом? Как папа?

– Адвокатом, конечно бы неплохо, но тоже как-то не по мне, – говорю. – Не знаю. Хорошо, конечно, когда они спасают какого-нибудь невинного. Но в том-то и фокус, что у них забота другая. Делать деньги, играть в гольф, играть в бридж, покупать машины, пить мартини и стараться выглядеть круто – вот, что их заботит. И вообще. Даже если они когда что и делают, чтоб спасти жизнь невинному, то еще не известно – ради того, чтобы, действительно спасти ему жизнь, или чтоб показать себя великим адвокатом,

чтобы все тебя на руках носили, поздравляли в суде после процесса, всякие репортеры, пятое-десятое, как в этих гнусных фильмах? Вот и пойми – для показухи все это или нет? Попробуй, разберись!

Я не был уверен, понимает ли старушенция Фиби, что я несу. Все-таки она еще дитя и все такое. Но она слушала внимательно. А когда тебя слушают, это уже неплохо.

– Папа тебя убьет. Он точно тебя убьет, – сказала она.

Но я ее не слушал. Мне вдруг пришло в голову другое.

– Знаешь, кем бы я хотел быть? – говорю. – Знаешь, кем? Если бы, конечно, от меня зависело, черт возьми?

– Кем? И прекрати ругаться.

– Ты знаешь эту песенку – «Если ты ловил кого-то вечером во ржи»? Я хотел бы...

– Не так! «Если кто-то ждал кого-то вечером во ржи», – говорит старушка Фиби. – Это стихотворение Роберта Бернса.

– Без тебя знаю, что Роберта Бернса, – говорю.

Она была права. «Если кто-то ждал кого-то вечером во ржи». Надо же, а я до этих пор не знал.

– А я думал – «Если ты ловил кого-то», – говорю. – Короче, я представляю себе, как маленькие дети играют среди большого поля ржи и все такое. Тысячи маленьких ребятишек, и никого вокруг, я имею в виду, никого из взрослых – один я. И стою я на самом краю крутого обрыва. И вот что я делаю – я ловлю каждого кто вот-вот свалится в обрыв. Они же играют и не видят, куда бегут, а тут я откуда ни возьмись – и ловлю их. Я готов делать это каждый день. То есть быть спасателем во ржи, типа того. Знаю, что это глупо, но это единственное дело, которое мне хочется делать. Я знаю, что это глупо.

Старушка Фиби долго молчала. Потом единственное, что она сказала:

– Папа тебя убьет.

– И пусть. Мне плевать, – говорю. Я встал с кровати, потому что решил звякнуть одному человеку, который был

моим учителем английского языка в Элктон-хиллс, мистеру Антолини. Он теперь жил в Нью-Йорке. Он завязал с Элктон-хиллсом. Он получил работу в Нью-Йоркском университете, преподает английский. – Мне надо позвонить, – сказал я Фиби. – Я мигом вернусь. Смотри – не усни.

Мне не хотелось, чтобы она уснула, пока я буду в гостинной. Я и так знал, что она не заснет, но сказал на всякий случай. Когда я шел к двери, старушка Фиби позвала меня: «Холден!», и я обернулся.

Она сидела в постели. Свеженькая, как огурчик.

– Одна девочка, Филлис Маргулис, научила меня делать отрыжку, – говорит она. – Послушай.

Я послушал, но ничего особенного не разобрал.

– Здорово! – говорю.

И пошел в гостиную звонить моему бывшему учителю мистеру Антолини.

## 23

Я позвонил по-быстрому – боялся, что предки завалятся посреди разговора. Но обошлось. Мистер Антолини был очень приветлив. Сказал, что я могу прийти хоть сейчас. Наверное, я разбудил его и жену, потому что черт знает как долго никто не брал трубку. Он сразу же спросил, не случилось ли чего со мной, я сказал, что – нет. Но все-таки сказал, что меня поперли из Пэнси. Не знаю, просто не мог не сказать. А он мне на это: «В добрый час!» Он всегда с юмором и все такое. Хочешь, говорит, приходи прямо сейчас.

Он самый лучший из учителей, которые у меня были, мистер Антолини. Он – довольно молодой чувак, не намного старше моего брата Д.Б., с ним всегда можно было пошутить, но он все равно не терял свой авторитет. Он первый тогда бросился к тому пареньку, что выпрыгнул из окна, Джеймсу Кэслу, я уже рассказывал. Старина Антолини стал шупать у него пульс и так далее, а потом снял с себя куртку, накрыл Джеймса Кэсла и понес его на руках в лазарет. И ему было наплевать, что его куртка вся измазалась в крови.

Когда я вернулся в комнату Д.Б., у Фиби уже был включен приемник. Передавали танцевальную музыку. Она

убавила громкость, чтоб не разбудить горничную. Это надо было видеть. Сидит посреди кровати, поверх одеяла, ноги сложила, как у йогов, и слушает музыку. Помереть можно!

– А давай-ка – говорю, – потанцуем.

Это я научил ее танцевать, когда она еще была крохой. Танцует она неслабо. Я ей показал всего пару движений. Дальше она выучилась сама. Научить танцевать по-настоящему нельзя, если сам не научишься.

– Ты же в ботинках.

– А я сниму. Давай.

Она прямо выпрыгнула из постели и стала ждать, пока я разуюсь. Мы с ней стали танцевать. Бог мой, она танцевала – высокий класс. Вообще-то я не люблю, когда танцуют с маленькими детьми, это почти всегда выглядит ужасно. Например, когда видишь в ресторане, как папаша танцует со своей дочуркой. У нее сзади как-то задирается платьице, да и танцует она всегда плохо и выглядит все по-идиотски, – я бы и с Фиби никогда не стал бы танцевать на людях. Могу только подурочиться с ней дома. И потом, с ней – совсем другое дело: она *танцует*. Ее приятно вести. Если ее плотненько прижать, то не имеет даже значения, что у тебя ноги длинные. Она все делает вместе с тобой. Любой переход или еще какой-нибудь фортель, даже небольшой джиттербаг – она все за тобой повторяет. С ней можно даже танго, клянусь!

Мы станцевали четыре танца. А между танцами от нее можно было помереть. Стоит в той же позе и ждет. Даже не разговаривает, не шелохнется. Стоим оба и ждем, пока оркестр не заиграет снова. От нее помрешь! И попробуй, засмейся – ни-ни.

Короче, станцевали мы танца четыре, и я выключил приемник. Старушка Фиби снова прыг в постель и под одеяло.

– Ну как? Я лучше танцую? – говорит.

– Еще спрашиваешь! – говорю. Я сел рядом на кровать. Малость запыхался. Слишком много курю, дышалка неважная. А ей хоть бы хны!

– Потрогай мой лоб? – вдруг говорит она.

– А в чем дело?

– Ну, потрогай, потрогай.

Я потрогал. Но ничего такого не ощутил.

– Горячий?

– Да нет, вроде бы. А что с тобой?

– Ничего. Я просто нагоняю температуру. Попробуй еще.

Я снова попробовал, и опять ничего такого, но я сказал:

– Кажется начинается.

Не хотелось, чтоб у нее был комплекс неполноценности.

Она кивнула головой.

– Я могу даже, чтоб и *термоментор* показал больше.

– Тер-мо-метр. А кто тебя научил?

– Алиса Холмборг показала как. Надо скрестить ноги, удерживать дыхание и представить себе что-то очень-очень горячее. Батареею, например. И лоб станет таким горячим, что можно даже руку обжечь.

От нее сдохнуть можно! Я отдернул руку от ее лба, как бы испугавшись.

– Хорошо, что предупредила, – говорю.

– Что ты! Я бы не дала обжечь твою руку. Я бы остановилась до того, как она начала бы... Тс-с!

Она вдруг вскочила на кровати. Я, блин, сильно струхнул.

– В чем дело? – спрашиваю.

– Входная дверь! – говорит она громким шепотом. – Это они!

Я вскочил, метнулся к столу и вырубил лампу. Погасил сигарету о подошву и сунул бычок в карман. Помахал рукой, чтобы разогнать дым, – черт меня дернул курить тут? Потом схватил ботинки, залез в стенной шкаф и прикрыл дверь. Мой бог, сердце у меня колотилось бешено. Я слышал, как мама вошла в комнату.

– Фиби! – сказала она. – Не притворяйся, я видела у тебя свет, мадмуазель.

– Хэлло! – слышу Фибин голос. – А я не сплю. Как вы провели время?

– Чудесно! – отвечает мама, но это не значит, что это так. Она не очень любит ездить по гостям. – Скажи, пожалуйста, почему ты не спишь, а? Тебе не холодно?

– Не холодно. Просто не спится.

– Фиби, ты случайно не курила здесь? Говори правду, мадмуазель.

– Что? – говорит старушка Фиби.

– Ты слышала, что я говорю.

– Я просто попробовала разок. Одну затяжку. Потом выбросила в окно.

– С каких это пор?

– Не могла уснуть.

– Мне это не нравится, Фиби. Это мне совсем не нравится, – говорит мама. – Дать тебе еще одно одеяло?

– Не надо, спасибо. Спокойной ночи, – говорит старушечка Фиби. Видно было, как она старается от нее избавиться.

– Ну как тебе фильм? – спрашивает мама.

– Прекрасный. Если не считать Алисиной мамы. Все время наклонялась передо мной и спрашивала Алису: «Тебя не знобит?» Домой мы приехали на такси.

– Дай-ка потрогать твой лоб.

– Нет, я не заразилась. Ничего у нее не было. Просто у нее мама такая.

– Хорошо. Спи. А как обед?

– Гадость! – говорит Фиби.

– Сколько раз тебе папа говорил, не употреблять это слово. Что значит гадость? Прекрасная баранья котлета. Я обошла все магазины на Лексингтон-авеню, чтобы...

– Нет, котлета была хорошая, но Чарлина всегда *дышит* на меня, когда подает к столу. Она дышит на всю еду, и на все. На все она *дышит*.

– Ладно. Спи. Поцелуй маму. Ты прочла молитву?

– Я прочла ее в ванной. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи. Немедленно засыпай. У меня дико болит голова, – говорит мама. У нее почти всегда болит голова. И это правда.

– Прими аспирин, – говорит старушка Фиби. – Холден приедет в среду?

– Насколько я знаю – да. Укройся получше. Вот так.

Я слышал, как мама вышла и закрыла дверь. Я переждал несколько минут. Потом выбрался из шкафа. И тут же наткнулся на старуху Фиби в темноте: оказывается она встала с кровати и пошла мне доложить.

– Я тебя не ушиб? – говорю. Приходилось шептаться: мои уже были дома. – Пора уматывать, – говорю. Я нашарил край кровати, сел и стал натягивать ботинки. У меня был мандраж. Не буду врать.

– Не уходи еще, – зашептала Фиби. – Подожди, пока они уснут.

– Нет, надо идти. Сейчас самое время. Она сейчас пойдет в ванную, а папа включит новости и все такое. Так что, самое время. – Я никак не мог управиться со шнурами. Меня прямо бил мандраж. И не потому, что они убьют меня и все такое, если застукают дома. Просто поднялся бы большой шум. – Где ты там? – говорю Фиби. Так темно, что я ее не вижу.

– Вот я.

Она стояла рядом со мной. Но мне не было видно.

– У меня чемоданы на станции, – говорю ей. – Послушай. У тебя какие-нибудь денежки есть? Я абсолютно на нуле.

– Есть, которые для Рождества. Для подарков. Я еще ничего не покупала.

– О, нет! – Я не хотел брать у нее этих денег.

– Тебе дать немного? – говорит она.

– Я не хочу брать у тебя подарочных денег.

– Я тебе немного могу одолжить, – говорит она. Потом слышу – полезла в стол Д.Б., стала выдвигать миллион ящичков и шарить там рукой. Темнота в комнате, хоть глаз выколи. – Если ты уедешь, как же ты увидишь меня на сцене? – говорит она растерянно.

– Не бойся. Я до этого не уеду. Неужели ты думаешь, что я могу не пойти? – говорю. – Побуду, наверно, у мистера Антолини до вторника, до вечера. Потом вернусь домой. А будет возможность – позвоню тебе.

– Вот они, – говорит старушечка Фиби. Она старается мне дать в руку деньги, но никак не попадет.

– Где ты?

Наконец наткнулась на мою руку и сунула деньги.

– Эй, зачем мне столько? – говорю. – Два-три бакса – и хватит. Нет, серьезно. Возьми обратно.

Я пытаюсь вернуть ей, но она не берет.

– Бери все. Потом отдашь. Принесешь на спектакль.

– Господи, сколько же здесь?

– Восемь долларов, восемьдесят пять центов. Нет, шестьдесят пять центов. Я немного истратила.

И тут я вдруг заплакал. И никак не мог удержаться. Я, конечно, старался, чтобы никто не услышал, но я плакал. Фиби на фиг перепугалась, что я разревелся, подошла ко мне и стала успокаивать, но когда тебя разберет, черта с два сразу перестанешь. Я сидел на краю кровати и ревел, а она обхватила мою шею своими ручками, а я обнял ее, и никак не мог остановиться. Прямо захлебывался от слез, типа того. Бог мой, как я ее напугал, мою старушеньку Фиби. Вдобавок окно было открыто, – я чувствовал, как она вся дрожит в одной своей пижамке. Я пытался уложить ее в постель, но она не давалась. Наконец я перестал плакать. Но еще очень долго не мог успокоиться. Потом застегнул куртку на все пуговицы и сказал, что позвоню ей. Она сказала, что я вполне мог бы ночевать здесь у нее, но я сказал – нет, меня мистер Антолини ожидает и все такое. Я достал из кармана свою охотничью шапку и отдал ей. Она любит всякие потешные шапки. Она не хотела брать, но я заставил. Могу спорить, что она спала в ней. Она очень любит такие шапки. Потом я снова сказал ей, что позвоню, если будет возможность, и ушел.

Черт его знает, но выйти из дому было почему-то гораздо легче, чем войти. Во-первых, мне было чихать, поймают меня или нет. Нет, серьезно. Поймают – так поймают. Честно говоря, даже хотелось, чтоб поймали.

Я сошел до самого низа пешком, лифт не вызывал. Пошел с черного хода. И чуть на фиг шею себе не сломал – там этих мусорных бачков наверно миллионов десять – но обошлось. Лифтер так меня и не видел. Наверно до сих пор думает, что я все еще там, у Дикстайнов.

24

Мистер и миссис Антолини снимали шикарную квартиру на Саттон-плейс, две ступеньки вниз – и ты в гостиной с баром и прочее. Я бывал у них несколько раз, и мистер Антолини иногда у нас обедал, потому что после моего ухода из Элктон-хиллс интересовался, как мои дела. Он тогда был холостым. А когда женился, мы с ним и с миссис Антолини ходили играть в теннис в Вест-Сайдский теннисный клуб, который в Форест-хиллс, на Лонг-Айленде. Миссис Антолини состояла в клубе. Денег она не считала. Она была старше мистера Антолини лет на сто пятьдесят, но рядом они смотрелись неплохо. Во-первых, оба очень образованные, особенно мистер Антолини, правда, он не любит показывать свою образованность и все шутит, вроде нашего Д.Б. Миссис Антолини, та более серьезная. И со здоровьем у нее похуже – астма. Они оба читали все рассказы Д.Б., и когда Д.Б. решил двигаться в Голливуд, мистер Антолини звонил ему и отговаривал от этого. Но он все равно уехал. Хотя и мистер Антолини говорил, что таким писателям, как Д.Б., не стоит иметь дела с Голливудом. В общем, то же, что и я ему говорил.

Я решил пойти к ним пешком, не хотелось тратить ни доллара из Фибиных подарочных денежек, но когда вышел из дому, почувствовал себя неладно. Что-то голова кружилась. И я взял такси. Не хотелось, но пришлось. Причем еле нашел машину.

Когда лифтер, скотина, изволил наконец поднять меня на этаж и я позвонил, дверь мне открыл мистер Антолини. Он был в халате и шлепанцах, с бокалом в руке. Он хоть и ученый мальчик, но выпить не дурак.

– Холден, мой мальчик! – говорит. – Бог ты мой, он опять вырос на полметра. Рад тебя видеть!

– Как поживаете, мистер Антолини? Как миссис Антолини?

– Мы в полном порядке. Давай-ка свою куртку. – Он снял с меня куртку и повесил ее. – А я думаю, что там у него стряслось? Думал, ты явишься с младенцем на руках. Ну, раз пришел – будешь гостем. Снежинки тают на ресницах. – Он

всегда шутит. Он обернулся и крикнул в сторону кухни: – Лилиан! Как там наш кофе?

Лилиан – это имя миссис Антолини.

– Кофе готов, – кричит она в ответ. – Это Холден? Привет, Холден!

– Привет, миссис Антолини!

Вечно у них вот так надо перекрикиваться. Потому что никогда они не бывают вместе в одной комнате. Интересный факт.

– Садись, Холден, – говорит мистер Антолини. Похоже, он был малость на взводе. Комната выглядела как после пирушки. Повсюду стаканы, блюда с орешками. – Извини за беспорядок, – говорит он. – Принимали друзей миссис Антолини из Буффало... *Набуффались* с ними прилично.

Я рассмеялся, а миссис Антолини что-то крикнула мне из кухни, но я не расслышал.

– Что она сказала? – спрашиваю у мистера Антолини.

– Она просит, чтоб ты на нее не смотрел, когда она войдет. Она прямо с койки. Возьми сигарету. Ты не бросил курить?

– Спасибо, – говорю. Я взял сигарету из пачки, которую он протянул. – Так, иногда балуюсь. Очень умеренно.

– Надеюсь, что так, – сказал он и поджег мне сигарету большой настольной зажигалкой. – Итак. Ты и Пэнси не сошлись характерами, – говорит он. Он любит выражаться таким манером. Иногда это смешно, а иногда не очень. Он часто малость переживает. Я не могу сказать, что он неостроумный – как раз наоборот, – но иногда раздражает, если человек только так и выражается, ну, типа «ты и Пэнси не сошлись характерами». Д.Б. тоже, между прочим, переживает с этим.

– Так что там случилось? – спрашивает мистер Антолини. – Как у тебя с английским? Я бы тут же тебя выставил за дверь, если бы ты провалился по английскому. Ведь ты же у нас по сочинениям был ас.

– Что вы! Английский я сдал хорошо. Правда, мы больше занимались литературой. За всю четверть только пару раз писали сочинения, – говорю. – Провалился я на устной речи. У нас был такой курс – устная речь. Я на ней и провалился.

– Почему?

– Откуда мне знать.

Неохота было застревать на этом. Я все еще чувствовал какое-то головокружение, типа того, да и голова вдруг заболела. Жутко, причем. Но я видел, что ему очень хотелось все узнать, и мне пришлось кое-что рассказать.

– На этих занятиях каждый должен встать и произнести речь. Экспромтом. И если кто-то там отклоняется от темы и все такое, все должны тут же крикнуть: «Не по делу!» Меня это страшно бесило. И мне вlepили кол.

– Почему?

– Откуда мне знать! Это «не по делу» действовало мне на нервы. Не знаю. Дело в том, что мне как раз нравится, когда отклоняются. Это куда интереснее, и все такое.

– Разве для тебя не важно, если человек говорит только по делу?

– Важно, конечно, когда по делу и т. д. и т. п. Но мне не нравится, когда *слишком* по делу. Не знаю. Мне не нравится, если всегда твердят *только* по делу. Которые у нас были отличниками по устной речи, всегда говорили все правильно, только по делу, это – так. Но был у нас такой Ричард Кинселла. Он иногда слегка отклонялся от темы, и все ему кричали: «Не по делу!» Это было противно, во-первых, потому что он был очень нервный – даже чересчур нервный – у него губы всегда дрожали, когда он говорил свою речь, и его не было слышно на другом конце класса. Но когда у него губы не так дрожали, мне его речи нравились больше других. Короче, он тоже завалил этот предмет. Ему поставили двойку из-за того, что все ему всегда кричали «не по делу!» Он, например, подготовил речь про ферму, которую купил его отец в Вермонте. И все время его перебивали криками «не по делу!», а учитель

мистер Винсон вклеил ему единицу, потому что он не сказал, какой скот разводит отец на ферме и что выращивает. А этот Ричард Кинселла излагал так: вроде начинает про ферму, а потом ни с того ни с сего заводит про письмо, что мать получила от его дяди, и как дядя на сорок втором году жизни заболел полиомиелитом и все такое, и велел, чтоб никто не ходил к нему в больницу – не хотел выглядеть калекой. Это, конечно, к ферме слабо относилось – никто не спорит, но это было интересно. Интересно, когда кто-нибудь рассказывает про своего дядю. Вот именно, когда начинают рассказывать про отцовскую ферму и вдруг переходят на дядю. И это большое жлобство орать ему «не по делу!», как раз когда человеку стало интересно рассказывать, а всем слушать... Не знаю. Мне трудно объяснить.

Да и объяснять не очень хотелось. Во-первых, эта жуткая вдруг головная боль. Я уже молил Бога, чтобы миссис Антолини принесла кофе. Это всегда мне все кишки выматывает, то есть когда говорят, что кофе готов, а его все нет.

– Холден... Один к тебе короткий, слегка занудный, педагогический вопрос: не кажется ли тебе, что всему свое время и место? Не кажется ли тебе, что если человек начинает рассказывать об отцовской ферме, то он не должен ходить вокруг да около, растекаться о каком-то дяде с костылями. А если дядины костыли – столь важная для него тема, то он и должен выбрать ее в качестве основной, а не ферму?

Ни думать, ни отвечать мне не хотелось. Жутко болела башка, и чувствовал я себя вшивенько. Да и живот что-то стал болеть вдобавок.

– Да. Не знаю. Но может быть. Наверно, ему надо было взять дядю основной темой, а не ферму, если ему про дядю интересней. Но мне кажется, когда ты начинаешь о чем-то говорить, то часто и сам *не знаешь*, что тебе больше всего покажется интересным. И от тебя это не всегда зависит. И по-моему надо дать человеку высказаться, раз он так увлекся. Мне нравится, когда кто-нибудь чем-то увлечен. Это здорово. Знали бы вы этого учителя, мистера Винсона... Он вас тоже довел бы до белого каления. И он, и

весь этот класс. Только и твердит одно, что надо все обобщать и упрощать. Но не все же к этому сводится. То есть не все же можно обобщить и упростить по чьей-то прихоти. Ох, если бы вы знали этого учителя, мистера Винсона! Вроде бы на вид образованный человек, но мозгов у него малость не хватало.

– А вот и кофе, джентльмены! – сказала миссис Антолини. Она внесла поднос с кофе, кексом и прочим. – Холден! Не смотри на меня. Я в безобразном виде.

– Хэлло, миссис Антолини! – говорю. Я хотел вскочить на ноги, но мистер Антолини придержал меня за полу пиджака. Волосы миссис Антолини сплошь были в этих железных штучках для завивки, губы не покрашены и прочее. Она выглядела, скажем так, не фонтан. Старая какая-то и все такое.

– Я все тут вам поставила. Угощайтесь без меня, – говорит она. Поставила поднос на сигаретный столик, сдвинула стаканы. – Как поживает мама, Холден?

– Спасибо, хорошо. Я давно ее не видел, но в последний раз...

– Дорогой, все, что Холдену понадобится, лежит в бельевом шкафу. На верхней полке. Я пошла спать. Совсем без сил, – сказала миссис Антолини, и по ней это было видно. – Надеюсь, мальчики, вы сумеете сами постелить.

– Все сделаем. Иди ложись, – говорит мистер Антолини. Он поцеловал миссис Антолини, она простилась со мной и ушла в спальню. Они всегда на людях целуются.

Я попил кофе и съел полкекса, твердого, как камень. Мистер Антолини снова осушил бокал. По-моему он почти не развлекал. Вполне может стать алкоголиком, если не завяжет с этим.

– У нас был завтрак с твоим отцом недели две назад, – вдруг говорит он. – Ты знаешь об этом?

– Не знаю.

– Но, как он озабочен твоей судьбой, ты, я надеюсь, знаешь?

– Это я знаю. Озабочен, – говорю.

– Он, вероятно, получил письмо от твоего бывшего директора школы, что ты абсолютно не прилагаешь

стараний к занятиям и позвонил мне. Пропускаешь занятия, не готовишь уроков и вообще не желаешь...

– Я не пропускал занятий. Нам запрещалось пропускать занятия. Ну пару раз пропустил эту самую устную речь, о которой я вам говорил, остальные никогда не пропускал.

До чего не хотелось обсуждать мои дела! Кофе немного успокоил боль в животе, но голова продолжала жутко болеть.

Мистер Антолини закурил снова. Курильщик он заядлый. Потом говорит:

– Честно говоря, даже не знаю, что тебе сказать, Холден.

– Да, я знаю. Со мной трудно. Я понимаю.

– Мне кажется, что ты скользишь вниз по наклонной к полному падению. Но я, честное слово, не знаю как... Да ты меня слушаешь?

– Да.

Видно было, что он старается собраться с мыслями и все такое.

– Боюсь, что к годам тридцати ты будешь всегда торчать в каком-нибудь баре и ненавидеть каждого, кто покажется тебе бывшим игроком в футбол. Станешь шибко грамотным и будешь ненавидеть людей, которые выражаются так: «Между мной и тобой говоря». Или осядешь в каком-нибудь офисе и будешь кидаться скрепками в секретаршу. Сам не знаю. Но ты понимаешь, о чем я?

– Да, конечно, – говорю. Я его отлично понимал. – Но вы ошибаетесь, на счет моей ненависти. То есть, что я буду ненавидеть футболистов и т. д. и т. п. Тут вы не правы. Я редко кого ненавижу. Я просто могу иногда вдруг возненавидеть ну, хотя бы, этого Стрэдлэйтера, с которым учился в Пэнси, или там Роберта Экли. Бывает. Но это – так, временно, ненадолго. Понимете? А как пару дней их не видишь – ну, если они не заходят к тебе – или пару раз не встретишь их в столовой в обед, как-то без них даже скучаешь. Не знаю, прямо скучаю по ним.

Мистер Антолини некоторое время молчал. Он встал, положил себе кусочек льда в виски и сел снова. Видно было, что он о чем-то думает. Лучше бы продолжили разговор утром, а не сейчас, но он уже завелся. Вечно люди заводятся, как раз когда у тебя нет никакого желания продолжать.

– Хорошо. Теперь послушай меня внимательно... Может, я сейчас не смогу найти самых нужных слов, но я через день-другой напишу тебе письмо. Тогда ты поймешь все. А пока выслушай меня. – Он снова стал собираться с мыслями. Потом говорит: – Наклонная, по которой ты катишься, это ужасная вещь. Тот, кто скатывается по ней, никогда не чувствует и не понимает, как низко он падает. Просто катится и катится. Такое бывает с теми, кто в какой-то период своей жизни стал искать то, чего не может дать им привычная среда. Точнее, они сочли, что в привычной их среде не может быть того, что им надо. Поэтому они перестали искать. Перестали искать, даже и не сделав к тому попытки. Ты слушаешь?

– Да, сэр.

– Точно?

– Да.

Он встал и плеснул себе еще. Снова сел. Потом долго молчал. Очень долго.

– Не хочу тебя страшить, – заговорил он наконец, – но я прекрасно вижу, как ты погибаешь, может даже и благородно, из-за сущих пустяков. – Он взглянул на меня как-то странно. – Я сейчас напишу тебе кое-что. Пообещай, что прочтешь это со вниманием. И усвоишь.

– Да. Конечно, – отвечаю ему на полном серьезе. У меня уже была одна его записка.

Он подошел к письменному столу, что стоял в другом углу комнаты, и не присаживаясь что-то набросал на клочке бумаги. Потом вернулся и сел с этой бумажкой в руке.

– Как ни странно, это написал не профессиональный поэт. Это написал психоаналитик Вильгельм Стекель. Вот, что он... Ты слушаешь?

– Да-да, конечно.

– Вот что он написал: «Признак незрелого человека – если он хочет благородно погибнуть ради дела, признак же зрелого человека – когда он хочет несмотря ни на что жить ради дела».

Он протянул мне эту бумажку. Я снова перечел это, потом поблагодарил и положил в карман. Меня тронуло, что он так обо мне заботился. Честное слово! Но беда в том, что я был какой-то не собранный. Блин, такая усталость навалилась, просто кранты.

А он вроде бы ничуть не устал. Наоборот, был на приличном взводе.

– Думаю, что в один прекрасный день, – говорит он, – тебе придется выбирать, куда идти дальше. И тебе надо будет сразу идти туда, куда решил. Немедленно. И тут нельзя терять ни минуты. Особенно тебе.

Я кивнул, потому что он в упор смотрел на меня и все такое, но я не очень понимал, о чем он. Нет, я старался, но как-то не очень догонял. Устал страшно.

– Извини, что повторяюсь, – говорит он, – но я думаю, что в первую очередь, когда ты поймешь, куда тебе идти, тебе надо будет серьезно отнестись к школе. Надо. Учеба прежде всего, нравится тебе это или нет. У тебя есть тяга к знаниям. И когда ты превозможешь всех этих мистеров Винесов с их «устными композициями»...

– Винсонов, – сказал я. Он имел в виду всех этих мистеров Винсонов, а не мистеров Винесов. Но все же перебивать не стоило.

– Хорошо, мистеров Винсонов. И вот когда ты перетерпишь всех этих мистеров Винсонов, ты начнешь все больше приближаться – если, конечно, будешь всей душой стремиться – к тем знаниям, которые дороги твоему сердцу. И среди вещей, которые ты узнаешь, ты найдешь, что ты не первый, кого смущали, коробили и даже отвращали людские привычки. Ты поймешь, что не ты один такой, и это тебя будет радовать и *побуждать* к новым знаниям. Многие, очень многие терзались теми же моральными и духовными проблемами, как ты сейчас. К счастью, кое-кто из них написал о своих переживаниях. У них ты многому научишься, если захочешь. И впоследствии, когда ты тоже

поделишься своим, другие будут учиться у тебя. Это прекрасная человеческая взаимопомощь. Тут дело даже не в знаниях. Это – сама история. Если угодно, сама поэзия.

Он замолчал и сделал большой глоток из бокала. Потом опять продолжил. Блин! Он прямо был в ударе. Хорошо, что я его не останавливал и не перебывал.

– Я не хочу сказать, – сказал он, – что только ученые, образованные люди способны внести сщественный вклад в прогресс. Это не совсем так. Но я утверждаю, что люди ученые и образованные, если они к тому же еще и талантливые – что, увы, встречается редко, – оставляют после себя куда более ценное наследие, чем люди менее талантливые. Они способны выразить себя более внятно и обычно доводят свои замыслы до конца. И, что самое важное, в девяти случаях из десяти образованные люди более скромны, чем недоучки. Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Да, сэр.

Он молчал некоторое время. Не знаю, как кому, а мне тяжело сидеть и ждать, когда человек, который задумался, изволит наконец договорить. Сейчас был как раз тот случай. Я старался, чтоб не зевнуть. И не потому что мне надоело слушать, нисколько, просто вдруг страшно захотелось спать.

– И еще одну вещь даст тебе академическое образование. Если ты всерьез займешься учебой, это даст тебе представление о возможностях твоего ума. Что ему доступно, а что – нет. В результате ты будешь знать, какой образ мысли тебе подходит, а какой – нет. Главное, это поможет тебе не тратить впустую время, примеряя на себя, то, что тебе не пасует. То есть ты узнаешь истинный размер и фасон одежды для твоего ума.

И тут я вдруг зевнул. Вот жлобина! Просто удержаться не смог.

Но мистер Антолини только рассмеялся.

– Хватит! – сказал он. – Давай будем стелить тебе постель.

Я пошел за ним к стенному шкафу. Он попытался достать простыни, одеяла и прочее с верхней полки, но

никак не умел с бокалом в руке. Тогда он его допил, поставил на пол и лишь затем снял белье с полки. Я помог ему донести все до дивана. Мы вдвоем соорудили постель. Делал он это довольно неуклюже. Тыкал все не туда. Но мне было все побоку. Я готов был спать хоть стоя – так устал.

– Как там твои женщины?

– Все в порядке.

Собеседник из меня теперь был никудышный.

– Как там Сэлли?

Он знал старушку Сэлли Хэйес. Как-то я их познакомил.

– В порядке. Сегодня с ней виделся. – Мой бог! Мне показалось, что это было лет двадцать тому назад. – Но у меня с ней ничего особенного.

– Чертовски красивая девочка! А как та, еще одна? Ты мне рассказывал о ней. Ну, которая из Мэйна?

– А! Джейн Галлахер. Тоже хорошо. Собираюсь позвонить ей завтра.

Наконец мы управились с постелью.

– Располагайся, – сказал мистер Антолини. – Не представляю, куда ты денешь свои длинные ноги.

– Все нормально. Я привык к коротким кроватям, – говорю. – Большое спасибо, сэр. Вы и миссис Антолини прямо спасли мне сегодня жизнь!

– Ты знаешь, где ванная. Если что понадобится, крикнешь меня. Я еще побуду на кухне. Свет тебе не мешает?

– Нет, что вы! Большое спасибо.

– Не за что. Спокойной ночи, милый.

– Спокойной ночи, сэр. Большое вам спасибо.

Он ушел на кухню, а я в ванную раздеться и все такое. Я не мог почистить зубы: щетки с собой не было. Пижама тоже у меня не было, а мистер Антолини забыл предложить. Я вернулся в гостиную, выключил маленькую лампочку в головах и забрался в одних трусах под одеяло. Диван для меня был очень короткий, но, повторяю, я готов был спать даже стоя и с открытыми глазами. Я еще немного подумал о словах мистер Антолини. Про размер и фасон

одежды для ума и так далее. Он, действительно, славный чувак. Но глаза у меня стали слипаться, и я уснул.

Потом случилась одна вещь. Даже неохота рассказывать об этом.

Я вдруг проснулся. Сколько проспал – не знаю. Вдруг почувствовал что-то у себя на голове, корочке, чью-то руку. Блин! Я испугался. Кто это? Оказывается мистер Антолини. Он сидел на полу рядом с диваном, в темноте, и не то поглаживал, не то ощупывал мою голову. Блин, я аж подпрыгнул на сто метров!

– Что вам надо? – говорю.

– Да ничего! Просто сажу и люблюсь...

– Нет, но что вам тут надо? – снова говорю ему.

Даже не знаю, что еще тут скажешь. Просто растерялся, дурак.

– Ты не можешь потише? Просто вот сажу здесь...

– Все! Я ухожу. Мне пора, – говорю, а сам, блин, нервничаю.

Я стал натягивать свои штаны в темноте. Никак не мог попасть – так нервничал. Знаю я этих извращенцев по школе и другим местам, у них всегда это начинается, когда я рядом.

– Куда тебе пора? – говорит мистер Антолини. Он старался казаться очень спокойным, безразличным, но он не был безразличным. Можете мне поверить.

– Я оставил свои чемоданы на станции. Мне пора пойти туда и забрать. Там все необходимое.

– До утра подождут. Ложись. Я тоже пойду лягу к себе. Что это с тобой?

– Ничего особенного. Просто у меня там все деньги и необходимые вещи. Я тут же вернусь. Возьму такси и тут же вернусь, – говорю. Блин! Я спотыкался, чуть не падал в темноте. – Дело в том, что это не мои деньги. Мамины, и я...

– Не дури, Холден. Ляг обратно в постель. Я пойду к себе. Ничего с твоими деньгами до утра не...

– Нет, серьезно. Мне надо идти. Честное слово.

Я уже почти оделся, только галстук не находился. Куда я его сунул – ума не приложу. Я надел пиджак – пойду без галстука. Мистер Антолини уже сидел в большом кресле

и наблюдал за мной издали. Было темно, и я его плохо видел, но я знал, что он внимательно следит за мной. И продолжает кирять. Я видел: он был со своим неразлучным бокалом.

– Ты очень и очень странный мальчик.

– Я знаю, – говорю. Я уже не искал галстук. Обойдусь без него. – До свидания, сэр, – говорю. – Большое спасибо. От всей души!

Он проводил меня до дверей, и, когда я нажал на кнопку лифта, он еще торчал в коридоре. Он снова повторил, что я «очень и очень странный мальчик». Какой там в жопу странный! Он все стоял в коридоре, дожидаясь, когда придет лифт. Никогда в жизни так долго я не ждал лифта. Клянусь!

Я не знал, какие к черту вести с ним разговоры пока ждал лифта, а он все стоял здесь. И я сказал:

– Начну теперь читать хорошие книги. Честное слово.

Надо же было что-то сказать. А то как-то неудобно.

– Бери свои чемоданы и давай обратно сюда. Я оставлю дверь открытой.

– Большое спасибо! – говорю. – До свиданья!

Наконец лифт пришел. Я вошел и стал спускаться. Блин, меня трясло, как безумного. Даже весь вспотел. Когда встречаюсь с каким-нибудь извращением, я всегда трясусь, как придурок. Эти дела со мной случались наверно раз двадцать. С самого детства. Ненавижу!

## 25

Когда я вышел наружу, уже начало светать. Было холодно, но приятно, потому что я был весь в поту.

Куда деваться? Идти опять куда-то в гостиницу? Не хотелось тратить Фибины денежки. В общем, я двинулся по Лексингтон-авеню и сел в метро до Грэнд Централ. Чемоданы были там, и я решил поспать в этой дурацком зале ожидания, где полно скамеек. Так и сделал. Сперва было не так уж плохо: народу вокруг немного, и я лег, вытянул ноги. Ну, что сказать? Это, конечно, не фонтан. Я бы не советовал. Seriously. Тоска одна!

Покемарил я часов до девяти, пока не набежало миллион народу – пришлось убрать ноги со скамьи. А так спать я не умею, когда ноги на полу. Пришлось сесть. Башка трещала. И все сильнее и сильнее. В жизни не было так мне фигово.

Про мистера Антолини не хотелось даже вспоминать, но он все лез в голову, – что он, например, скажет своей жене, когда та увидит, что я у них не ночевал и все такое. Но это ладно. Уж кто-кто, а мистер Антолини не растеряется и найдет, что ей сказать. Скажет, что я ушел домой или вроде того. Это меня не сильно волновало. Волновало то, как я проснулся у них и обнаружил, что он гладит меня по голове. Не знаю, может, я напрасно подумал, что он пристает ко мне с пидорскими нежностями. Может, просто человеку нравится гладить спящих ребят по голове. Кто его знает? Дело тонкое. Подумал даже: а не взять ли чемоданы и вернуться к нему обратно – я же обещал. Не знаю, я даже стал думать: ну пусть он и гомик, но он так хорошо меня принимал. Не рассердился, когда я позвонил ему среди ночи и тут же без никаких сказал, чтоб я приезжал, раз надо. И как он озабочен моими делами, давал советы насчет развития ума и прочее. И как он единственный из всех подошел к Джеймсу Кеслу, о котором я уже рассказывал, когда тот лежал мертвый. Все это я прокручивал в голове. И чем больше думал, тем больше расстраивался. Не знаю, я даже подумал, что просто обязан вернуться к нему. Может, он погладил меня по голове просто так. И чем больше я думал об этом, тем больше мучился и расстраивался. И как на зло в глазах пошла какая-то резь. Воспалились прямо, потому что почти не спал. Вдобавок и насморк начался, а у меня в кармане ни платка, ни фига. Все в чемодане, но доставать его из камеры и открывать на людях было неохота.

Рядом на скамейке кто-то оставил журнал, и я стал его читать, чтобы хоть на время отвлечься от мистера Антолини и от миллиона других дел. Но вся эта журнальная фигня совсем меня выбила из колеи. Там писалось о гормонах. Описывалось, как должно выглядеть ваше лицо, ваши глаза, пятое-десятое, если гормоны у вас в порядке. Я

выглядел совсем наоборот. Я выглядел точно, как тот чувак с плохими гормонами, что тоже был на фото в журнале. И тут я начал беспокоиться о своих гормонах. Прочел еще одну статью: как определить есть ли у вас рак. Там сказано, что если есть во рту ранки, которые давно не заживают, то у вас возможно рак. У меня как раз была такая ранка изнутри на губе уже *недели две*. Значит, у меня рак. Такой веселенький журнальчик попался! Я бросил его читать и вышел пройтись. Я представил себе, что загнусь месяца через два, раз у меня рак. Я не сомневался, что это так. Настроение от этого, ясное дело, не улучшилось.

Похоже, дело шло к дождю, но я все равно решил пройтись. Во-первых, надо было как-то позавтракать. Я был не очень голоден, но подкрепиться не мешало. Съесть что-нибудь с витаминами. Я пошел в восточную сторону, где рестораны подешевле – мне нельзя было тратить много денег.

По дороге я увидел, как два чувака сгружали с машины большую рождественскую елку. Один все время кричал напарнику: «Приподыми ее, суку! Да подыми выше, мать ее!» Ну и роскошные выражения! И это про рождественскую елку. Мне стало ужасно смешно, я даже рассмеялся. Лучше бы я этого не делал, меня стало мутить еще хуже. Я чуть даже не стравил. Но обошлось. Отчего так мутило, не знаю. Вроде бы не ел ничего такого несвежего и вообще у меня вроде желудок крепкий. Короче, когда я справился с тошнотой, все-таки решил перекусить. Я зашел в очень дешевый ресторанчик и заказал пончики и кофе. Но пончики есть не стал. Понял, что не смогу глотать. Когда ты сильно расстроен чем-то, все застревает в горле. Официант попался порядочный. Даже не взял с меня за пончики и унес их. Я только кофе попил. Потом я вышел и побрел в сторону Пятой авеню.

Был понедельник, приближалось Рождество, и все магазины были открыты. Не так уж плохо было пройтись по Пятой авеню. Вокруг все жило Рождеством. На всех углах торчали эти тощие Санта-Клаусы и звонили в колокольцы, а девушки из Армии Спасения, которым нельзя красить ни губы, ничего, тоже звонили в колокольчики. Я надеялся

увидеть двух монахинь, которых давеча встретил за завтраком, но нигде их не было. Ничего странного, они же говорили, что приехали преподавать в школе, но я все равно искал их. Короче, я вдруг ощутил рождественское настроение. Здесь, в центре города, миллион детишек со своими мамашами выходили и входили в автобусы, входили и выходили из магазинов. Эх, была бы со мной Фиби! Она не такая малышка, чтобы разглядывать игрушки в детских отделах, она любит наблюдать людей и потешаться. На прошлое Рождество я повел ее в центр по магазинам. Ну мы с ней и напотешились! Мне кажется, это было у Блумингдэйла. Мы зашли в обувной отдел и сделали вид, что ей, Фиби, нужна пара высоких ботинок, у которых миллион дырочек для шнурков. Мы чуть не довели продавца до белого каления. Старушка Фиби перемерила пар двадцать, и каждый раз этот бедняга зашнуровывал ей ботинки до самого верха. Это конечно было свинством, но Фиби прямо помирала. В конце концов мы купили в рассрочку пару моккасинов. Продавец был очень рад. Помоему он понимал, что мы дурачимся, потому что Фиби принималась хихикать.

Короче, я брел и брел по Пятой авеню, без всякой цели. И тут со мной случилась странная вещь. Каждый раз, когда я доходил до угла квартала и надо было перейти улицу, меня начинал бить мандраж, что вот не добраться мне до той стороны – и все. Будто я проваливаюсь куда-то, проваливаюсь, и совсем пропадаю у всех из виду. Бог мой, я так перетрухал, что представить невозможно! Я весь покрылся потом, как черт знает кто, – рубаха, белье, все промокло насквозь. И тут я придумал такое. Как только дохожу до угла, начинаю как бы говорить с моим братом Алли: «Алли, не дай мне пропасть! Алли, не дай мне пропасть! Алли, пожалуйста, не дай мне пропасть!» И потом, когда я оказываюсь на той стороне улицы и не пропадаю, говорю ему спасибо. А на следующем углу опять все по новой. Но я не останавливался. Я почему-то и остановиться боялся – честно говоря, не очень помню почему. Помню только, что оказался в районе 60-х улиц, прошел зверинец и все там такое. Потом сел на скамейку. Я

задышался и был мокрый от пота, хоть выжимай. Просидел я, наверно, битый час. В конце концов вот что я решил: я решил уехать. Решил больше не возвращаться домой, не возвращаться ни в какую школу. Я решил повидаться с Фиби, чтобы проститься с ней, вернуть ее рождественские деньги, а потом двинуть автостопом на Запад подальше. Я решил: сперва доберусь до Холлэндского туннеля, там проголосую и поеду дальше, потом опять проголосую, потом опять и опять, и дней через несколько окажусь далеко на Западе, где тепло и солнечно, и никто меня не знает, и найду себе работу. Найду работу где-нибудь на бензоколонке, буду заправлять бензином и соляровкой машины. Какая разница кем работать. Главное, никто меня не будет знать, и я никого знать не буду. Я сделаю так: прикинусь глухонемым. И избавлюсь на фиг от всякого дурацкого ненужного общения, с кем попало. А кто захочет мне что сказать, пусть пишет на бумажке. В конце концов им надоест это, и я избавлюсь от разговоров до конца жизни. Пусть думают, что я бедный глухонемой дурачок и оставят меня в покое. Лишь бы позволили заправлять их дурацкие машины, лишь бы платили как положено. Накоплю денег на маленькую хибару, построю ее где-нибудь, и проживу в ней до конца жизни. Построю прямо на опушке леса, но не в самом лесу, потому что я люблю, чтоб было солнечно в доме. Сам буду готовить себе пищу, и позже, если захочу жениться или типа того, найду себе хорошую девушку, тоже глухонемую, и мы поженимся. Она придет ко мне и станет жить в моей хибаре, а надо будет ей что-то сказать мне, пусть, как все, пишет на бумажке. Когда появятся у нас дети, мы будем скрывать их от всех. Накупим им много книжек и сами будем их учить читать и писать.

Я увлекся, обдумывая все это. Прямо загорелся. Конечно, идея прикинуться глухонемым была полной чушью, но мне она нравилось. А насчет того, чтобы ехать на Запад я решил всерьез. В первую очередь мне надо проститься со старушечкой Фиби. И я вдруг, как безумный, бросился через улицу – причем чуть было на фиг не погиб под колесами, – зашел в магазин канцелярских товаров и купил блокнот и карандаш. Я собирался написать ей

записку, где нам повидаться напоследок и вернуть ей ее рождественские деньги, отнести записку к ней в школу и попросить кого-нибудь из канцелярии передать ее Фиби. Но я был слишком возбужден, чтобы писать записку прямо в магазине, поэтому сунул блокнот с карандашом в карман и пустился со всех ног к ее школе. Я торопился, чтобы она успела получить ее до перерыва на ланч, а времени было в обрез.

Я, конечно, знал, где ее школа, сам ходил туда в детстве. Но когда я пришел, все мне показалось странным. Я даже не был уверен, что помню как там внутри. Оказалось, помню. Все было точь-в-точь, как прежде, когда я учился. Тот же большой, темноватый спортзал, сетки вокруг электроламп, чтобы мячом не разбить. На полу те же белые линии разметки для разных игр и всего такого. Те же старые баскетбольные кольца без сеток – голые щиты и кольца.

Никого вокруг не было – наверно, шли уроки, а время ланча еще не началось. Единственный, кто мне попался, был малыш, цветной пацанчик, который шел в туалет. Из кармана штанов у него торчал деревянный номерок, и нам такие давали, чтоб видно было, что вас отпустили в туалет с позволения учителя.

Меня все еще прошибало потом, но уже не так сильно. Я подошел к лестнице, сел на нижнюю ступеньку и достал блокнот с карандашом. От ступенек пахло так же, как и в мое время. Будто кто-то там уписался. Везде в школах лестницы так пахнут. Короче, я сел и написал записку:

*«Дорогая Фиби! Ждать до среды не могу, поэтому сегодня после полудня, наверно, рвану на Запад. Жди меня в музее, у входа, в четверть первого, если сможешь. Я верну твои рождественские деньги. Я истратил совсем немного. С любовью Холден».*

Ее школа была совсем рядом с музеем, ей все равно надо было идти домой на ланч мимо, и я был уверен, что мы встретимся.

Потом я стал подниматься по лестнице в канцелярию директора, чтобы кем-то передать записку в класс. Я сложил ее раз в десять, чтоб никто не развернул. В школах никому

нельзя доверять. Но я знал, что передадут – от родного брата и т. д. и т. п.

Когда я поднимался наверх, меня опять чуть не вырвало. Но я сдержался. Я на секунду присел и почувствовал себя полегче. Но когда сидел, я увидел такое, что меня прямо взбесило. Кто-то написал на стене *Fuck you*. Это взбесило меня до белого каления. Я себе представил, как Фиби или кто-то из малышей, прочтут и заинтересуются, что это значит, и какой-нибудь сорванец объяснит им – и по-дурачки, конечно, – и они потом несколько дней будут думать и гадать, что к чему. Убил бы того, кто написал это! Я представил себе, что какой-то урод проник ночью в школу, поссал здесь и написал это на стене. Я представил себе, как поймал бы его на горячем и бил бы головой об каменные ступени, пока он не сдох бы весь в крови. Но я подумал, что у меня на это не хватит духу. Я-то себя знаю. Меня это еще больше расстроило. По правде говоря, у меня даже не хватает духу, чтобы стереть это своими руками. А вдруг кто-нибудь из учителей застанет меня за стиранием и подумает: а не я ли это сам и написал? Потом все-таки стер. Затем пошел в канцелярию директора.

Директора там не оказалось, зато за машинкой сидела старая дама лет под сто. Я сказал ей, что я брат Фиби Колфилд из четвертого «Б» и очень прошу передать ей эту записку. Сказал, что это очень важно, потому что мама заболела и не приготовила ланч для Фиби, поэтому нам надо встретиться и позавтракать в аптеке. Она была очень любезна, эта старая дама. Она взяла мою записку и позвала другую даму из соседней комнаты и та пошла передать записку Фиби. Потом мы с этой старой дамой, которой точно было не меньше ста лет, немного потрепались. Она была славная, и я рассказал, что и сам учился в этой школе, а также оба моих брата. Она спросила, в какой школе я учусь теперь, и я сказал ей, что в Пэнси, и она сказала, что Пэнси – это очень хорошая школа. Даже если бы я хотел ее переубедить, у меня не хватило бы духу. Пусть себе думает, что Пэнси – хорошая школа. Разве можно внушить что-то новое человеку, которому около ста лет? Он и слушать об этом не станет. Потом я попрощался и ушел. Она

прокричала мне вслед: «Желаю удачи» – ну, точно, как старик Спенсер, когда я покидал Пэнси. Блин, до чего ненавижу, когда тебе кричат вдогонку «желаю удачи». Меня это жутко расстраивает.

Спускаюсь по другой лестнице, и вижу на стене еще одно *Fuck you*. Я опять постарался стереть рукой, но тут было нацарапано ножом или еще чем-то. Разве сотрешь. Как ни старайся. Если даже миллион лет стирать все эти *Fuck you* повсюду в мире – и половины не сотрете. Пустой номер.

Я взглянул на электрические часы в школьном дворе, было всего без двадцати двенадцать. У меня было куча времени до встречи с Фиби. И я, хочешь – не хочешь, все-таки отправился в музей. Куда-то надо было деваться. Можно было бы позвонить Джейн Галлахер, пока я еще не двинул на Запад, но что-то было неохота. Да и я не был уверен, что она уже вернулась на каникулы. И я вошел в музей и стал там ждать.

Пока я ждал Фиби в музее, прямо у входа, подошли двое каких-то малышей и спросили, не знаю ли я, где тут мумии. У одного – который спрашивал – была расстегнута ширинка. Я ему сказал об этом. И он стал застегиваться прямо тут же – хоть бы за колонну зашел или отвернулся. Просто умора! Еле удержался, чтобы не рассмеяться – побоялся, что меня опять начнет мутить.

– Где здесь мумии, дядя? – спросил парнишка снова.  
– Вы не знаете?

Я решил слегка над ними подшутить.

– Мумии? А что это такое? – спрашиваю.

– Как вам сказать? Мумии – это мертвые человеки. Их ложат в шклеб.

«Шклеб»! Ну, потеха. Это он про склеп.

– А почему вы не в школе? – спрашиваю у обоих.

– Сегодня нет занятий, – говорит этот, который более разговорчивый. Врет прямо в глаза, стервец. Ничего не поделаешь, пришлось их вести туда, где находятся мумии – времени до прихода Фиби было достаточно. Бог мой, раньше я знал точно, где они, но я не был в музее сто лет.

– И вам очень интересно посмотреть на мумии? – спрашиваю.

– Ага.

– А твой друг умеет разговаривать? – спрашиваю.

– Он мне не друг. Он мой братан.

– А разговаривать он умеет? – И смотрю на того, который молчит. – Ты умеешь разговаривать? – спрашиваю у него.

– Да, – говорит он. – Только не хочу.

Наконец мы нашли зал, где мумии, и вошли туда.

– А вы знаете, как египтяне хоронили своих мертвецов? – спрашиваю у того, который разговорчивый.

– Не-а.

– А пора бы. Это очень интересно. Они обматывали им головы такими бинтами, которые пропитывались секретным составом. И они могли сохраняться тысячи лет и лица у них не портились. Никто не знает этого секрета, кроме египтян. Даже современная наука.

Чтобы попасть к мумиям, надо было проникнуть через узкий проход, выложенный из камней, взятых из пирамид фараонов и так далее. Тут было жутковато, и, видно, что оба чувачка малость струхнули. Они прижались ко мне, и тот, который молчаливый, даже схватился за мой рукав.

– Посли домой, – сказал он вдруг. – Я узе их видеv. Домой посли!

Он повернулся и побежал.

– Ну его! Он всего боится, – сказал другой. – Пока. – И дал деру за ним.

Я остался один в склепе. Мне, между прочим, тут даже нравилось. Было так тихо и спокойно. И тут вдруг – вы не поверите, что я увидел на стене. Опять *Fuck you*. Причем, красным фломастером или чем-то таким, прямо под застекленной витриной, под камнями.

В этом-то и беда. Никогда не найдешь тихого, мирного места. На всем свете наверно нет такого. Иногда подумаешь: оно где-нибудь *там*, а окажешься там – бац! – прямо у тебя перед носом кто-то уже написал *Fuck you*. Проверьте когда-нибудь. Мне иногда кажется – если я когда-нибудь умру, и они упрячут меня в могилу, и надо мной будет плита и все такое, на которой будет выбито

«Холден Колфилд» и даты моего рождения и смерти, а прямо под этим будет написано *Fuck you*. Клянусь, так оно и будет.

Из зала, где мумии, я поспешил прямо в туалет. Похоже, что у меня, пардон, был понос. Но понос – это ладно, неладно вышло с другим. Когда выходил из туалета и еще не дошел до двери, я полностью вырубился. Но мне повезло. Наверно убился бы, если бы плашмя грохнулся на пол. А так я повалился набок. И, странное дело, я почувствовал себя легче после отключки. Честное слово! Рука, правда, болела, но голова уже не кружилась.

Уже было десять минут первого, где-то так, и я пошел к выходу и стал ждать старушечку Фиби. Я подумал, что, может, увижу ее в последний раз. Да и всех своих родных больше не увижу. Нет, конечно, когда-нибудь, через много лет я с ними повидаяюсь. Может, вернусь домой, когда мне будет лет тридцать пять, если, допустим, кто-то из них смертельно заболеет и захочет увидеть меня напоследок, и только это вынудит меня покинуть мою хижину и прибыть домой. Я даже начал представлять себе, как это будет выглядеть, когда я приеду. Мать, конечно, начнет переживать и плакать, умолять, чтобы я остался дома и не уезжал в свою хижину, но я все равно уеду. Я буду дьявольски холоден. Попрошу ее успокоиться, уйду в другой конец гостиной, достану портсигар и закурю сигарету с дьявольским спокойствием. Я приглашу их когда-нибудь погостить у меня, но настаивать не стану. Но обязательно постараюсь, чтобы Фиби проводила у меня каникулы летом, на Рождество или на Пасху. И Д.Б. тоже пусть иногда приезжает, если ему понадобится тихое, спокойное место, где бы он мог писать, но никаких сценариев в моей хижине, только рассказы и книги. И вообще установлю такое правило: никаких понтов в моем доме. А если кто начнет у меня выпендриваться, пусть сразу убирается.

Тут я взглянул на часы в гардеробной и увидел, что уже без двадцати пяти час. Я начал опасаться, что та школьная дама, сказала другой, чтобы та не передавала Фиби мое послание. Я даже стал думать, что она велела

сечь мою записку или типа того. Я прямо до смерти перепугался. Мне очень нужно было повидаться с Фиби перед дальней дорогой. К тому же у меня ее подарочные деньги.

И тут я ее увидел. Я увидел ее сквозь дверное стекло. Я заметил ее сразу, потому что она была в моей дурацкой охотничьей шапке, которую заметишь и за десять миль.

Я вышел на улицу и стал спускаться по каменным ступеням навстречу Фиби. Одного только я не мог понять, зачем она тащит какой-то большой чемодан. Она как раз переходила Пятую авеню и тащила за собой большой, нелепый чемоданище. Она его еле волокла. Когда я подошел ближе, я узнал свой старый чемодан, который я бывало брал в Хутонскую школу. Даже представить себе не мог, на кой черт она его приволокла.

– Привет,- сказала она, подойдя ближе. Она совсем запыхалась из-за этого дурацкого чемодана.

– А я уж подумал, что ты не придешь, – сказал я. – Какого черта ты приперла этот чемодан? Мне ничего не нужно. Я еду налегке. Не возьму даже тех чемоданов из камеры хранения. Чего ты туда напихала?

Она поставила чемодан.

– Мои вещи, – говорит. – Я поеду с тобой. Можно, а?

– Что? – Я чуть не упал от ее слов. Клянусь! У меня прямо крыша поехала, думал, что опять вырублюсь и все такое.

– Я все вытащила через черный ход, чтобы Чарлина не увидела. Он не такой уж тяжелый. Я положила туда только два платья, мои мокасины, нижнее белье, носки и еще несколько вещей. Подними. Он не тяжелый. Попробуй... Можно мне с тобой? Холден? Можно мне? Пожалуйста.

– Нет! Заткнись!

Я чувствовал, что еще чуть-чуть и я кончусь. Не знаю, я совсем не хотел кричать ей «заткнись», но мне показалось, что я сейчас вырублюсь опять.

– Почему нет? Пожалуйста, Холден! Я не буду мешать, мне бы только с тобой – и все! Если хочешь, я даже могу и без платьев, только захвачу...

– Ничего ты не захватишь. Потому что никуда ты не поедешь. Я еду один. И ни слова больше!

– Ну, пожалуйста, Холден! Пожалуйста, позволь мне с тобой. Я буду очень, очень, очень... Ты даже не...

– Никуда ты не поедешь. Заглухни, слышишь! Давай сюда чемодан! – говорю.

Я отнял у нее чемодан. Хотелось даже отшлепать ее. Еще секунда, и я бы отшлепал. Клянусь!

Она заплакала.

– Ты же собиралась играть в школьном спектакле и все такое. Ты же должна быть Бенедиктом Арнольдом в этой пьесе и все такое, – говорю ей. И голос у меня очень противный. – Что ты удумала? Не хочешь играть в спектакле, черт возьми?

Она расплакалась еще сильнее. Я даже был рад. Вдруг мне захотелось, чтоб она совсем выплакала свои глаза. Я даже ее ненавидел. И больше всего за то, что она не будет играть в спектакле, если уедет со мной.

– Пошли, – говорю. Я пошел вверх по лестнице обратно в музей. Я решил сдать в гардероб этот идиотский чемодан, что она приволокла – потом она сможет его забрать в три, после школы. Не переть же его в школу. – Ты слышишь меня? Пойдем, – говорю.

Но она не пошла в музей. Не захотела идти со мной. Я пошел один, сдал чемодан в гардероб, получил номерок и снова спустился вниз. Она все стояла на тротуаре, но отвернулась от меня, когда я подошел. Это она умеет. Повернется к тебе спиной – и крышка.

– Все. Никто никуда уже не едет. Я передумал. Перестань реветь, замолчи, – говорю ей. Между прочим, она уже и так не плакала. Но я все равно сказал. – Пойдем. Я провожу тебя в школу. Слышишь, пошли. А то опоздаешь.

Она не желала мне отвечать – и крышка. Я попытался взять ее за руку, но она не далась. И все время отворачивалась.

– Ты хоть позавтракала? Ты поела чего-нибудь? – спрашиваю у нее.

Она не отвечала. Тут ни с того ни с сего снимает с головы мою шапку и швыряет мне чуть ли не в лицо. И

снова поворачивается спиной. Ну, просто убила! Но я промолчал. Я поднял шапку и сунул в карман куртки.

– Слышишь, пойдём. Я провожу тебя в школу, - говорю.

– Я больше не пойду в школу.

Я даже не знал, что и сказать на это. Стоял столбом несколько минут.

– Ты обязана ходить в школу. Ты хочешь участвовать в спектакле, или нет? Ты хочешь быть Бенедиктом Арнольдсом, или нет?

– Не хочу.

– Нет, хочешь. Еще как хочешь! Пойдем, не дури! – говорю. – Во-первых, никуда я не уезжаю, я же сказал. Я пойду домой. Я пойду домой, как только ты пойдешь в школу. Нет, сначала я пойду заберу мои чемоданы из камеры хранения, а потом пойду прямо...

– Я сказала – в школу не пойду. Делай все, что хочешь, но я в школу не пойду, – говорит она. – И сам заглохни!

Ни фига себе! Это впервые она мне сказала «заглохни». Блин, прозвучало это ужасно. Хуже, чем ругательство. И все не смотрит в мою сторону, а как только я пытаюсь тронуть ее за плечо, шарахается от меня.

– Послушай, может, давай просто прогуляемся? – спрашиваю у нее. – Отчего нам не пройтись до зверинца? Если я тебе разрешу сегодня не возвращаться в школу и погулять со мной, ты выкинешь из головы свою дурь, а?

Она ничего не ответила, и я повторил свое предложение:

– Если я позволю тебе пропустить сегодня занятия и погулять со мной, ты перестанешь дурить? Пойдешь завтра в школу? Будь умницей.

– Захочу – пойду, захочу – не пойду.

И вдруг побежала через улицу даже не поглядела по сторонам – есть машины или нет. Иногда ей прямо, как вожжа под хвост попадает.

Но я за ней не пошел. Я был уверен, что она никуда не денется – пойдет за мной, и поэтому двинулся в сторону зверинца, что находился на моей стороне улицы, и она за

мною, но по своей стороне. Причем, на меня как бы ноль внимания, но на перекрестках, я уверен, поглядывала своим вредничим глазком, куда я направлюсь и все такое. Короче, так мы и дошли до самого зверинца. Меня одно только беспокоило: когда проезжал двухъярусный автобус и заслонял ту сторону, я не мог видеть, куда ее понесло. Но когда мы добрались до зверинца, я крикнул ей:

– Фиби, я иду в зверинец! Давай сюда!

Она даже и не взглянула, но я знал, что она услышала, и когда стал спускаться по лестнице ко входу в зверинец, я оглянулся и увидел, что она переходит улицу и идет сюда.

Народу здесь было немного, потому что день был пасмурный, правда, вокруг бассейна, где тюлени, стояло несколько человек. Я хотел пройти мимо, но старушка Фиби остановилась и сделала вид, что заинтересовалась, как кормят тюленей – служитель кидал им рыбу, – и я вернулся. Я подумал, самое время подойти к ней и законтачить. Я подошел к ней сзади и положил руки ей на плечи, но она присела и вывернулась из моих рук – она иногда умеет вот так, без церемоний. Она продолжала стоять и смотреть, как едят тюлени, а я стоял прямо за ней. Руки на плечи ей не клал, знал, что она опять взъерепенится. Дети – такой народ. С ними надо быть начеку.

Она не пожелала идти рядом со мной, когда мы ушли от тюленей, но держалась неподалеку. Она шла по краю пешеходной дорожки, а я по другому краю. Тоже, конечно, не совсем то, но все же лучше, чем когда она была от меня на пушечный выстрел. Посмотрели медведей на бугре, но там смотреть было не на что. Только один медведь вылез – полярный. Другой, бурый, сидел в своей берлоге и не желал выходить. Видна была только задняя его часть. Рядом со мной стоял малыш в ковбойской шляпе – она сидела у него прямо на ушах, – и все говорил своему отцу: «Пусть он выйдет, папа. Сделай, чтоб он вышел». Я посмотрел на старушку Фиби, но она даже не улыбнулась. Знаю, когда дети обижаются, им не до смеха и не до чего.

После медведей мы вышли из зверинца и перешли парковую улочку. Прошли сквозь маленький туннель, где

всегда пахнет мочой. Это дорога вела к каруселям. Старуха Фиби никак не хотела со мной общаться, правда, уже шла рядышком. Я взялся за ремешок, что болтался на ее пальто, просто так, но она не позволила и этого.

– Убери свои руки, прошу тебя, – сказала она.

Она все еще дулась на меня. Но уже не так, чтобы очень. Мы все ближе и ближе подходили к карусели, уже слышна была заводная музыка, которую всегда здесь крутят. Звучала «О, Мари!» Эту песню крутили еще лет полста тому назад, когда я был пацаном. В этом-то и весь кайф, что на каруселях музыка одна и та же.

– А я думала, что карусели зимой закрыты, – говорит старушка Фиби. Сама заговорила вдруг. Видно, забыла, что в споре со мной.

– Может потому, что дело идет к Рождеству, – сказал я.

Она ничего не сказала на это. Видать, вспомнила, что обижается на меня.

– Хочешь прокатиться разок? – спрашиваю. Я-то знаю, что хочет. Когда она была совсем крошкой и Алли, Д.Б. и я ходили с ней в парк, она прямо балдела от каруселей. За уши ее оттуда нельзя было оттащить.

– Я уже взрослая, – говорит. Она, наверно, не собиралась отвечать, но ответила.

– Какая ты там взрослая. Давай. Прокатись. Я тебя подожду, – говорю. Мы уже были у самой карусели. Несколько ребятишек вертелись на ней, в основном совсем малыши, а их родители ожидали их, сидя тут же на скамейках. Я подошел к окошку и купил билет для старушки Фиби. Потом вручил ей. Она уже не сторонила меня.

– Держи, – говорю ей. – Стоп. Возьми-ка и остальные твои деньги.

Я протянул ей деньги, что она мне одолжила.

– Пусть будут у тебя. Пусть лучше будут у тебя, – говорит она. И потом добавляет: – Пожалуйста.

Как-то становится неудобно, когда тебя просят, да еще «пожалуйста». Тем более что это Фиби. Мне черт знает, как стало неудобно. Пришлось сунуть деньги обратно в карман.

– А ты не будешь кататься? – спрашивает она и живо так смотрит на меня. Похоже, что уже почти на меня не дуется.

– Как-нибудь в другой раз. Посмотрю, как у тебя получится, – говорю. – Билет у тебя?

– Да.

– Вперед! Я буду вон на той скамеечке. Посижу, погляжу на тебя.

Я пошел и сел на скамейку, а она поднялась на карусель. Обошла всю вокруг. Осмотрела все места и выбрала самую большую лошадку, коричневую, облупленную, старую лошадку. Карусель запустили, и я стал следить, как она начала давать круги. Там сидело человек пять-шесть детей, и исполнялась песня «Все скрывает дым». Звучала очень джазово и классно. Вся детвора старалась ухватить золотое кольцо, и старушенька Фиби тоже, и я все боялся, что она, не дай Бог, свалится с этой лошадки, но виду не подавал. С детьми лучше так: если они хотят ухватить золотое кольцо, не стоит им мешать. Свалятся – так свалятся, хуже, когда говоришь им под руку.

Когда карусель остановилась, она слезла со своей лошадки и подошла ко мне.

– А теперь и ты разок прокатись, – говорит.

– Нет. Лучше на тебя погляжу. Мне так лучше, – говорю. Я дал ей еще из ее денег. – На, возьми еще билет.

Она взяла деньги.

– Я уже на тебя больше не сержусь, – говорит.

– Я вижу. Беги, сейчас опять включат.

И тут она вдруг чмокнула меня. Потом подняла ладошку и говорит:

– Дождь! Начинается дождь!

– Вижу.

Потом она сделала такое, что я на фиг оторопел, – сунула руку мне в карман, вытащила мою красную охотничью шапку и надела мне на голову.

– Может, лучше ты наденешь? – спрашиваю.

– Сперва ты поноси, потом я.

– Ладно. Ну, беги, а то пропустишь рейс. И лошадей твою займут.

Но она все торчала возле меня.

– Ты мне правду сказал? Ты никуда не уедешь? Ты точно пойдешь домой после?

– Да, – говорю. И это была правда. Я ей не соврал. Так и было – я вернулся домой. – Скорее, – говорю. – Сейчас включат.

Она побежала и купила билет, и успела на карусель вовремя. Потом она стала ходить по ней и отыскивать свою лошадь. Наконец нашла. Она помахала мне, и я ей тоже помахал.

Тут как хлынет дождь! Бог мой, полило, как из ведра! Все матери и бабушки – все кто там сидел – вскочили и бросились под навес над каруселью, чтобы не промокнуть до нитки, а я так и остался сидеть на скамейке. На мне промокло все насквозь, особенно воротник и брюки. Моя охотничья шапка, конечно, немного выручила, но я все равно промок до нитки. Но мне было наплевать. Я вдруг почувствовал себя счастливым, оттого что Фиби все кружилась и кружилась. Таким счастливым, что, скажу честно, чуть не разревелся на фиг. Даже не знаю отчего. Но до того она была славная, до того, блин, весело кружилась в своем синем пальтишке и вообще. Господи! Это надо было видеть.

## 26

Вот и все, что я хотел вам рассказать. Можно было бы, конечно, рассказать, что было дома, когда я вернулся, как я заболел и т. д. и т. п., в какую школу собираюсь пойти осенью, когда выйду отсюда, но не стоит. Как-то неохота, честное слово. Да и все это не так важно теперь.

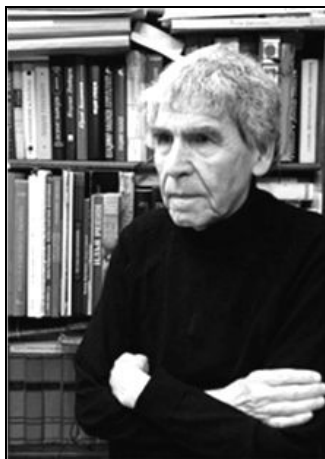
Многие, особенно один тут есть психоаналитик, спрашивают, возьмусь ли я за ум, когда снова пойду в сентябре в школу. По-моему дурацкий вопрос. Откуда человеку знать наперед, возьмется он за ум или нет? Ничего нельзя знать наперед. Может, и возьмусь, но откуда мне знать, как там выйдет? Ей-богу, дурацкий вопрос!

Д.Б. не такой вроде как все, но и он задает мне лишние вопросы. Он приезжал в эту субботу с одной английской подругой, которая будет сниматься в картине по его сценарию. Любит выпендриваться, но очень красивая.

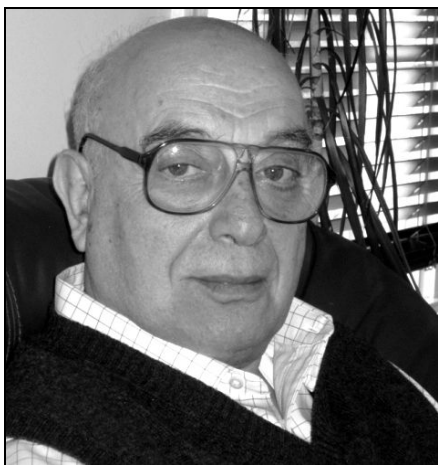
Короче, отлучилась она в женский туалет, который в другом крыле, а Д.Б. тут меня и спрашивает, что я думаю про все эти дела, о которых я рассказал вам. А я не знаю, что ему и сказать на это. Честно говорю: *не знаю*. Жалею только, что многим об этом рассказал. Могу лишь сказать, что мне как-то не хватает тех, про кого я рассказал. Старины Стрэдлэйтера и того же Экли. Смешная вещь, но даже этого подлеца Мориса. Лучше ничего никому не рассказывайте. Иначе будете сильно по ним скучать.



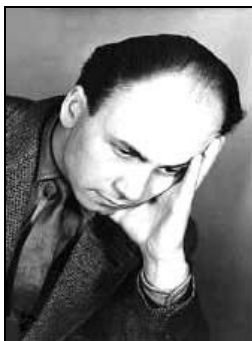
## Об авторах



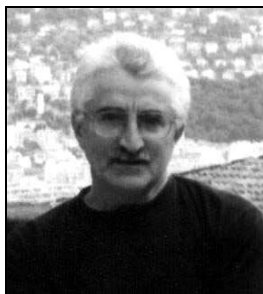
**Владимир Порудоминский** – автор научно-популярных и биографических книг. Член СП СССР (1969).



**Виктор Финкель** – автор нескольких книг публикаций.  
Живет в Филадельфии, США.



**Леви Шаар** – профессиональный музыкант, композитор.  
Создал в молодёжный оркестр и 24 года руководил им.



**Исай Шпицер** – член Союза профессиональных  
литераторов России, автор сборников стихов «Прозрение»  
«Не подводя итоги...»



**Моисей Борода** – председатель окружного отделения  
Немецкого Союза Музыкантов. Литературное творчество:  
рассказы, стихи, публицистика.



**Лариса Миллер** – поэт, прозаик, эссеист, член Союза  
Российских писателей и Русского ПЕН-центра.



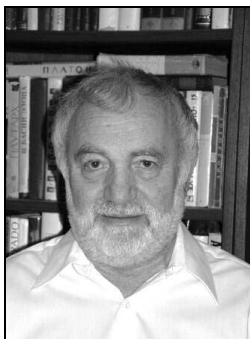
**Лада Пузыревская** – автор трех книг стихов: «Маэстро  
полуправды не всерьез», «время delete», «Последний десант»



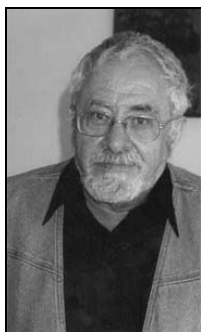
**Далецкая Надежда** – выпустила диск с авторской  
мелодекламацией стихов «И запоёт вода.



**Андрей Чередник** – работает в Вене (Австрия) в Международном Учебном экономическом центре.



**Александр Матлин** – инженер-строитель, печатается в периодической прессе.



**Марк Азов** – член союзов писателей России и Израиля, главный редактор журнала «Галилея»



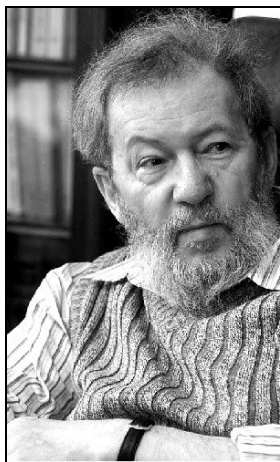
**Елена Мазур-Матусевич** – профессор университета США,  
автор книги «Золотой век французской мистики»,  
выставляющийся художник



**Семен Резник** – писатель, историк, журналист. С 1982 года  
живет в США.



**Вильям Баткин** – автор нескольких сборников стихов и  
книги «Талисман души». Живет в Иерусалиме.



**Игорь Ефимов** – писатель, философ, издатель. Автор множества книг, основатель издательства «Эрмитаж».



**Виктор Гопман** – переводчик, опубликовал более десятка переводных книг.



**Джером Дэвид Сэлинджер** – американский писатель. Автор романа «Над пропастью во ржи».



**Яков Лотовский** – писатель. Живёт в Филадельфии.



Журнал «Семь искусств», Апрель 2010  
ред.-сост. Евгений Беркович  
изд-во «Общества любителей еврейской старины»  
Ганновер 2010, 397 стр. 15,1 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)  
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование  
Изабеллы Побединой

Ганновер  
Общество любителей еврейской старины